

Цена 3 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“
МОСКВА, центр., М. Черкасский пер., 3/4.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

≡ на 1928 год ≡

на ежемесячный философский
и общественно-эконом. журнал

„Под Знаменем

Марксизма“.

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова,
М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. Н. Тимирязева,
А. Я. Троицкого. Отв. редактор А. М. Деборин.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“ имеет перед собою задачу
защиты ортодоксального диалектического материализма Маркса
и Ленина от извращения идеализма и оппортунизма, откуда бы
они ни исходили.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“ рассчитан на активных
работников партии, преподавателей и слушателей комвузов,
вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 1 мес. — 1 р. 50 к., 3 мес. — 4 р. 25 к.,
6 мес. — 8 р., 12 мес. — 15 р.

За границу: 1 мес. — 1 доллар.

Цена отдельного номера 1 р. 50 к.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“, Москва, центр.
М. Черкасский, 3/4,

а также и во все отделения издательства.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ-ЖУРНАЛ

№ 12

ДЕКАБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА 1-9-2-7

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимов, М. Н. Покровского, Я. Э. Стана, А. Н. Тимирязева, А. Я. Троицкого. Отв. редактор А. М. Деборин.

В журнале принимают участие:

Б. Агол, Н. Альтер, А. Айхенвальд, Арн. А.—н, В. Асиус, В. Астров, Гр. Баммель, А. Бартонов, Я. Боратыс, А. Болотинков, В. Борзенко, Б. Берман, Н. Бухарин, В. Вагачин, Н. Вайнштейн, П. Виноградский, А. Винокуровский, А. Вонсовский, Р. Вудра, В. Выропков, Н. Гессен, С. Гениман, В. Герон, Н. Данковский, А. Деборин, Ш. Дьоблацкий, Г. Дмитриев, Ф. Дучинский, В. Егоршин, В. Завладовский, Г. Вайдел, Н. Звенигородцев, П. Ионов, Ф. Капелани, Ник. Карев, В. Кирютин, В. Козо-Полянский, В. Колосовский, К. Корнилов, А. Коз, Ст. Кривцов, Н. Кураков, М. Лавин, Н. Лещинер, В. Левин, Н. Лукин-Антонов, Е. Лукин, А. Максимов, Дм. Нарский, А. Нейдальсон, К. Нилон, В. Нилутин, Я. Ниронкин, Ф. Михаловский, С. Мохосов, В. Носский, Н. Орлов, [М. Павлович], Е. Пантушко, В. Повинков, В. Полянский, М. Покровский, Н. Рубинский, Я. Розанов, М. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, Д. Ризанов, Н. Санир, П. Сапожников, Н. Саргин, А. Соробровский, А. Слопков, В. Слопков, Н. Стопанов, А. Столяр, П. Стучка, Я. Стэн, А. Тальгеймер, Ф. Толешников, А. Тимирязев, А. Троицкий, Г. Тышневский, А. Удальцов, Ю. Франкфурт, Ц. Фридаман, В. Фриче, В. Цейтлин, Г. Шиндт и др.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 1-21-16, кремлевский 3-90.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Непринятые рукописи не возвращаются.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 12

ДЕКАБРЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА — 1927

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
<i>А. Деборин.</i> —Ревизионизм под маской ортодоксии. (Продолжение) . . .	5
<i>Гр. Баммель.</i> —О нашем философском развитии за 10 лет революции. (Окончание)	34
<i>А. Саацкий.</i> —Цена производства как производственное отношение. (К критике методологии И. И. Рубина)	58
<i>Л. Любимов.</i> —Плод недолгой науки	83
<i>А. Неймишин.</i> —«Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки. (Окончание)	111
<i>А. Андруцкий.</i> —Методологические проблемы марксистского искусствознания	138
<i>Н. Перлин.</i> —Пограничные объекты биологических и социологических наук. (Дискреционный метод)	175
Критика и библиография.	
<i>Ф. Капелюш.</i> —Архив мирового хозяйства. Журнал института мирового хозяйства при Кильском университете. Под ред. В. Гармса .	231
<i>И. Дашковский.</i> —И. Гранат. Классы и массы в Англии в их отношении к внешней торговле	236
<i>З. Атлас.</i> —«Проблемы мирового денежного обращения». Сб. под ред. Г. Сокольникова	243
<i>С. Томсинский.</i> —«Крестьянское движение в 1917 году». В документах и материалах под ред. М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева .	250
Сообщения и заметки.	
Содержание журнала «Под Знаменем Марксизма» за 1927 год	254

Ревизионизм под маской ортодоксии.

(Продолжение) ¹⁾.

А. Деборин.

6. Этический идеализм Аксельрод.

С некоторых пор Аксельрод стала усиленно заниматься проповедью морали. Для выяснения ее нынешних взглядов на проблему морали, позволим себе привести некоторые выдержки из ее прежних работ. Читатель убедится, что и в этом вопросе Аксельрод ныне отошла от своих прежних взглядов.

В «Философских очерках» мы читаем:

«Нас завело бы слишком далеко, если бы мы хоть слегка коснулись материальных и весьма грубых причин, порождающих тот высокопарный идеализм, который теперь господствует в буржуазной философской литературе.

Замечу только мимоходом, что проповедь морали всегда увеличивалась в те переходные критические эпохи, когда привилегиям господствующего класса грозила серьезная опасность. Идеологи этого класса инстинктивно хватались за «вечные нравственные законы», рассчитывая с их помощью предотвратить страшную для них бурю революции. Никогда так много не говорится о нравственности, как в безнравственное время, и никем так настойчиво не проповедуется мораль, как представителями того именно класса, который является главным источником всякой безнравственности. Вот почему в последние годы так вошел в моду кантовский категорический императив» ²⁾.

«В своем неутомимом стремлении соединять Канта с Марксом, г. Бердяев неоднократно подчеркивает необходимость обогатить марксову теорию известным правилом критической философии: «Поступай так, чтобы всегда уважать человеческое достоинство как в твоем собственном лице, так и в лице всякого другого человека, и чтобы всегда относиться к личности как к цели и (иногда это очевидная опечатка, должно быть: никогда. А.. Д.) только как к средству». Эта нравственная формула должна, по мнению многих других реформаторов марксизма, выражать социалистический идеал. Допустим, что под эту формулу можно в самом деле подставить социалистический идеал. Спрашивается, что из этого следует и чем тут обогатится марксова теория?

¹⁾ См. «П. З. М.» № 9.

²⁾ Аксельрод (Ортодокс), Философские очерки, стр. 117—118

Кроме того, эта формула совсем не обязательно должна служить выражением социалистического строя.

Фактически, это пресловутое нравственное правило уже осуществилось, и осуществилось в строе капиталистическом.

Разве класс капиталистов и представляющее его интересы правительство не относится к рабочему классу с этической и юридической стороны как к самоцели?

Попробуйте упрекнуть защитников капиталистического порядка в несоблюдении кантовской заповеди, и они ответят, и с полным основанием, — что это нравственное правило свято соблюдается в капиталистическом обществе. Теперь нет рабства и крепостничества, скажет он вам (должно быть: скажут они вам. А. Д.); это тогда рабочая масса, составляя собственность привилегированных классов, служила для них только средством. В настоящее время личность свободна и потому сама себе цель. Между работодателем и рабочим существует свободный договор, в котором восторжествовала *die Gattungsvernunft* (разум рода).

Работодатель и рабочий, как личности, в одинаковой степени друг от друга зависимы и, как личности, составляют друг для друга цель.

Нравственное повеление считать человека не только средством, но и целью, является идеологическим выражением замены феодализма наемным рабочим трудом¹⁾.

Такого взгляда на категорический императив придерживалась Аксельрод до появления статей Г. В. Плеханова «О войне». После появления статей Плеханова и ответа Л. Мартова, Аксельрод, разумеется, не «выдержала» и разразилась статьей, в которой пыталась «углубить» позицию Плеханова. В этой своей статье, напечатанной в журн. «Дело», за 1916 г. (№ 1), Аксельрод с пафосом доказывает, что Кант сделал в области этики (как и теории познания и эстетики) «целый ряд гениальных и плодотворных обобщений, ставших основой дальнейшего развития положительной философской мысли», что «в его произведениях есть много элементов, сохранивших ценность и большое значение для современной передовой мысли» и что «в такие тяжелые исторические дни (речь идет о мировой войне. А. Д.), когда, говоря словами романтического поэта, чувствуешь себя подчас в «пустыне бытия», совершенно естественно вспомнить о «Критике практического разума», в которой великий автор, вдохновленный своей собственной непреклонной нравственной волей, изобразил нравственное человеческое достоинство»²⁾.

¹⁾ Там же, стр. 120.

²⁾ См. сборник «Марксизм и этика» изд. Я. С. Розанова, стр. 222—224.

Как видит читатель, Аксельрод вполне определенно применяет в своих суждениях о «простых законах права и нравственности» к Канту, повсюду ссылаясь на «Критику практического разума» и развивая взгляды кенигсбергского мыслителя. В годы всеобщего оглушения, как писал правильно Мартов, Аксельрод открыто демонстрировала свою солидарность с Кантом в вопросах права и нравственности.

Прошло десять лет, простые законы права и нравственности как будто отошли в область преданий. Но вот на дискуссии в философском институте они снова совершенно неожиданно всплыли на поверхность. Мои единомышленники указали Аксельрод на несовместимость кантианства с марксизмом. Что же Аксельрод ответила на это указание? Она, и глазом не моргнув, ответила, что ее статья «О простых законах права и нравственности» представляет собою критику кантианства с точки зрения марксизма, что «кантианский вывод» недобросовестно навязывается ей мною. Не даром Мартов в своей статье писал об Аксельрод, что «исповедуемые автором «простые законы нравственности» являются совсем плохой гарантией для тех смертных, против которых направлена «фурия» его полемики». Действительно, все предшествующее изложение показало, что Мартов был прав в своей характеристике Аксельрод.

Итак, «кантианский вывод», который сделан нами из ее статьи о «простых законах», оказывается «убийственным, — только не для меня, а для Деборина», пишет «само собою разумеется» Ортодокс. «Он (кантианский вывод. А. Д.) подтверждает и подчеркивает лишний раз полную непростительную логическую неграмотность Деборина и, более того, его поверхностное и, если можно так выразиться, чисто-терминологическое усвоение основных положений марксизма и противоположного марксизму кантианства. Раз говорится об объективной нравственной норме, стало быть, налично кантианство. Такой оборот может, кроме всего, легко выручить из всех затруднений, так как он дает возможность пустить в ход демагогическую угрозу»¹⁾.

Аксельрод до такой степени разучилась аргументировать, что всякий раз, когда нужно что-либо доказать, она пускает в ход из своего богатого «филологического» арсенала энергичные выражения и фразы, которыми замазывается сущность спора. Но вся Аксельродовская «словесность» обнаруживает, говоря словами того же Мартова, «не только умонаслаждение, но и плохой вкус и спекуляцию на плохую память читателя».

Нет, поистине «простота хуже воровства! Простые законы нравственности не только не могут служить гарантией против мировых войн и классовой борьбы, но даже против недобросовест-

¹⁾ «Красная Новь» 1927 г., кн. V, стр. 145—146.

ной полемики, как это на каждой странице своих писаний доказывает ныне Ортодокс. Плохо обстоит дело с «простыми законами нравственности», если их восторженный поклонник вынуждается к их нарушению на каждом шагу даже не в международной политике, а всего лишь в полемике с идейным противником.

Если верить Аксельрод, то у нее с кантианской этикой нет ничего общего. Плеханов же, в противоположность Аксельрод, не отрицал, что между его «простыми законами нравственности» и нравственным законом Канта существует определенная связь. Он не прибегал к мелким передержкам или к плутовству в целях сокрытия своих взглядов. Плеханов не стал вилить, когда пришел к мысли, что признание нравственного закона Канта диктуется «жизненными экономическими интересами пролетариата». Он открыто высказывал сожаление по поводу того, что ни один из немецких профессоров и доцентов «не прочел фортрага о том, как соединила экономика новейших обществ рекомендованную Марксом «внешнюю политику пролетариата» с нравственным законом Канта»¹⁾. Но то Плеханов.

Аксельрод же, защищая позицию Плеханова в этом вопросе, тем не менее утверждает, что ее точка зрения с кантианством ничего общего не имеет, что истолкование мною ее позиции, как кантианской, «убийственно», — только не для нее, а для меня, что я «обнаружил непростительную логическую неряшливость и поверхностное, чисто-терминологическое усвоение основных положений марксизма и противоположного марксизму кантианства» и проч. Словом, наш Ортодокс разразился целым фонтаном пустопорожней словесности, в которой нет ни одного слова правды и ни одной серьезной мысли.

Аксельрод пишет: «Перейду в заключение к главному пункту обвинения — к моей статье от 1916 г. «О простых законах права и нравственности». Эта статья является главным и, вернее, единственным орудием борьбы в руках моих «критиков» против меня. Развитие в данной статье взгляды марксистской этики Деборин и деборинцы отождествляют с теорией нравственности Канта. Я, — говорят они, — примыкаю в области теории нравственности к учению о категорическом императиве. Не стану подробно останавливаться на этом бессмысленном и нелепом обвинении. Мои обвинители обнаруживают либо недобросовестность, либо полное непонимание марксистской и кантианской этики. Взгляды на марксистскую этику, развитие в инкриминируемой мне статье, высказаны во всех моих прежних работах, но при рассмотрении различных сторон этой сложнейшей проблемы. Делать нападки на статью «О проблемах идеализма», написанную для штуртартской «Зари» и прошедшую через редакцию Плеханова и Ле-

¹⁾ См. «Марксизм и этика», стр. 20.

нина, конечно, неудобно, а потому стали придираться к статье «О простых законах права и нравственности». Питаю полную уверенность в том, что если добросовестный читатель даст себе труд вдумчиво и внимательно прочесть эту статью, то он придет к полному убеждению, что в ней нет и атома кантианства»¹⁾.

Аксельрод усвоила за последнее время совершенно недопустимый прием: свои ошибки она вваливает на плечи «третьих лиц». Этими третьими лицами в данном случае являются Плеханов и Ленин. Оказывается, что развитие ею кантианские взгляды на этику, которые она постоянно величает марксистскими взглядами, разделялись и Лениным, ибо все, что она писала в статье «О простых законах права и нравственности», высказано во всех прежних ее работах и в особенности в статье «О проблемах идеализма», написанной для штуртартской «Зари» и прошедшую через редакцию Плеханова и Ленина. Но так как делать нападки на статью, прошедшую через редакцию Плеханова и Ленина неудобно, то деборинцы стали придираться к статье «О простых законах права и нравственности». Таким образом, наш автор перелагает ответственность за свои кантианские взгляды на этику не только на Плеханова, но и на Ленина. Как же после этого не возмущаться Аксельродскими приемами? Ведь Аксельрод превосходно знает, что Ленин не был согласен с ней, что он резко протестовал против фальсификации Аксельрод взглядов Маркса и Энгельса. Чтобы не быть голословным, приведем хотя бы одну цитату из Ленина. Вот что он писал по поводу попытки навязать марксизму этический идеализм Канта:

«Дело» занимает нагло шовинистскую и реформистскую позицию. Стоит взглянуть на то, как г-жа Ортодокс фальсифицирует Маркса, подводя его посредством умолчаний под союз с Гинденбургом (с философскими обоснованиями, не шутите!)....»²⁾. Стало быть, Ленин вполне определенно квалифицирует Аксельрод... Казалось бы, всякий другой на месте Аксельрод не стал бы ссылаться на согласие с ним Ленина. Но то «всякий другой», а не Аксельрод, которая имеет смелость писать, а ее друзья — печатать: «Я же как была, так и остаюсь на почве ортодоксального диалектического материализма». Она «как была, так и есть» ортодоксальная марксистка: и тогда, когда соединяет марксизм с кантианством и с прудонизмом, и тогда, когда соединяет его с метафизическим и механическим материализмом, и тогда, когда отрицает диалектику, — словом, всегда, на всех этапах своего реформистского и ревизионистского странствования по марксизму.

¹⁾ «Красная Новь» 1927 г., кн., V, стр. 144.

²⁾ См. Н. Ленин, Собр. соч., т. XIII, стр. 466 и 467. Курсив мой.

Впрочем, она клеветает не только на Ленина и Плеханова, но и на самое себя. Ибо в статье «О проблемах идеализма» нашим автором развивались взгляды, прямо противоположные тому, что она писала в 1916 г. и что она отстаивает ныне. Но если бы оказалось, что она действительно и всегда придерживалась кантианских взглядов на этику, то ответственность за свои взгляды она должна нести сама, и нечего кивать на Петра.

Ортодокс «божьей милостью» развивает чисто марксистскую этику даже тогда, когда она излагает чисто кантианскую этику. А кто не согласен, тот отличается или недобросовестностью, или непониманием основ марксизма. Кантианские взгляды на этику нашим автором навязываются и Энгельсу. Оказывается, что в «Анти-Дюринге» Энгельс развивает Аксельродовские взгляды на этику. Вот до каких пределов доходит бесцеремонность Ортодокса:

«Что же касается моего взгляда на марксистскую теорию нравственности,—пишет Аксельрод в назидание деборинцам,—то он целиком (курсив автора. А. Д.) опирается на «Анти-Дюринга» Энгельса. Рекомендую Деборину и его ученикам Луполу и Долову... внимательно прочесть и осмыслить в IX главе первой части «Анти-Дюринга» те места, которые относятся специально к принципам нравственности. И тогда им станет ясно, что существуют общие простые законы и нормы нравственности, и что эти общие законы обязательны также для пролетариата, но обязательны лишь постольку, поскольку они не противоречат классовым и революционным задачам этого последнего, так как победа социализма над капитализмом является не только исторической необходимостью, но и является высшим нравственным идеалом для пролетариата и всех угнетенных, т.е. подавляющего большинства человечества»¹⁾.

Поистине писания Аксельрод начинают приводить меня в восхищение. Она считает, что ей достаточно ткнуть перстом в «Анти-Дюринга» Энгельса, чтобы сразу посрамить нас всех и одним махом установить тождество кантианства с марксизмом. Она даже не считает нужным аргументировать, ограничиваясь каскадом слов. Деборину чуждо понимание марксистской этики: он обнаруживает «поверхностное чисто терминологическое усвоение основных положений марксизма» и все это только потому, что он не приемлет Аксельродовской псевдо-марксистской этики.

Ссылка Аксельрод на Энгельса, разумеется, свидетельствует только о необычайной смелости нашего автора. Аксельрод не делает ни малейшей попытки анализировать взгляды Энгельса на этику, а ограничивается простым констатированием

¹⁾ См. сб. «Диалектика в природе» № 2, стр. 303.

тождества ее взглядов с взглядами Энгельса. Аксельрод посоветовала нам внимательно прочесть и осмыслить в IX главе первой части «Анти-Дюринга» те места, которые относятся специально к принципам нравственности. Мы последовали ее «совету» и—увы!—лишний раз убедились в полной противоположности взглядов Энгельса взглядам Аксельрод. Правда, девятая глава имеет совсем отдаленное отношение к занимающему нас вопросу, но и в VII и VIII главах читатель не найдет ничего похожего на Аксельродовскую теорию нравственности. Напротив, все, что написано Энгельсом по вопросу о праве и нравственности, направлено против «общеобязательных нравственных норм» или законов, выдаваемых Аксельрод за «марксистскую» этику. Мы усиленно рекомендуем читателю все три главы из «Анти-Дюринга», посвященные вопросам права и нравственности; пусть он самостоятельно убедится в Аксельродовских плутнях. К сожалению, мы лишены возможности здесь подвергнуть подробному анализу взгляды Энгельса, но привести несколько цитат из его «Анти-Дюринга» считаем необходимым, так как они прямо направлены против взглядов, защищаемых ныне Аксельрод:

«...Мы отвергаем всякую попытку навязать нам какую-либо моральную догматику в виде вечного, окончательного, отныне неизменно нравственного закона, под тем предлогом, что и нравственный мир имеет свои непреходящие принципы, которые стоят выше истории и национальных различий. Напротив, мы утверждаем, что всякая нравственная теория до сих пор являлась результатом, в конечном счете, данного экономического положения общества. А так как общество до сих пор развивалось в классовых противоположностях, то нравственность всегда была классовой нравственностью: либо она оправдывала господство и интересы господствующих классов, либо, когда класс угнетенный становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных. Что при этом, в общем и целом, в нравственности, как и во всех прочих отраслях человеческого познания, происходит прогресс,—в этом нельзя сомневаться. Но еще и теперь мы не вышли за пределы классовой нравственности. Нравственность, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной при такой степени развития общества, когда не только устранится противоположность классов, но, вместе с тем, изгладится ее след в практической жизни»¹⁾.

Читатель видит, что Энгельсовская постановка вопроса логически исключает всякие «общеобязательные, объективные нравственные законы». Аксельрод не привела из Энгельса ни одной цитаты, которая могла бы подтвердить ее кантианскую точку зре-

¹⁾ Энгельс, Анти-Дюринг, 1918 г., стр. 84.

ния. Гораздо легче ткнуть просто пальцем в «Анти-Дюринга» и сказать, что Энгельс развивает те же взгляды, что и я, «само собою разумеется» Ортодокс. Тактика Аксельрод рассчитана на людей, совершенно не знакомых с марксизмом, но всякий, кто хоть раз в жизни держал в руках «Анти-Дюринга», знает, что, навязывая Энгельсу «общеобязательные объективные нравственные законы или нормы», Аксельрод просто клеветает на основоположника марксизма, чтобы оправдать свою кантианскую позицию. А теперь просим обратить внимание читателя на внутреннюю логику приведенной выше цитаты из Аксельрод.

Обнаруживая умоисступление и сильнейший гнев по поводу критики ее «простых законов права и нравственности» мною и моими единомышленниками, Аксельрод в то же время внесла теперь, под влиянием нашей критики, маленькую «поправочку», которая, однако, только ухудшает ее «положение» и запутывает еще больше ее позицию.

В самом деле, теперь она формулирует взаимоотношения между общеобязательными нравственными законами и задачами рабочего класса таким образом: существуют общие простые законы и нормы нравственности, «эти общие законы обязательны также для пролетариата, но обязательны лишь постольку, поскольку они не противоречат классовым и революционным задачам этого последнего» ¹⁾.

Таким образом, продолжая нас ругать последними словами, Аксельрод все же сочла нужным ограничить значимость «общеобязательных законов», соглашаясь некоторым образом с теми, кто обнаруживает «поверхностное, чисто терминологическое усвоение основных положений марксизма». Это маленькое «отступление» перед натиском противника внесло большое расстройство в логику нашего автора. В самом деле, как же это так выходит, что общеобязательные законы, без признания и подчинения которым немисливо человеческое существование, как писала Аксельрод, вдруг оказываются не общеобязательными? Общеобязательные законы не обязательны, когда приходят в противоречие с классовыми и революционными задачами пролетариата. Но ведь это именно и значит, что общеобязательных законов нравственности и права не существует. Зачем же было огород городить? Я уже не говорю о том, что наш автор, который постоянно твердит на словах о необходимости конкретного изучения действительности, ни разу не сделал попытки наполнить каким-либо конкретным содержанием эти «общеобязательные объективные законы права и нравственности».

Мало того, постоянно жонглируя общеобязательными объективными законами нравственности и права, Аксельрод ни разу не

¹⁾ См. сборник «Диалектика в природе» № 2, «Мой ответ»

попыталась даже дать хотя бы чисто-логический, чисто-формальный анализ таких понятий, как «закон», «объективность» и «общеобязательность». В качестве закоренелого и несправимого «схоласта» я считаю совершенно недопустимым оперировать понятиями, содержание которых предварительно не выяснено. Впрочем, Аксельрод пользуется кантовской формулой. Этого не замечать ей никакими ругательствами по адресу пишущего эти строки. Именно Кант и кантианцы стоят на почве общеобязательных нравственных норм или законов.

Понятие общеобязательного означает для них обязательное для всех времен и народов, нечто сверхопытное, от действительной жизни не зависимое, стоящее над историей, над действительностью. Подобно тому, как, согласно Канту, человек «предписывает» свои законы природе, так в области права и морали он диктует свои нормы или законы человечеству. Происхождение этих законов и норм чисто метафизическое, сверхопытное; они коренятся в сверхчувственном мире. Когда говорят о «простых законах права и нравственности», об общеобязательных объективных нравственных законах, то имеют в виду именно законы или нормы, обязательные для всех втемен и всех народов, т.-е. имеют в виду надисторические законы, стало быть законы вечные и неизменные. Но как раз эти вечные и неизменные законы, эти общеобязательные и нравственные нормы и высмеиваются Энгельсом на каждой странице его «Анти-Дюринга». А наш автор в подтверждение своей кантианской точки зрения ссылается на «Анти-Дюринга».

Высмеивая вечные и неизменные истины и нормы Дюринга, Энгельс, между прочим, писал:

«Какая нравственность проповедуется нам в наши дни? Прежде всего христианско-феодалная, унаследованная от старой религиозной эпохи, которая, в свою очередь, принципиально делится на католическую и протестантскую, при чем опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях, от иезуитско-католической и ортодоксальной-протестантской до слабо обоснованной морали. Одновременно с этой моралью фигурирует современно-буржуазная нравственность, а рядом с ней пролетарская мораль будущего; таким образом, прошедшее, настоящее и будущее, в наиболее передовых странах Европы выдвинули на сцену три большие группы одновременно и параллельно существующих теорий нравственности. Какая же из них верна? Ни одна, если иметь в виду абсолютно окончательное их значение; но, конечно, та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей продолжительную устойчивость, которая в данную эпоху выражает точку зрения будущего, т.-е., в данный момент, мораль пролетарская. Если же каждый из трех классов современного общества (феодалная аристократия, буржуазия и про-

летариат) имеет свою особую мораль, то из этого можно сделать тот вывод, что люди, сознательно или бессознательно, черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических условий их классового положения, т.-е. экономических отношений, обуславливающих собою производство и обмен продуктов¹⁾.

Как ни стараюсь я, «по доброму совету» Аксельрод, «внимательно осмыслить» взгляды Энгельса на нравственность, у меня все же получается, что Энгельс стоит на диаметрально-противоположной взглядам Аксельрод позиции. Повидимому, это объясняется моим «полным непониманием марксизма». Но дело в том, что я привожу доказательства, а Аксельрод отделяется общими фразами насчет того, что она стоит целиком на позиции Энгельса. Энгельс ни единым словом не упоминает об общеобязательных нравственных нормах. Вся эта кантианская терминология ему совершенно чужда. Он говорит о трех основных теориях нравственности, из которых ни одна не может претендовать на общеобязательность.

Стремление навязать пролетариату общеобязательные нравственные нормы, вытекало из социал-патриотической позиции нашего автора во время мировой войны. «Простые законы права и нравственности» должны были объединить пролетариат и буржуазию в едином патриотическом порыве борьбы «до победного конца». Немецкая буржуазия, видите ли, нарушила объективный нравственный закон, и за это должна быть строго наказана добродетельной буржуазией, вкупе с помещиками, стран Согласия, а пролетариат тоже должен выпрямиться в буржуазную колесницу, на которой красуется общеобязательный нравственный закон. «Своим вторжением в нейтральную Бельгию Германия нарушила общеобязательные законы права и нравственности, признаваемые всем цивилизованным человечеством, но и некоторыми группами дикарей»²⁾, пишет Аксельрод-Ортодокс.

Общеобязательный нравственный закон, стоящий над классовой этикой, должен служить высоко-теоретическим, этическим оправданием для политики классового сотрудничества пролетариата с буржуазией. «Несмотря на классовую этику и на относительный характер права и нравственности, человечество выработало за свою долгую общественно-историческую жизнь общие нормы взаимного существования», продолжает Аксельрод. Стало быть, помимо классовой этики (и права), носящей относительный характер, существует надклассовая, абсолютная этика, как и абсолютное право. В качестве некоего бесплотного духа эти абсолютные нормы витают над грешной эмпирической действительностью с ее классовой этикой, носящей чисто относительный характер. Само со-

¹⁾ Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 83.

²⁾ Сб. «Марксизм и этика», стр. 227.

боо разумеется, что относительное и эмпирическое должно склониться перед абсолютным и сверхэмпирическим. «Без признания и подчинения этим «простым законам права и нравственности» немисливо человеческое существование», утверждает Аксельрод. Для того, чтобы было возможно человеческое существование, необходимо, по Аксельрод, подчинить эмпирическую классовую и относительную этику абсолютным общеобязательным нравственным нормам.

Во всех этих рассуждениях Аксельрод—увы!—не ушла дальше Бердяева, которого она некогда недурно критиковала. Но между Бердяевым и Аксельрод существует та разница, что последняя кантианство выдает за марксизм, в то время как Бердяев этого не делал, отдавая себе отчет в противоположности между марксизмом и кантианством. Поэтому Бердяев открыто говорил о необходимости «оплодотворения» марксизма критической философией. По существу же у Аксельрод и Бердяева позиция одинаковая.

В своей книжке «Суб'ективизм и об'ективизм в общественной философии» Бердяев писал следующее:

«Формальные основы нравственности незыблемы, существует об'ективно-нравственное, доброе, справедливое, но содержание нравственности в высшей степени текуче, она находится в постоянном процессе развития»¹⁾.

И далее: «Об'ективная нравственность возможна лишь при признании априорного характера нравственного закона, принудительно отличающего добро от зла; только в таком случае добро приобретает общеобязательный характер. Этически общеобязательное—значит долженствующее быть... Мы интересуемся теперь не вопросом о происхождении и развитии нравственности, а вопросом о ее ценности. Для нас нравственность—не суб'ективная иллюзия, как это желают доказать эмпирико-эволюционисты, для нас она—самостоятельное качество, не разложимое ни на какое количество молекул неэтических»²⁾.

Таким образом, Бердяев защищает те же общеобязательные нравственные нормы, которые защищаются и Аксельрод. Разница между ними лишь та, что Бердяев так или иначе расшифровывает понятия общеобязательной об'ективной нравственной нормы, а Аксельрод этого не делает. Бердяев прямо говорит, что Кант в своем категорическом императиве выразил вечный формальный признак нравственности, что об'ективная нравственность возможна лишь при признании априорного, трансцендентального характера нравственного закона, а Аксельрод все эти острые вопросы просто обходит. Но ведь существо дела от этого не меняется, так как общеобязательными нормами или законами на-

¹⁾ Бердяев, Суб'ективизм и об'ективизм, стр. 76.

²⁾ Там же, стр. 72.

выносятся такие, которые обязательны для всякого сознательного существа, т.е. такие, которые имеют безусловную ценность. Сама Аксельрод вынуждена, как мы видели, противопоставить классовой и относительной этике надклассовую и абсолютную, т.е. общеобязательные объективные нравственные нормы. В «Моем ответе» Аксельрод вынуждена была изменить свою формулу в том смысле, что общеобязательные нормы обязательны для пролетариата лишь постольку, поскольку они не противостоят его классовым и революционным задачам. Иначе говоря, Аксельрод отказалась (разумеется, только на словах и, так сказать, *ad hoc*) от общеобязательных объективных нравственных законов, ибо общеобязательные законы, которые не обязательны, не суть общеобязательные законы. Но эта формулировка опять-таки вносит только излишнюю путаницу. Было бы гораздо лучше, если бы Аксельрод прямо, без неприличных уверток, заявила, что она отказывается от своей точки зрения. Но дело в том, что Аксельрод и не думает от нее отказываться, ибо в статье «Ответ на «Наши разногласия А. Деборина», напечатанной позже в «Красной Нови», она заявляет, что в ее статье «О простых законах права и нравственности» нет и атома кантианства. Это уже хуже.

«Развитие в данной статье (в статье «О простых законах права и нравственности». А. Д.) взгляды марксистской этики, — пишет Аксельрод в «Красной Нови», — Деборин и деборинцы отождествляют с теорией нравственности Канта. Я, — говорят они, — примыкаю в области теории нравственности к учению о категорическом императиве. Не стану подробно останавливаться на этом бессмысленном и нелепом обвинении»¹⁾. Далее следует несколько крепких ругательств по адресу Деборина и «деборинцев», которые, конечно, обнаруживают недобросовестность, непонимание и проч.

Но посмотрим, что сама Аксельрод писала относительно категорического императива в статье, о которой у нас идет речь.

«Категорический императив во всех своих разветвлениях и со всеми своими правилами и нормами есть вполне ясный и вполне очевидный продукт общественно-исторического развития. И, как таковой, он действительно существующий факт, имеющий реальное значение».

«В эпохи упадка и общественного разложения, когда узы коллектива развязываются, когда личность оказывается психологически изолированной и нравственная воля мертва, на место категорий нравственных оценок выступает животное безразличие, на место категорического императива «все дозволено» (курсив мой. А. Д.).

¹⁾ «Красная Новь» 1927 г., кн. V, стр. 144.

Можно было бы привести и другие места, но и этих двух цитат достаточно, чтобы уличить Аксельрод, мягко выражаясь, в «забывчивости». «Бессмысленное и нелепое обвинение» подтверждается собственными словами автора. Я должен открыто сознаться, что полемизировать с Аксельрод — дело весьма скучное и чрезвычайно неблагодарное. Неблагодарное дело потому, что она не развивает и не доказывает своих положений, а только лишь изрекает. Она, напр., не доказывает, почему в разбираемой нами ее статье «нет и атома кантианства»; она просто делает заявления, а читатель обязан верить ей на слово. Скучно же полемизировать с ней по той причине, что она постоянно выливает, наворачивает ворох фраз, которые приходится «разворачивать», чтобы обнаружить перед читателем крупные и «мелкие» передержки автора. Так, напр., она, совершенно не стесняясь, обвиняет меня в том, что я фальсифицировал одну цитату из ее статьи. Читатель, разумеется, склонен поверить автору, а между тем это обвинение — сплошная клевета. Я вынужден, к сожалению, привести из ее «Ответ» на «Наши разногласия» длинную цитату, чтобы продемонстрировать перед читателем приемы нашего автора.

Прочитав из своей статьи то место, где противопоставляется классовая и относительная этика объективным нравственным нормам, она продолжает эту цитату таким образом: «И далее: «Там, где существует хоть какая-нибудь связь между двумя лицами, там присутствует Сократ, т.е. там мы имеем валидо объективную нравственную норму»¹⁾.

В действительности же сказано в ее статье: «там мы имеем общеобязательную объективную нравственную норму»²⁾. Зачем понадобилось Аксельрод фальсифицировать, извратить теперь свои собственные слова, — это, надеюсь, уже ясно читателю. Продолжать теперь эту ахинею насчет общеобязательности после того, как она вынуждена была, под влиянием нашей критики, признать, что общеобязательные законы не общеобязательны, — продолжать, говоря я, настаивать на этом, представляется уже невозможным. Поэтому, именно, она фальсифицирует ныне самое себя, — вместо того, чтобы просто и честно признать свою неправоту.

Далее Аксельрод продолжает:

«Это имеет место и в том тривиальном случае, когда этой связью является простая торговая сделка. Если акт продажи и покупки точно соответствует целям продавца и покупателя, то этот акт совершен согласно объективной нравственной норме. Без признания и подчинения этим простым законам права и нравственности, немисливо человеческое существование».

¹⁾ «Красная Новь» 1927 г., кн. V, стр. 145.

²⁾ См. сб. «Марксизм и этика», стр. 227—228.

«По поводу этого, как сказано, «криминального» положения, — продолжает Аксельрод, — Деборин торжествующе пишет: «Я не могу останавливаться на политическом смысле этой кантовой моральной философии. Скажу только, что если рабочий продает свою рабочую силу предпринимателю, то эта «торговая сделка» совершается, по мнению т. Аксельрод, согласно объективной нравственной норме... Комментарии излишни», кончает свой политический вывод победоносно Деборин. Нет, совсем не излишни. Ибо откуда, спрашивается, следует, что акт продажи и покупки рабочей силы соответствует, согласно высказанным мною положениям, объективной нравственной норме? Для того, чтобы сделать такое уничтожающее для меня заключение, Деборин должен был, хотя бы для приличия, фальсифицировать приведенную им цитату и выбросить из нее фразу (курсив мой. А. Д.): «если акт продажи и покупки точно соответствует целям продавца и покупателя (курсив Аксельрод. А. Д.)». Очевидно, без лишних комментариев, что лишь при отсутствии этой фразы возможен подобный кантианский вывод. Если же эту фразу вычеркнуть нельзя, тогда многозначительный, убийственный вывод попадает, как говаривал Плеханов, мимо Сидора в стенку. Ибо акт продажи и покупки рабочей силы в капиталистическом обществе соответствует целям только капиталиста, но отнюдь не целям рабочего. Очевидно, стало быть, что акт продажи и покупки рабочей силы совершается согласно приведенной Дебориным цитаты, вопреки объективной нравственной норме. Нравственное негодование против эксплуатации рабочей силы капиталистами, проникающее собою кстати сказать все труды всех наших классиков марксизма, имеет своей объективной основой это именно несоответствие со всеми вытекающими из него последствиями. Сделанный Дебориным вывод из приведенной цитаты, действительно, убийственный, — только не для меня, а для Деборина»¹⁾.

Для того, чтобы сделать заключение о ее кантианстве, утверждает Аксельрод, «Деборин должен был, хотя бы для приличия, фальсифицировать приведенную им цитату и выбросить из нее фразу: «если акт продажи и покупки точно соответствует целям продавца и покупателя». Это тоже, повидному, «тонкий» трюк для отвода внимания читателя от существа вопроса. Утверждение Аксельрод рассчитано на то, что читатель «Красной Новой» обязательно проявит умственную лень и не потрудится заглянуть на 29 стр. «Летописей марксизма» (кн. 2), где мною приводится цитата из ее статьи полностью, в неурезанном виде. Сама Аксельрод цитирует именно эту страницу из моей статьи и все же не останавливается перед тем, чтобы бросить мне обвинение

¹⁾ Аксельрод (Ортодокс), «Красная Новь» 1927 г., кн. V, стр. 145.

в извращении ее цитаты. Пусть читатель убедится собственными глазами.

В заключении, которое я делаю из этой злополучной цитаты, мне естественно не следовало снова повторить цитату. Здесь я своими словами формулирую вывод из этой цитаты в том смысле, что, по мнению Аксельрод, торговая сделка совершается согласно общеобязательной объективной нравственной норме. Но ведь Аксельрод сама пишет, что «там, где существует хоть какая бы то ни было связь между двумя лицами, там существует Сократ, т.-е. там мы имеем налицо общеобязательную объективную нравственную норму. Это имеет место, прибавляет она, и в том тривиальном случае, когда эту связь является простая торговая сделка». Разве я не имел права сказать нашему автору: между рабочим и предпринимателем существует же «хоть какая бы то ни было связь», стало быть эта «связь» осуществляется, по Аксельрод, согласно общеобязательной нравственной норме. Я такую точку зрения квалифицирую, как кантианство, а Аксельрод находит, что это чисто «марксистская этика» и что только «чисто-терминологическим» усвоением марксизма объясняется мое непонимание ее «марксистской этики». Мало того, моя квалификация ее этики, как кантианской, «убийственная» для меня, а не для нее... И это пишется после того, как она вынуждена была отказаться от первоначальной формулировки общеобязательных норм. Пусть решится, но я уверен, что читатель меня «убиенным» считать не будет.

Я уже говорил о «расстройстве» логики у нашего самонадеянного автора. Ведь наш проповедник морали открыл, что «там, где существует хоть какая бы то ни была связь между двумя лицами», там мы имеем налицо общеобязательную объективную нравственную норму. Стало быть, здесь формулирована «общеобязательная» норма, гласящая, что всякая связь между двумя лицами предполагает наличие общеобязательной нравственной нормы. Но автор тут же спешит ограничить действие этих норм введением понятия взаимности цели: «если акт продажи и покупки точно соответствует целями продавца и покупателя, то этот акт совершен согласно объективной нравственной норме». Аксельрод уверена, что именно эта «поправка» спасает ее от кантианства. Мы ниже увидим, что эта соломинка, за которую она хватается, несколько не спасает ее от кантианства. Следующая непосредственно за предложением о взаимном соответствии целям контрагентов фраза делает совершенно невозможным принять то истолкование о целях, которые Аксельрод ныне предлагает. Ведь для всякого ясно, что Аксельродовская этика освящает капиталистические отношения. И вот на мое указание, что, с точки зрения Аксельрод, акт покупки

предпринимателем рабочей силы, иначе говоря: «акт» эксплуатации рабочего в капиталистическом обществе объявляется соответствующим объективной нравственной норме, Аксельрод вынуждена, разумеется, признать, что акт продажи и покупки рабочей силы в капиталистическом обществе соответствует целям только капиталиста, но отнюдь не целям рабочего. Очевидно, стало быть, что акт продажи и покупки рабочей силы совершается... вопреки объективной нравственной норме.

Мы чрезвычайно рады, что после долгих споров и взаимных «комплиментов» мы добились, наконец, от старого «Ортодокса» столь «отрадного» заявления. Но дело-то в том, что эта ложка меду растворяется в боченке дегтя. Ибо Аксельрод делает обобщающий вывод, который опрокидывает все мелкие, вынужденные уступки. Этот вывод гласит так: «Без признания и подчинения этим «простым законам права и нравственности» немислимо человеческое существование». Этот «закон» Аксельрод имеет какой-нибудь логический смысл лишь в том случае, если всякая связь, всякая сделка, как наш автор формулирует свою мысль в первой фразе, соответствует объективной нравственной норме, ибо без признания и подчинения этим нравственным нормам «немислимо человеческое существование». Но так как «человеческое существование» есть факт, которого отрицать не может даже Аксельрод, то очевидно, что это «человеческое существование» всегда осуществлялось согласно общеобязательным объективным нравственным нормам. Этим утверждением Аксельрод достигает сразу двух «целей»: во-первых, объективные нравственные нормы оказываются действительными всегда и везде, т.е. они оказываются вечными и неизменными истинами; во-вторых, всякая сделка, значит и всякая мерзость, обнаруживается как выражение абсолютных нравственных норм, которыми и освящается.

Кстати о «теории» двух лиц, Аксельрод констатирует, подобно Дюрингу, теорию нравственности из «простейших элементов» общества, из двух индивидов. «Там, где существует хоть какая-нибудь связь между двумя лицами, там присутствует Сократ и т.д.». Не такова именно была конструкция Дюринга, которую Энгельс подверг такой жестокой критике. «Итак,—писал Энгельс,—г. Дюринг разлагает общество на простейшие его элементы; при чем оказывается, что простейшее общество состоит, по крайней мере, из двух индивидов. Затем, над этими двумя субъектами г. Дюринг оперирует «аксиоматически», и в результате этого получается следующая моральная основная аксиома: «две человеческие воли, как таковые, совершенно равны между собой, и одна не может предъявить другой никаких положительных требований». Тем самым «охарактеризована основная форма нравственной справедливости», равно как и справедливости юриди-

ческой, ибо «для развития принципиальных понятий права необходим только анализ совершенно простого и элементарного отношения между двумя индивидами (курсив мой. А. Д.)¹⁾».

Энгельс совершенно справедливо указывает, что Дюринг «конструирует нравственность и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, но из понятия или из так наз. простейших элементов общества. Все эти «элементы» вошли в Аксельродовскую «конструкцию» теории права и нравственности: мы тут имеем те же «простейшие» элементы общества,—два лица и их взаимное отношение, далее, чисто «аксиоматический», абстрактно-метафизический характер регулирующих это отношение норм и т.д. «Но, состряпав аксиому,—продолжает Энгельс,—утверждающую, что два человека и их две воли совершенно равны между собою и что ни один из них не может приказывать что-либо другому, признаться, очень трудно найти подходящих для нее двух субъектов. Нужны два таких человека, которые настолько свободны от всякой реальности, от всех существующих в этом мире национальных, экономических и религиозных условий, от всяких половых и личных особенностей, что от того и другого не останется ничего, кроме простого понятия—человек, и в таком случае уж они, конечно, «совершенно равны». Следовательно, это два совершенных духа, вызванных тем самым г. Дюрингом, который повсюду чует и обличает «спиритические» наклонности. Эти два духа, разумеется, должны делать все, что прикажет им их заклинатель; но именно потому все их проделки совершенно безразличны для человечества»²⁾.

Рекомендуем Аксельрод внимательно прочесть и осмыслить все написанное Энгельсом о нравственности, и она тогда убежится, что между развиваемыми ею взглядами и взглядами Энгельса лежит целая пропасть. Впрочем, мы уверены, что Энгельс ей уже не поможет. Она будет продолжать изворачиваться, но у нее не хватит смелости просто отказаться от своей точки зрения, как совершенно ложной и антимарксистской. Надо прямо сказать: нет ничего более возмутительного, как утверждение Аксельрод, что ее кантианская от начала до конца концепция представляет собою «марксистскую этику», целиком опирающуюся на «Анти-Дюринга» Энгельса.

А теперь возвратимся снова к аксельродовской интерпретации «акта продажи и покупки». Ныне она утверждает, что «акт продажи и покупки рабочей силы совершается вопреки объективной нравственной норме», ибо «акт продажи и покупки рабочей силы в капиталистическом обществе соответствует целям толь-

¹⁾ Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 86.

²⁾ Там же, стр. 87.

ко капиталиста, но отнюдь не целям рабочего». И эта новейшая интерпретация «нравственного закона» должна спасти Аксельрод от кантианства и окончательно «убить» Деборина. Но, спрашивается, если человеческое существование, — как утверждает Аксельрод, — немислимо без признания и подчинения общеправовым объективным нравственным законам, то как же возможно существование капиталистического общества «вопреки объективной нравственной норме»? Но ведь тот же самый вопрос можно задать и в отношении феодального и рабовладельческого общества. Таким образом выходит, что человечество всегда жило вопреки объективной нравственной норме, несмотря на то, что человеческое существование без них даже немислимо. Такова логика нашего «тонкого» мыслителя. Логика — гнилая и до того «тонкая», что она постоянно «рвется» и трещит по всем швам.

Следовательно, мы снова, с другой стороны, пришли к «самотриггерию» общеправовых объективных нравственных норм. И тем не менее Аксельрод будет продолжать утверждать, что ее «марксистская» этика «убийственна» для Деборина, а не для нее, ибо аргументы от нее отскакивают, как горох от стены. Если бы аргументы для нее имели какую-нибудь цену, если бы она не была безнадежно глуха к языку логики и фактов и если бы она не отличалась роковым заблуждением насчет своей непогрешимости, она бы поняла, что вся ее «концепция» была вдребезги разбита еще 11 лет тому назад Мартовым в его статье «Простота хуже воровства», и она не продолжала бы твердить бердяевские «зады», а мы с читателем были бы избавлены от сомнительного удовольствия «распутывать» путаницу, преподносимую читателю в качестве «живой», «конкретной», «марксистской» мысли.

Чтобы покончить, наконец, с этим вопросом, я позволю себе привести из статьи Мартова полностью разделяемую мною следующую оценку «простой торговой сделки», которая «точно соответствует целям продавца и покупателя»:

«Если, — говорит автор, — акт продажи и покупки точно соответствует целям продавца и покупателя, то этот акт совершен согласно объективной нравственной норме». Прекрасная Прудон не могла бы в столь изящно-иезуитской форме «нравственно оценить» иск бедного Шейлока, как Ортодокс это сделала со всеми и всяческими торговыми сделками. Ибо торговая сделка, которой результаты «точно соответствуют» целям обеих сторон, почти так же немислима в современном обществе, как получение фунта живого мяса без капли крови. Но, может быть, Ортодокс иначе понимает «точное соответствие» целям продавца и покупателя, усматривая его в том, что вульгарный язык называет «ценой без запроса», — тонко иронизирует Мартов над нашим философом. — В наше время вздорования жизни, — продолжает Мар-

тов, — утешительно читателю во всяком случае узнать, что «Сократ может обеспечить ему при покупке то «соответствие цели», которого никак не мог гарантировать ему околотошный надзиратель».

«Прудонисты в своей критике капитализма, — продолжает Мартов, — исходили из идеализации обмена равноценностей, который они считали «простым законом» нормального человеческого общежития, вечно нарушаемым в современном обществе и подлежащим восстановлению путем устранения посредничества ссудного и торгового капитала между производителями. Маркс, как известно, доказал, что обмен равноценностей в своем диалектическом развитии порождает с необходимостью ту именно эксплуатацию труда капиталом, которую прудонизм рассчитывал устранить путем восстановления обмена равноценностей во всех правах. Ныне Ортодокс, вознамерившись, вслед за Плехановым, ориентироваться в проблемах внешней политики при помощи прудонистской презумпции о «простых законах нравственности и права», якобы управляющих жизнью всякого общежития, дошла-таки до того, чтобы искать следы этих законов в «простой торговой сделке», которая «точно соответствует целям продавца и покупателя», т. е. в каком-то идеальном обмене равноценностей. Наши марксисты, как видит читатель, путешествуя от Прудона к Канту, запасаются билетом «туда и обратно». Но как трудно современному писателю, даже в творчестве самых несомненных глупостей, выдумать порох!»¹⁾

И вот Ортодокс до такой степени цепко держится за «несомненную глупость», что непризнание нами этой глупости оказывается «убийственным» не для нее, а для Деборина. К Мартовской критике «теории равноценности» нам положительно нечего прибавить, ибо эта критика действительно убийственна для нашего Ортодокса.

«Акт продажи и покупки рабочей силы в капиталистическом обществе соответствует целям только капиталиста, но отнюдь не целям рабочего», — пишет теперь Аксельрод. Повидимому, с точки зрения нашего Ортодокса, в будущем социалистическом обществе, акт продажи и покупки рабочей силы будет в «точности соответствовать» целям рабочего и капиталиста. Но ведь в том-то и дело, что капиталистическое общество не может не базироваться на эксплуатации рабочей силы, а в социалистическом, т. е. бесклассовом обществе, в котором нет частной собственности на орудия и средства производства, не может быть и речи о продаже и покупке рабочей силы капиталистам. Стало быть «убийственная» для меня формула Аксельрод о «точном соответствии» целям рабочего и предпринимателя вяжется с прудонизмом и кантианством, но в корне противоречит марксизму.

¹⁾ См. сб. «Марксизм и этика», стр. 247—248.

ко капиталиста, но отнюдь не целям рабочего». И эта новейшая интерпретация «нравственного закона» должна спасти Аксельрод от кантианства и окончательно «убить» Деборина. Но, спрашивается, если человеческое существование, — как утверждает Аксельрод, — немислимо без признания и подчинения общезначимым объективным нравственным законам, то как же возможно существование капиталистического общества «вопреки объективной нравственной норме»? Но ведь тот же самый вопрос можно задать и в отношении феодального и рабовладельческого общества. Таким образом выходит, что человечество всегда жило вопреки объективной нравственной норме, несмотря на то, что человеческое существование без них даже немислимо. Такова логика нашего «тонкого» мыслителя. Логика — гнилая и до того «тонкая», что она постоянно «рвется» и трещит по всем швам.

Следовательно, мы снова, с другой стороны, пришли к «самотрепанию» общезначимых объективных нравственных норм. И тем не менее Аксельрод будет продолжать утверждать, что ее «марксистская» этика «убийственна» для Деборина, а не для нее, ибо аргументы от нее отскакивают, как горох от стены. Если бы аргументы для нее имели какую-нибудь цену, если бы она не была безнадежно глуха к языку логики и фактов и если бы она не отличалась роковым заблуждением насчет своей непогрешимости, она бы поняла, что вся ее «концепция» была вдребезги разбита еще 11 лет тому назад Мартовым в его статье «Простота хуже воровства», и она не продолжала бы твердить бердяевские «зады», а мы с читателем были бы избавлены от сомнительного удовольствия «распутывать» путаницу, преподносимую читателю в качестве «живой», «конкретной», «марксистской» мысли.

Чтобы покончить, наконец, с этим вопросом, я позволю себе привести из статьи Мартова полностью разделяемую мною следующую оценку «простой торговой сделки», которая «точно соответствует целям продавца и покупателя»:

«Если, — говорит автор, — акт продажи и покупки точно соответствует целям продавца и покупателя, то этот акт совершен согласно объективной нравственной норме». Прекрасная Порция не могла бы в столь изящно-иезуитской форме «нравственно оценить» иск бедного Шейлока, как Ортодокс это сделала со всеми и всяческими торговыми сделками. Ибо торговая сделка, которой результаты «точно соответствуют» целям обеих сторон, почти так же немислима в современном обществе, как получение фунта живого мяса без капли крови. Но, может быть, Ортодокс иначе понимает «точное соответствие» целям продавца и покупателя, усматривая его в том, что вульгарный язык называет «ценой без запроса», — тонко иронизирует Мартов над нашим философом. — В наше время вздорожания жизни, — продолжает Мар-

тов, — утешительно читателю во всяком случае узнать, что «Сократ может обеспечить ему при покупке то «соответствие цели», которого никак не мог гарантировать ему околоточный надзиратель».

«Прудонисты в своей критике капитализма, — продолжает Мартов, — исходили из идеализации обмена равноценностей, который они считали «простым законом» нормального человеческого общежития, вечно нарушаемым в современном обществе и подлежащим восстановлению путем устранения посредничества ссудного и торгового капитала между производителями. Маркс, как известно, доказал, что обмен равноценностей в своем диалектическом развитии порождает с необходимостью ту именно эксплуатацию труда капиталом, которую прудонизм рассчитывал устранить путем восстановления обмена равноценностей во всех правах. Ныне Ортодокс, вознамерившись, вслед за Плехановым, ориентироваться в проблемах внешней политики при помощи прудонистской презумпции о «простых законах нравственности и права», якобы управляющих жизнью всякого общежития, дошла-таки до того, чтобы искать следы этих законов в «простой торговой сделке», которая «точно соответствует целям продавца и покупателя», т. е. в каком-то идеальном обмене равноценностей. Наши марксисты, как видит читатель, путешествуя от Прудона к Канту, запасаются билетом «туда и обратно». Но как трудно современному писателю, даже в творчестве самых несомненных глупостей, выдумать порох!»¹⁾

И вот Ортодокс до такой степени цепко держится за «несомненную глупость», что непризнание нами этой глупости оказывается «убийственным» не для нее, а для Деборина. К Мартовской критике «теории равноценности» нам положительно нечего прибавить, ибо эта критика действительно убийственна для нашего Ортодокса.

«Акт продажи и покупки рабочей силы в капиталистическом обществе соответствует целям только капиталиста, но отнюдь не целям рабочего», — пишет теперь Аксельрод. Повидимому, с точки зрения нашего Ортодокса, в будущем социалистическом обществе, акт продажи и покупки рабочей силы будет в «точности соответствовать» целям рабочего и капиталиста. Но ведь в том-то и дело, что капиталистическое общество не может не базироваться на эксплуатации рабочей силы, а в социалистическом, т. е. бесклассовом обществе, в котором нет частной собственности на орудия и средства производства, не может быть и речи о продаже и покупке рабочей силы капиталистам. Стало быть «убийственной» для меня формула Аксельрод о «точном соответствии» целям рабочего и предпринимателя вяжется с прудонизмом и кантианством, но в корне противоречит марксизму.

¹⁾ См. сб. «Марксизм и этика», стр. 247—248.

7. «Век минувший и век нынешний».

Аксельрод, нисколько не смущаясь, уверяет читателя, что «е нынешние взгляды на марксистскую этику были ею высказаны во всех прежних работах. Она дает понять читателю, что ее взгляды на марксистскую этику даже разделялись не только Плехановым, но и Лениным. На этом вздорном утверждении останавливаться не стоит. Но посмотрим, что писала сама Аксельрод в своих прежних работах о кантовской этике и насколько нынешние ее взгляды находятся в противоречии с прежними ее писаниями. В начале главы мы выписали две цитаты из ее статьи «Почему мы не хотим идти назад?». В этой связи мы считаем необходимым выдвинуть те тезисы, которые она защищала в этой статье. Вот эти тезисы:

1. Проповедь морали всегда увеличивалась в переходные критические эпохи, когда привилегиям господствующего класса грозила серьезная опасность.

2. Идеологи господствующего класса в такие эпохи хватались за вечные нравственные законы, рассчитывая с их помощью предотвратить страшную для них бурю революции.

3. В связи с надвигающейся бурей революции идеологи господствующего класса ввели в моду кантовский категорический императив.

4. Категорический императив—абстрактная формула, годная для всех времен, для всякого общественного строя и для всякого класса, в действительности не осуждает ни одной формы человеческого общежития.

5. С точки зрения категорического императива невозможно, напр., считать убеждение в необходимости и вечности института частной собственности безнравственным убеждением. Защитник частной собственности, с точки зрения категорического императива, так же свято исполняет свой нравственный долг, как и социалист, борющийся за уничтожение этого института.

6. Поэтому научный социализм ничего общего не может и не должен иметь с абстрактными формулами, которые, вмещая в себе все, что угодно, способны только затемнить конкретные задачи рабочего класса.

7. Пресловутое нравственное правило критической философии—поступай так, чтобы всегда относиться к личности, как к цели, и никогда только как к средству—фактически уже осуществилось в капиталистическом обществе.

8. Попробуйте упрекнуть защитников капиталистического порядка в несоблюдении кантовской заповеди, и они ответят—и с полным основанием, что это нравственное правило свято соблюдается в капиталистическом обществе. В настоящее время, скажут они, личность свободна и потому сама себе цель.

9. Категорический императив тесно и неразрывно связан с познавательным априоризмом, совпадает с ним в последней инстанции, сливаясь воедино в мире ноуменов. Как теоретико-познавательный априоризм не в состоянии служить масштабом научного опыта, точно так же и абсолютный нравственный закон, категорический императив, не может быть критерием в этике» («Философские очерки», стр. 115).

Настоящие тезисы извлечены нами из статьи Аксельрод против Бердяева и переданы нами собственными словами автора¹⁾. Что же показывают эти тезисы? Они показывают, что Аксельрод в общем и целом в прежних работах стояла на диаметрально-противоположной ее нынешним взглядам точке зрения. Ныне она перешла на позицию Бердяева, против которого она всегда воевала, оправдывая первые три тезиса, говорящие о том, что проповедь морали увеличивается в критические эпохи, когда идеологи господствующего класса хватаются за вечные нравственные законы, в наше время, за кантовский категорический императив, чтобы при его помощи затемнить сознание рабочего класса и тем предотвратить бурю революции. Аксельрод собственными руками подписала себе исторический приговор.

Бердяев в своей книжке доказывал, подобно всем кантианцам, что марксизм дает только частичное, неполное обоснование своему общественному идеалу, т.е. социализму. Марксизм обосновывает свой идеал двояко. «Во-первых,—писал Бердяев,—наш общественный идеал объективно-необходим, тенденции социального развития таковы, что общественный строй, который мы считаем своим идеалом, непременно наступит, он будет неизбежным результатом имманентной законосообразности исторического процесса. Таким образом, идеал получает объективно-логическую, научную санкцию, которая позволяет бодро смотреть вперед... Во-вторых, социальный материализм дает субъективно-психологическое обоснование идеала: идеал общественного строя, совпадающий с научным предвидением, оказывается субъективно-желательным для определенного общественного класса, и этот класс борется за его осуществление. Второе обоснование, практически самое важное, теоретически подчинено первому, потому что желания и идеалы общественных классов вырабатываются законосообразными общественными процессами. Мы полагаем,—продолжает Бердяев,—что это двоякое обоснование идеала безусловно недостаточно: необходимо еще третье обоснование, которое мы бы назвали объективно-этическим. Необходимо доказать, что наш общественный идеал не только объективно-необходим (категория логическая), не только субъективно-желателен (категория психологическая), но что он также объективно-

¹⁾ См. «Философские очерки», стр. 118—120.

правствен и объективно-справедлив, что его осуществление будет прогрессом в смысле улучшения, словом, что он общеобязателен, имеет безусловную ценность, как должное (категория этическая)¹⁾.

Увы! Капитулировав перед Бердяевым, Аксельрод ныне (т.е. со времени войны) сама стала на точку зрения необходимости дополнения марксизма кантианством. «Причинное объяснение исторических и общественных явлений,—пишет она,—отнюдь не уничтожает нравственной оценки и не снимает нравственной ответственности»²⁾. Несмотря на классовую этику и относительный характер права и нравственности, человечество выработало общеобязательные объективные нравственные нормы. Стало быть, мы имеем тут то троякое «обоснование», какого требовал Бердяев: объективно-научное, субъективно-классовое (или психологическое) и объективно-этическое.

Кстати, в «Моем ответе» Аксельрод пишет по поводу рецензий тов. С. Долова на ее «простые законы права и нравственности» след.: «Бойкий автор рецензии пишет, что я оцениваю империалистическую войну с точки зрения «простых законов нравственности и права», усматривая в такой оценке ревизионизм. Здесь надо заметить, что философски просвещенный рецензент, наверное учившийся в семинарии Деборина,—язвительно замечает Аксельрод,—не знает различия между оценкой и причинным объяснением явлений»³⁾.

Каюсь, грешный человек: меньше всего я занимаюсь проповедью морали; в моих семинариях общественные и исторические явления действительно не оцениваются с точки зрения «простых законов права и нравственности»: за такой вредный «уклон» я готов держать ответ перед любой компетентной инстанцией. Зато мы можем быть вполне спокойны, что Аксельрод скрупулезно взвешивает на аптекарских весах кантовского «категорического императива» все общественные и исторические явления...

8. Кант и Гегель.

Энгельс ставит этику Гегеля выше этики Фейербаха. Что же касается его отношения к кантовскому категорическому императиву, то это отношение Плеханов характеризует словом: презрительное. Энгельс пишет: «Гегель резче, чем кто бы то ни было, критиковал бессильный кантовский «категорический императив» (бессильный потому, что требует невозможного, следовательно, никогда не приходит ни к чему действительному); он злее всякого другого осмеивал насажденную Шиллером фили-

¹⁾ Н. Бердяев, Субъективизм и индивидуализм, стр. 63—64.

²⁾ Сб. «Марксизм и этика», стр. 227.

³⁾ Сб. «Диалектика в природе», кн. 2, стр. 303.

стерскую наклонность пометать о неосуществимых идеалах (см., напр., «Феноменологию»). А между тем Гегель был совершенный идеалист¹⁾.

В другом месте Энгельс подчеркивает, что у Гегеля философия права и есть его этика. Она обнимает отвлеченное право, мораль и бытовые нравственные отношения. Форма у Гегеля идеалистична, но содержание реально, замечает Энгельс. Философия, говорит Гегель, должна заниматься изучением действительности, а не построением чего-то потустороннего. Науке не следует заниматься конструированием государства, каким оно должно быть. Государство представляет собой нравственный универсум, и наша задача состоит в его объективном познании²⁾. Оставляя в стороне гегелевское понимание государства, как нравственного универсума, мы должны подчеркнуть, что методологическая постановка вопроса у Гегеля совершенно правильная, и марксизм на почве иного, материалистического мирозерцания занимает ту же методологическую позицию. Как ни идеалистична гегелевская форма, в которую он облакает свое учение, но огромный шаг в области конкретного изучения нравственных явлений, сделанный Гегелем, сводится к тому, что он рассматривал право и нравственность в теснейшей связи с хозяйственной и общественной жизнью³⁾. Он считал необходимым изучать бытовые отношения людей и видел в них действительность нравственности. Поэтому Гегель относится весьма отрицательно к абстрактной морали, которая оторвана от конкретной действительности и которая исходит из индивида, изолируя его и вырывая из живой связи его с общественными организациями.

Кантовская отвлеченная этика с ее категорическим императивом—результат индивидуалистической эпохи. Общество для нее представляет собою лишь агрегат, механическую сумму индивидов. Она берет индивид, личность, как абсолютное, самостоятельное существо. Индивидуум составляет символ веры всей эпохи, и Кантовская этика является ни чем иным, как идеальным отражением реального процесса высвобождения личности из-под ига феодальных пут.

Коренное отличие Гегеля от Канта состоит в том, что он сознает самостоятельное значение и качественное отличие общественного коллектива и его закономерностей от индивида. Поэтому этика Гегеля, при всей фантастичности ее формы, по существу есть социальная этика, и нравственность у него носит характер не субъективный, а объективный.

¹⁾ Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах, пер. Г. Плеханова, 1906 г., стр. 49.

²⁾ Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, herausg. von G. Lasson 2 Aufl., стр. 15.

³⁾ Ср. P. Vogel, Hegels Gesellschaftsbegriff, 1925 г., стр. 89.

нравствен и объективно-справедлив, что его осуществление будет прогрессом в смысле улучшения, словом, что он общеобязателен, имеет безусловную ценность, как должное (категория этическая)¹⁾.

Увы! Капитулировав перед Бердяевым, Аксельрод ныне (т.е. со времени войны) сама стала на точку зрения необходимости дополнения марксизма кантианством. «Причинное объяснение исторических и общественных явлений,—пишет она,—отнюдь не уничтожает нравственной оценки и не снимает нравственной ответственности»²⁾. Несмотря на классовую этику и относительный характер права и нравственности, человечество выработало общеобязательные объективные нравственные нормы. Стало быть, мы имеем тут то тройное «обоснование», какого требовал Бердяев: объективно-научное, субъективно-классовое (или психологическое) и объективно-этическое.

Кстати, в «Моем ответе» Аксельрод пишет по поводу рецензии тов. С. Долова на ее «простые законы права и нравственности» след.: «Бойкий автор рецензии пишет, что я оцениваю империалистическую войну с точки зрения «простых законов нравственности и права», усматривая в такой оценке ревизионизм. Здесь надо заметить, что философски просвещенный рецензент, наверное учившийся в семинарии Деборина,—язвительно замечает Аксельрод,—не знает различия между оценкой и причинным объяснением явлений»³⁾.

Каюсь, грешный человек: меньше всего я занимаюсь проповедью морали; в моих семинариях общественные и исторические явления действительно не оцениваются с точки зрения «простых законов права и нравственности»; за такой вредный «уклон» я готов держать ответ перед любой компетентной инстанцией. Зато мы можем быть вполне спокойны, что Аксельрод скрупулезно взвешивает на аптекарских весах кантовского «категорического императива» все общественные и исторические явления...

8. Кант и Гегель.

Энгельс ставит этику Гегеля выше этики Фейербаха. Что же касается его отношения к кантовскому категорическому императиву, то это отношение Плеханов характеризует словом: презрительное. Энгельс пишет: «Гегель резче, чем кто бы то ни было, критиковал бессильный кантовский «категорический императив» (бессильный потому, что требует невозможного, следовательно, никогда не приходит ни к чему действительному); он злее всякого другого осмеивал насажденную Шиллером фили-

¹⁾ Н. Бердяев, Субъективизм и индивидуализм, стр. 63—64.

²⁾ Сб. «Марксизм и этика», стр. 227.

³⁾ Сб. «Диалектика в природе», кн. 2, стр. 303.

стерскую наклонность пометчать о неосуществимых идеалах (см., напр., «Феноменологию»). А между тем Гегель был совершенный идеалист»¹⁾.

В другом месте Энгельс подчеркивает, что у Гегеля философия права и есть его этика. Она обнимает отвлеченное право, мораль и бытовые нравственные отношения. Форма у Гегеля идеалистична, но содержание реально, замечает Энгельс. Философия, говорит Гегель, должна заниматься изучением действительности, а не построением чего-то потустороннего. Науке не следует заниматься конструированием государства, каким оно должно быть. Государство представляет собой нравственный универсум, и наша задача состоит в его объективном познании²⁾. Оставляя в стороне гегелевское понимание государства, как нравственного универсума, мы должны подчеркнуть, что методологическая постановка вопроса у Гегеля совершенно правильная, и марксизм на почве иного, материалистического мирозерцания занимает ту же методологическую позицию. Как ни идеалистична гегелевская форма, в которую он облачает свое учение, но огромный шаг в области конкретного изучения нравственных явлений, сделанный Гегелем, сводится к тому, что он рассматривал право и нравственность в теснейшей связи с хозяйственной и общественной жизнью³⁾. Он считал необходимым изучать бытовые отношения людей и видел в них действительность нравственности. Поэтому Гегель относится весьма отрицательно к абстрактной морали, которая оторвана от конкретной действительности и которая исходит из индивида, изолируя его и вырывая из живой связи его с общественными организациями.

Кантовская отвлеченная этика с ее категорическим императивом—результат индивидуалистической эпохи. Общество для нее представляет собою лишь агрегат, механическую сумму индивидов. Она берет индивид, личность, как абсолютное, самостоятельное существо. Индивидуум составляет символ веры всей эпохи, и Кантовская этика является ни чем иным, как идеальным отражением реального процесса высвобождения личности из-под ига феодальных пут.

Коренное отличие Гегеля от Канта состоит в том, что он сознает самостоятельное значение и качественное отличие общественного коллектива и его закономерностей от индивида. Поэтому этика Гегеля, при всей фантастичности ее формы, по существу есть социальная этика, и нравственность у него носит характер не субъективный, а объективный,

¹⁾ Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах, пер. Г. Плеханова, 1906 г., стр. 49.

²⁾ Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, herausg. von G. Lasson 2 Aufl., стр. 15.

³⁾ Ср. P. Vogel, Hegels Gesellschaftsbegriff, 1925 г., стр. 89.

в смысле действительной, реальной связи индивида с соответствующими коллективами, т. е. с определенными общественными организациями, будь то семья, сословие, класс, гражданское общество или государство. Мы не имеем здесь возможности хоть сколько-нибудь подробно остановиться на чрезвычайно реалистических чертах гегелевского учения о нравственности. Да это и не входит в нашу задачу. Но основное различие между кантовским пониманием этики и гегелевским состоит в том, что первое представляет собою этику свободной личности, а второе — социальную этику. Этика категорического императива рассматривает данные нравственного сознания, как нечто первоначальное и непосредственно достоверное. Она представляет собою этику разума. Замечательно, что Аксельрод в полном забвении марксистской азбуки, пишет совершенно в духе этического идеализма след.: «Что нравственное сознание свойственно человеческому роду — это факт бесспорный. Несомненно также для всякого, умеющего читать в собственной душе, что нравственный долг идет вразрез с нашими природными стихийными влечениями и что исполнение этого долга сопровождается часто тоном неудовольствия. Ясно и то, что нравственное долженствование носит повелительный характер»¹⁾.

Подобно всем этическим идеалистам, Аксельрод исходит из отвлеченного нравственного сознания, якобы свойственного человеческому роду. Мало того, нравственный долг идет вразрез с природными стихийными влечениями. Но ведь это же тавтология в тавтологии совпадает с тем, чему учил Кант в области этики. Аксельрод никогда не сделала попытки поставить вопрос на конкретную почву, отделяясь пустой фразеологией насчет «всякого, умеющего читать в собственной душе» и насчет того, что «нравственное долженствование носит повелительный характер» и проч., не дав себе труда выяснить, что следует понимать под нравственностью, под долженствованием, под «нормой» и т. д.

Итак, возвращаясь к этике категорического императива и противоположной ей этике Гегеля, мы можем формулировать их сущность словами Ф. Иодля: «Для Канта и Фихте нравственность являлась ключом, открывающим доступ в высший мир: для Гегеля же она является продуктом общественной жизни, предпосылкой и орудием культуры»²⁾. Поэтому Иодль и говорит совершенно правильно, что у Гегеля нет этики в обычном или кантовском смысле. Его «этика» есть не что иное, как политика или социальная философия и философия права.

¹⁾ См. сб. «Марксизм и этика», стр. 222. Курсив мой.

²⁾ F/r. I o d l, Geschichte der Ethik, 3 Aufl., 1923 г., II B., S. 90.

Известно, что никто не подверг такой резкой критике кантовский формализм в области этики, как Гегель. Великий диалектик, вопреки своему идеализму, не мог принять этический формализм Канта, потому что он, помимо всего прочего, базировался исключительно на формальной логике. Плеханов приводит некоторые соображения Гегеля насчет нравственных законов Канта, вполне соглашаясь с его критикой. Так, он пишет: «Гегель говорит, ... что у Канта каждый определенный нравственный закон есть пустое утверждение, ничего не говорящая тавтология, соответствующая формуле $A = A$: вверенное имущество есть вверенное имущество, собственность есть собственность. Это тоже вполне справедливо и вполне понятно. Для Канта просто-на-просто не существовали те вопросы, которые Гегель противопоставляет его «пустым утверждениям»: что за беда, если вещи не будут отдаваться на хранение? Зачем собственность? и т. д. Идеал Канта, его «царство целей», — заключает Плеханов, — был отвлеченным идеалом буржуазного общества, нормы которого представлялись Канту непререкаемыми велениями «практического разума»¹⁾. Еще в «Критическом журнале» (за 1802—03 г.), издававшемся совместно с Шеллингом и Гегелем, мы находим в статье Гегеля²⁾ блестящую критику категорического императива и этического формализма Канта вообще. Возвышенная способность автономии законодательства практического разума состоит в производстве тавтологии, говорит там Гегель. Мы в области практического разума имеем господство того же закона противоречия, что и в области теоретического разума: это чистое тождество рассудка. И подобно тому, как критерием истины, с точки зрения Канта, является то, что имеет значимость для всякого познания без различия предмета познания, подобно тому, как Кант выдвигает одну форму, пренебрегая совершенно содержанием, так он поступает и в области этики, где формальные принципы долженствования составляют чистейшую, абсолютную абстракцию от всякого содержания. Но для нас важно знать как раз, что такое право и нравственность. Нас интересует содержание нравственного закона, между тем как сущность чистой воли и чистого практического разума совершенно абстрагирована от всякого содержания. И Гегель видит внутреннее противоречие кантовской этики в том, что она, с одной стороны, устанавливает нравственный закон, который должен же иметь какое-либо содержание, а, с другой стороны, сущность нравствен-

¹⁾ См. примечание 9 к «Людвигу Ф. Иербаху» Ф. Энгельса, стр. 124—127.

²⁾ Речь идет о его статье под заглавием «Wissenschaftliche Behandlung des Naturrechts». Эта работа вошла в первый том собрания сочинений Гегеля.

ного закона состоит в том, чтобы быть лишенным всякого содержания ¹⁾.

В качестве диалектика Гегель стоит на почве единства формы и содержания; далее, он вынужден опровергнуть законы тождества и противоречия, как абсолютные законы. Гегель показывает, что формально нет ничего, что не могло бы быть возведено в достоинство нравственного закона. И на этом основании Гегель доказывает, что этический формализм (аналитическое единство и тавтология практического разума) должен быть признан принципом безнравственности.

Но для нас интересно будет выслушать аргументацию Гегеля насчет собственности. В качестве формалиста и метафизика Кант берет какое-нибудь определение и возводит его в абсолют. Но с диалектической точки зрения ясно, что всякое определение является чем-то обусловленным, а не безусловным, абсолютным, и каждому определению противостоит другое определение, составляющее отрицание первого. Для практического разума совершенно безразлично, какое определение, какое содержание положить в основу своего законодательства, ибо он устанавливает лишь пустую форму всеобщности или общеобязательности и необходимости. «Посредством смещения абсолютной формы и относительного содержания подсовывается незаметно условному содержанию абсолютность формы. В подобном извращении и жонглировании состоит нерв практического законодательства чистого разума. Положению: собственность есть собственность подсовывается, вместо его истинного значения, т.-е. того, что это положение абсолютно в отношении формы, его выражающей, иное значение, а именно, что материя ее, т.-е. собственность, абсолютна...» ²⁾.

Кантовская пустая форма способна поглотить, так сказать, любое содержание. Но ведь вопрос-то заключается именно в том, должна ли существовать частная собственность или не должна существовать. В этом—центр вопроса. А на этот вопрос кантовская формальная этика ответа дать не может, ибо он лежит за пределами «практического законодательства чистого разума», как выражается Гегель. Положения: собственность существует, собственность не существует—с чисто формальной точки зрения одинаково истинны, ибо лишены внутреннего противоречия, выражают пустую тавтологию.

Таким образом, мы имеем у Канта полный разрыв формы и содержания. Заслуга Гегеля заключается в том, что он показал чрезвычайно убедительно, что чистая всеобщность, общеобязательность

¹⁾ Hegel, *Sämmtliche Werke*, 1927 г., I B., стр. 465.

²⁾ Hegel, там же, стр. 468—469; ср. также его *Grundlinie der Philosophie des Rechts*, § 135, S 113—114.

тельность не может являться критерием нравственного, ибо любое содержание может принять форму нравственного закона, стало быть, и безнравственное содержание. Поэтому Гегель отвергает кантовский формализм и обращается прежде всего к содержанию нравственного, т.-е. к объективным формам, законам и учреждениям семьи, гражданского общества и государства. Понятия добродетели, долга черпают смысл и содержание не из сферы абстрактного практического разума, а из «фактических отношений», из объективных форм человеческого общения.

Аксельрод повторяет за Кантом, что «нравственный долг идет вразрез с нашими природными и стихийными влечениями». Так пишет человек, считающий себя марксистом. Но вот идеалист Гегель резко возражал против такого нелепого утверждения. Гегель считает необходимым строить свою «этику» на основе человеческих влечений. Он даже говорит о диалектике влечений и склонностей. Ближайшее содержание воли образуют влечения и склонности. Но эти влечения, как выражается Гегель, сами становятся «влекущими» ¹⁾, теснят друг друга, мешают друг другу и все хотят получить удовлетворение. «Нравственный долг» и «природные влечения» составляют метафизические противоположности только с точки зрения антидиалектического мышления. На самом же деле, диалектика влечений, интересов, страстей неразрывно связана с «нравственным законом». Добро и зло также не являются абсолютными противоположностями. «У Гегеля зло есть форма, в которой «проявляется движущая сила исторического процесса»,—говорит Энгельс. В этом заключается двойкий смысл: с одной стороны, всякий прогрессивный сдвиг рассматривается как оскорбление против святыни и выступает как бунт (против старых, отмирающих, призрачных) освященных отношений, а, с другой стороны, с тех пор, как возникла противоположность общественных классов, двигателями исторического развития сделались дурные страсти: жадность и властолюбие. История феодализма и буржуазии служат этому одним сплошным доказательством.

Добро и зло, «нравственный долг» и «природные влечения» неразрывно связаны между собою, имеют один общий корень. Выражаясь языком Гегеля, природе понятия присуще то, что оно себя полагает отрицательно. Но, боясь напугать наших противников гегелевской «схоластикой», мы выразим отношение между добром и злом более простым языком: добро не есть нечто абсолютное, а только относительное понятие, то же самое отно-

¹⁾ Здесь у Гегеля игра слов: «aber diese Triebe werden selbst treibend, zwingen einander, stören sich, und wollen alle befriedigt werden» (см. «Философия права», изд. Лассона, стр. 291).

сится и ко злу. Человек добр, поскольку он также может быть злым,—говорит Гегель. Энгельс даже говорит об исторической роли нравственного зла. Зло порождает добро, а добро—зло; из безнравственности вырастает новая нравственность, а из нравственности—безнравственность. Плеханов говорит об Энгельсе, что «он понимал, как из «безнравственности» фабричного пролетариата вырастает новая «нравственность», нравственность революционной борьбы с существующим порядком вещей, которая, в конце концов, создаст новый общественный строй, где уже не будут «развращаться» трудящиеся, потому что исчезнут источники их «развращения».

Гегель не только вскрыл все логические противоречия этического формализма Канта, но он первый указал на антиобщественный, чисто атомистический и индивидуалистический его характер. Более того, Гегель обнаружил такую дальновзорность, что он в этике Канта усмотрел выражение чисто-буржуазной этики¹⁾. Он клеймит Канта за то, что тот обнаружил презрение к эмпирии, к действительности, что он оторвал «разум» от природы, от чувственности, что он оперирует одними абстракциями и не понимает решающего значения конкретного.

Для Гегеля этика является не нормативной, а генетически-исторической дисциплиной, так как нравственность в сущности совпадает с правами народа, отражая в «идеальной» форме общественный быт. В гармоническом общественном строе нет противоположности между бытом, правами и нравственностью, ибо там «особенное», т.-е. индивидуум и всеобщее, составляют органическое целое. Индивид не противопоставляет себя целому, общественному коллективу. Только в процессе развития человеческого общества обнаруживается противоречие между обществом и индивидом; этот процесс является результатом прогрессирующего разделения труда. Если в греческом мире, как неправильно думает Гегель, нравственность совпадает с правами и добродетель состоит в том, чтобы жить согласно правам, своего народа, то дальнейшее развитие общества требует, чтобы оно прошло через чистилище индивидуализма и субъективизма, через стадию моральности, высшим выражением которой является учение Канта. Гегель, таким образом, видит историческую необходимость и обусловленность кантовского морального субъективизма; но он вместе с тем сознает, что этот кантовский субъективизм подлежит преодолению в новом синтезе, в котором сознание и природа, чувственность и разум, индивид и коллектив, всеобщее и особенное должны быть гармонически слиты в одно органическое целое.

¹⁾ Ср. F. Bülow, Die Entwicklung der Hegelschen Sozialphilosophie. 1910 г., стр. 68—69.

Само собою разумеется, что конкретное разрешение Гегелем проблемы, в смысле признания, напр., государства нравственным универсумом, объективным царством нравственности, мы в корне отвергаем. Но нельзя не признать, что в критике этического субъективизма и индивидуализма, кантовского морализма и в противопоставлении последнему объективных общественных форм и отношений, в которых кристаллизуется «нравственность» данной эпохи, что в учении примата объективной действительности над идеалами, коллектива над индивидом, содержания над формой, бытия над должествованием Гегель дал много ценного. Маркс и Энгельс, в основном примыкают к методологическим взглядам Гегеля, продолжая дальнейшую разработку их на основе материалистического понимания истории.

(Продолжение следует).

О нашем философском развитии за 10 лет революции.

(Окончание)¹⁾.

Гр. Баммель.

6. Отрицание диалектики.

Первый вопрос, которого надо коснуться в главе о новейшем ревизионизме, это—вопрос об его источниках развития, об оживлении в нем всех ревизионистских уклонов и об объединении их в блок, в одно направление,—это, стало быть, вопрос об образовании и этапах развития нынешней формы ревизионизма.

Ревизионистское течение, объединившее представителей различных уклонов на основе отрицания диалектики, сформировалось на протяжении последних четырех лет.

Первый этап—это разрозненные, единичные выступления некоторых товарищей по специальным, далеко не принципиальным вопросам применения марксистского метода в разных отраслях знания; выступления, единственным мотивом которых было желание «развить и углубить» ту постановку вопросов, которая была дана основоположниками марксизма. Эти товарищи указывали на «новейшие перевороты в естествознании», призванные оплодотворить марксистскую философию²⁾.

«Еще так недавно нас удовлетворяло полностью разрешение проблем диалектики Марксом, Энгельсом, Плехановым, но теперь, когда наши требования выросли, когда с помощью диалектики приходится разрешать все новые и новые вопросы, да еще в мало знакомых нам областях, мы видим, что орудие диалектики необходимо уточнить»³⁾.

Эти слова хорошо передают настроения, в искренности которых сомневаться никак нельзя. Но эти настроения, эти вполне законные стремления «уточнить» диалектику вытекали на деле не из знания предмета, а из недовольства «узостью» ортодоксального марксизма. Когда работы некоторых товарищей помещались в журналах с пометкой: «в дискуссионном порядке», они заявляли в ответ, что в таких пометках они видят признак того, что они не стоят на месте, а развивают дальше теорию⁴⁾. Сперва

¹⁾ См. «П. З. М. № 10—11.

²⁾ «Вестник Комм. Академии» кн. 9, стр. 318 (статья А. Варьяша).

³⁾ В. Сарабьянов, «Под Знам. Маркс.» 1925 г., стр. 180.

⁴⁾ «Вестник Комм. Академии», кн. 10, стр. 330 (письмо Рейснера).

были «недомолвки» и «оттенки» во взглядах, на которых они настаивали, но больше было—недовольства, которое доносилось до нас из Харькова, Минска, Ленинграда. Мы ловили «недовольных» на полуслове, требуя разъяснения, но «недовольные» только настаивали на своих «маленьких ошибках» и «оттенках». «Недовольство» проявлялось сперва в робких намеках на засилье новой «школы», намеках по адресу неких «схоластиков» и «гегельянцев». Изучение Гегеля пошло у нас в значительной мере по схоластическому уклону,—писал С. Семковский.—Стали раздаваться даже голоса о необходимости «дополнить» Маркса Гегелем, как будто бы Маркс не вообрал в свой диалектический материализм все то, что было ценного в диалектике Гегеля, и как будто бы такое «дополнение» не означало, следовательно, включения в марксизм именно того, что Маркс заведомо отбросил! У нас стало развиваться какое-то младо-гегельянство,—писал тот же С. Семковский,—поэтому для него в порядок дня на философском фронте поставлена «борьба против подмены диалектики бесплодной схоластикой»¹⁾. Расцвет исследовательской работы в области философии грозит остаться «пустоцветом в виду того схоластического уклона», который тянет вспять к «бесплодной схолистике школьной философии», что диалектика в руках представителей таких «схоластиков» есть «мертвый шаблон, хотя и «углубленный» по самому Гегелю»²⁾.

Нужно ли распространяться здесь о фактах, доказывающих, что языком этих «недовольных» «марксистов» должны были загораживать и явные противники марксизма? Под предлогом «распространения марксизма на новые области», его «развития и углубления» за пересмотр марксизма брались и явные противники марксизма. Но преодоленные и отвергнутые уклоны богдановщины, ленинщины, энчменизма, фрейдизма дальше «намеков» на некое «схоластическое» засилье не шли. Недооценка диалектики, борьба против диалектики под флагом борьбы против схоластики,—вот что скрывалось за фразами «недовольных»,—недовольных так называемой «деборинской школой» и требующих, чтобы последняя позволила, наконец, ну, скажем, фрейдидам «углубить и дополнить» марксизм.

Второй этап, заполнивший целиком 1924 и 1925 гг.—это полемика т. Стэна с т. Степановым в «Большевике» и последовавшая после нее дискуссия в «Под Знаменем Марксизма» сперва по поводу книжки: «Г. Гортен, Исторический материализм» с приложением статьи т. И. Степанова, а затем по поводу книжки и т. Степанова: «Исторический материализм и современное естествознание. Марксизм и ленинизм». На основе книжки т. Степанова формулируется позиция механического материализма, отождествляющего марксистскую философию с общими выводами наук. Механический материализм, по мнению сотрудников Тимирязевского Научно-Исследовательского Института, делает излишней философию и отвергает диалектику, как особую науку. Механический материализм на этом этапе выступает как новая форма ревизионизма. Борьба против философии и диалектики послужила сигналом к подтягиванию и возрождению старых уклонов, но

¹⁾ «Коммунист» (Харьков), 1 апреля 1925 г., № 73.

²⁾ Проф. С. Семковский, Этюды по философии марксизма.

эти уклоны еще не выступают открыто с механическим материализмом.

Третий этап—дискуссия в Институте Научной Философии (апрель—май—июнь 1926 г.). Перед механическими материалистами капитулировали представители всех старых ревизионистских уклонов и часть марксистов, попавших на удочку левых фраз механистов. «Блок» оформился, как ревизионистская группировка, возглавляемая механистами, и т. Деборин, подводя итоги дискуссии, имел все основания сказать: «Эта группа не представляет собою ничего однородного, это «конгломерат», это «механический» агрегат из различных элементов. Это—своеобразный блок из фрейдистов, бывших и настоящих махистов, из молчаливых и говорящих эмпиристов и механических материалистов».

Четвертый этап. Крупнейший факт—кристаллизация диалектически-материалистического направления среди естественников. Отступление механистов и разложение «механистического блока». Сдача позиции по ряду важнейших вопросов. Вынужденные, откровенные нами заявления механистов, расписывающихся в своем поражении (см. «Диалектика в природе», сб. 2, см. статью А. Тимирязева в «Вестнике Комм. Акад.»). Отступление происходит вместе с одновременным углублением своих ошибок, с еще большим уклоном в сторону от марксизма. В результате—полный эклектизм и беспринципность.

Пятый этап—потерпев поражение в Научно-Исследовательском философском институте в среде своих же коллег по специальности, в специальной прессе, механистический блок выступает с «апелляцией» к «широким массам» в театре им. Мейерхольда (декабрь 1927 г.). Л. Аксельрод, развернув первую сводку всех извращений диалектического материализма, выскла публично себя и своих сторонников. «Апелляция» показала, что поражение ничему не научило механистов. «Апелляция» вылилась в враждебную демонстрацию против ортодоксального диалектического материализма: заявление Л. Аксельрод, что Богданов гораздо лучший марксист, чем т. Подволицкий; заявление тов. Сарабьянова, что Ленин в статье в «Под Знаменем Марксизма» призывал к союзу с механическими материалистами!.. «Апелляция» показала, что из ревизионистских блужданий, «уклонов» и шатаний механистический блок превратился в рупор враждебных марксизму течений.

Таковы важнейшие вехи «внешней истории» механистического блока.

Оставляя пока в стороне вопрос о разногласиях по существу, отметим внешние, бросающиеся в глаза особенности этого ревизионизма. Эти особенности можно было бы свести к трем коренным особенностям. Это, во-первых, то, что механистический блок явился новой формой ревизионизма, именно, отрицанием и непониманием диалектики. Это, во-вторых, то, что механистический блок выступил как ревизионизм не в каком-либо одном, частном, определенном вопросе, не только в плоскости метода, а во всех, буквально, во всех основных вопросах нашего мировоззрения. Это, в-третьих, то, что механистический ревизионизм явился не «просто» ревизионизмом, а «блоком», «конгломератом», по выражению т. Деборина, различных уклонов под гегемонией механического материализма.

Начнем с первой особенности. Чем объясняется тот факт, что ревизионистские уклоны объединились на почве отрицания

диалектики, как науки? Чем объясняется тот факт, что вопрос о диалектике приобрел особо важное значение в наших разногласиях, оказался узловым линией наших споров?

Правда, отрицание диалектики отличительная черта всех существовавших форм ревизионизма. «В своей рациональной форме диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его гибели»,—говорил Маркс. Выполняя роль идеологической агенты буржуазии, ревизионисты во главе с Эд. Бернштейном и направили в 90-х годах прошлого века всю силу своей критики «ортодоксии» против диалектики. Вышелушивая из марксизма революционную диалектику, они обосновали научную правомочность реформизма.

С другой стороны, вопрос о диалектике, вопрос об ее защите и разработке ставился неоднократно на всем протяжении истории русского марксизма. Разве неизвестны великолепные рассуждения на этот счет Плеханова? Формулировки Плеханова таковы, что они давно перешли собранными и спрессованными в «конспекты», «хрестоматии» и «учебники». Специально на вопросе о диалектике неоднократно останавливался, разумеется, Ленин. Начиная с «Друзей народа», где он обосновывает истинный смысл применения диалектики к социологии, и кончая записками о книге Суханова, он неутомимо разъяснял важное значение марксистской диалектики, как практического руководства для действия, как орудия борьбы за власть и умения правильно пользоваться этой властью. Этот вопрос достаточно освещен в литературе, касающейся революционной теории Ленина, не говоря уже о работах, специально занимающихся философскими взглядами Ленина.

Стало быть, марксисты, революционные марксисты всегда были диалектиками. Чем же объясняется тот факт, что вопрос о теоретической разработке диалектики приобрел особо важное значение именно в данный момент? Почему, например, в 1895, 1903, 1905, 1917, 1918, 1921, 1922 и 1923 гг. вопрос о важном значении диалектики ставился и обсуждался от случая к случаю, в отдельных статьях, а в 1924—1925—1926 гг. заполнил наше внимание, сконцентрировал вокруг себя все содержание нашей теоретической работы, вызвал целое идейное движение в части представителей самых разнообразных отраслей знания?

Объясняется это, по моему, следующими причинами.

Объясняется это переломным характером переживаемого периода. 1925 год в историю революции вошел, как год бурного роста народного хозяйства в целом с приближением его к довоенному уровню, год экономического наступления пролетариата на базе новой экономической политики, год первых крупных успехов социалистического строительства. Вопрос о строительстве социализма был поставлен практически, поставлен как вопрос текущего дня. Восстановительный период социалистического строительства остался позади. Следующий 1926 год явился переломом двух гигантских эпох. «За плечами рабочего класса, за плечами партии осталась громадная историческая эпоха гражданских войн, интервенций, восстановления разрушенного хозяйства», и партия «конкретизировала практические пути осуществления индустриализации», пе-

реустройства всего нашего хозяйства на более высокой производственно-технической основе ¹⁾.

Как очередная задача дня, была поставлена в плоскости «настройки» и задача конкретизирования, задача практической разработки марксистской теории. От лубка и штампа мы должны были перейти к более углубленной разработке диалектического материализма. Бурное распространение марксистской методологии в значительных областях знания и строительства ставило задачу борьбы против упрощительства и хвостизма. Мы не только подчинили себе вузы, школы, лаборатории, библиотеки, как это было еще недавно, в 1918—1920 гг., но и значительно перешагнули через этап идейного овладения ими в 1921—1923 гг. Мы вплотную подошли к новым задачам, когда мало оказалось заставить школы и вузы служить интересам революции, когда надо было идти дальше и сознательно работать над проникновением марксистского метода в научные и технические области, над постановкой самостоятельной, диалектически-материалистической разработки вопросов биологии, химии, физики, математики, вплоть до медицины и агрономии.

В чем же выразилось конкретизирование практических путей разработки марксистской теории? Переломный, глубоко переходный характер переживаемого периода обнаружил диалектический характер нашего роста, нашего строительства. Вопрос о разработке диалектической логики, как методологии естественных и общественных наук, был поставлен в эту пору практически; в этом — суть. Успехи естествознания, революция, переживаемая развитием физики и химии, математики и биологии, — требовала практического ответа на вопрос о методологических путях исследования, — ответа, который нельзя дать одной лишь критикой идеализма, обязательной для всякого марксиста, так сказать, «во все времена». Отсюда и трудности, которых испугались механисты. До тех пор, пока марксистская философия исчерпывалась в наших учебниках системой пронумерованных и прошнурованных «законов диалектики», когда наши учебники ограничивались популяризацией формулы: «бытие определяет сознание», наши материалисты-естественники выступали вместе с нами против идеалистов ²⁾. Оказалось, что вся премудрость этих материалистов-естественников сводится к отрицанию «жизненной силы» и признания принципа непрерывности. «Но, — как писал т. Деборин, — это очень и очень немного для марксиста-диалектика». «У нас многие привыкли трактовать все серьезнейшие вопросы очень элементарно, и когда вдруг начинают доказывать, что не следует упрощать сложных проблем, что ныне требуется более уточненное понимание всех проблем, тогда вы застаёте наших милых товарищей врасплох» ³⁾. Значительная часть естествовников не поняла основной особенности переживаемого периода, испугалась трудностей его, увидела только опасности нового периода и, капитулируя перед ними, спасаясь от витализма и телеологии, ударились в механический материализм.

¹⁾ XV конференция ВКП (б), стенограф. отчет, стр. 767, 769.

²⁾ Тов. Луппол был совершенно прав, указывая, например, на то, что «отделяться классической, но слишком старой и краткой формулой о постановке на ноги гегелевской диалектики нельзя. Этого в наши дни мало» («Воинств. материалист» кн. II стр. 48).

³⁾ А. Деборин, в «Летописях марксизма», кн. II, стр. 9.

Перейдем ко второй особенности механистического ревизионизма. Она, — сказали мы, — состоит в том, что разногласия внутри марксизма задевают ныне все, буквально все основные вопросы философии марксизма, поднимают вновь всю сумму вопросов, поставленных в диалектическом материализме. Ну, а чем объясняется это явление?

Объясняется это тем, что наши разногласия пролегали по линии диалектики, иначе говоря, по линии методологических категорий. Если, как мы говорили, в развитии философии мы имеем в этот период переломный этап, — если она перерастала старые рамки теории, еще борющейся за власть, за существование, за свое распространение, перерастала в теорию, которая сознательно ставила, скажем, задачу диалектико-материалистического обоснования методологии естествознания или, скажем, задачу теоретической разработки диалектики путем материалистического толкования и изучения Гегеля, то отсюда следует, что вопрос о методе не мог включать в себя всю сумму вопросов диалектического материализма.

В самом деле, правильность того или иного понимания методологии доказывается на всех вопросах, потому что, если спорной стала проблема методологии, то спорными должны были пройти по линии методологии, то обоснование и защита того или иного понимания методологии могла быть проведена путем проверки его на всех вопросах теории. Поэтому и критиковали механисты нас «по всем пунктам», подымая вновь давным давно решенные вопросы ¹⁾. Механистический ревизионизм — это не просто «уклон» в том или другом вопросе, это — критика материалистической диалектики со всех сторон, во всех проблемах. Разногласия, которые еще недавно были разногласиями по тем или иным определенным вопросам, в своем развитии выросли до целого направления, противопоставившего себя марксизму. Логика нашего философского развития в данный период такова, что все частные разногласия в лагере марксистов множеством цепочек увязываются в идейную принципиальную линию, разделяющую два противоположных направления или, употребляя выражение т. Степанова, «два непримиримых мировоззрения» ²⁾.

Вот чем объясняется трогательное единодушие, которое проявили И. Боричевский и Л. Аксельрод, А. Варьяш и И. Степанов, С. Семковский и А. Тимирязев, А. Богданов и В. Сарабьянов в оценке ортодоксального марксизма: все они критиковали ортодоксальный марксизм, как «неогегельянское», «философское» (Боричевский), «реакционное течение» (И. Степанов), «столастическое» (С. Семковский), «деборинское» (Тимирязев). Л. Аксельрод заявила о «действительном существовании двух групп, причислив Деборина и его учеников к ревизионистскому направлению», а Степанов поставил вопрос еще разче:

«Наша литература, — говорил он, — больна. В ней много углов и застоявшейся атмосферой, потому что в этих углах литераторы той или иной дробной специальности начинают

¹⁾ Например, вопрос о философском и естественно-научном понятиях материи.

²⁾ «Под Знаменем Марксизма» № 3, 1925 г., стр. 219.

вариться в собственном соку. Необходимо шире раскрыть все окна и двери, необходимо ограничить эти «заседания при закрытых дверях», необходимо проветрить не окончательно погубленные мандаринским чванством мандарины головы».

Итак, мы оказались перед фактом двух непримиримых мировоззрений, — одно — это «мандарины головы», другое — это ортодоксальный марксизм.

Вот в чем выражается вторая особенность нового ревизионизма.

Перейдем к третьей особенности механистического ревизионизма. Чем объясняется тот факт, что этот ревизионизм выступил как «конгломерат» различных уклонов, что он сложился из блока старых и новых ревизионистских течений, и притом из блока, возглавляемого механистами?

Объясняется это, на мой взгляд, тремя причинами.

Во-первых, тем, что каждое из объединившихся в нынешнем блоке течений само по себе, отдельно от других, производит столь жалкое впечатление, каждое из них столь эклектично в своей сущности, столь пусто, бесплодно в своей «положительной программе», что само по себе не удержалось бы в нашей литературе ни одного дня, если бы не объединило свои силы с силами других течений. Возьмите Перовых и tutti quanti, с их статьями и криками о виталистах-деборинцах, возьмите варьяшевские взгляды о «неореализме» диалектиков (в теории общих понятий), о фрейдовском характере «бессознательного» в системе Маркса и Энгельса и т. д. и пр. Возьмите сарабяновскую теорию «скачущей» природы, в которой не оказывается места для «качеств» материалистической диалектики. Сами по себе эти взгляды обнаруживают такую беспомощность, такую беспринципность, неоформленность, путаницу, что было бы смешно на них долго останавливаться. Но эти же взгляды приобретают точку опоры, если ориентироваться на почве позитивизма и эволюционизма.

Возьмем, например, Л. И. Аксельрод. Она любит повторять, что «проблемы — сложные», что проблемы — «тонкие», требующие особого обширного «исследования», что «нет возможности подвергнуть анализу» в краткой статье все эти «сложные проблемы» и т. д. и пр. Смешно было бы останавливаться долго на подобных заявлениях. Люди, которые могут «критиковать», — критиковать мы сами умеем, — открывать «схоластику», пугать «гегельянством», но ничего, положительно ничего не могут сами создать в теории, не могут практически, конкретно, выполнить то, во имя чего они разносят в «пух» и «прах» теоретическую разработку диалектики, — такие люди не получили бы никакого влияния в марксистской литературе, такие люди были бы разоблачены своей собственной пустой кашеобразностью, беспринципностью, если бы они не вступали в объединение с другими течениями, чтобы сложением сил компенсировать свою слабость, чтобы создать хотя бы внешним образом видимость «идейного знамени».

Обратимся к фактам, подтверждающим нашу мысль. Можно привести несколько примеров изумительной слепоты к теории изумительного неумения мыслить, проявляемого участниками механистического блока.

Первый пример. Тов. Деборин пишет, что «диалектически возможен белковый комочек, заключающий в себе в зародыше весь бесконечный ряд высших организмов». В сборнике механи-

стов «Диалектика в природе» (№ 2, 1927), цитируя это замечание А. М. Деборина, пишут следующее: «В микроскопическом виде, что ли? Но где же тогда теория развития, и к чему диалектические переходы и скачки, если эти высшие организмы уже имеются, хотя бы в зародыше, в первичной протоплазме?». Комментарии тут излишни!

Второй пример. Диалектика учит, что развитие совершается путем внутренней борьбы противоречий, перерывов постепенности, скачков, сдвигающих старое и порождающих новое качество. А механисты на этот счет открыли такую истину: «задача науки состоит в развязывании этих узлов, в сужении этих полос до размеров тоненьких черточек. Дело представили так, как если бы речь шла о размерах толщины узлов».

Третий пример. А. М. Деборин пишет: «Вопрос о возможности сведения химии и биологии к механическим законам есть вопрос принципиальный. Его методологическая постановка и разрешение не могут находиться в зависимости от того, достигнуто ли уже или не достигнуто еще практически такое сведение». А механисты по этому поводу пишут: «Итак, биологи могут заниматься тем угодно... Деборина это не касается. С облаков своей философии он бесстрашно вещает» и т. д.

Четвертый пример. Диалектика природы такова, что развитие и усложнение формы движения совершается путем скачков, перерывов постепенности, когда новое качество, новый синтез разрывает и новую закономерность. В частности, физиологические процессы нельзя свести к сумме фактов, устанавливаемых в физике и химии. Возражая против этого, тов. А. Тимирязев писал: «Ведь физиология не буквальная копия слово в слово, буква в букву, учебников физики и химии» и кроме того: «все-таки мы не сможем еще теперь с такой ясностью сформулировать, в чем состоят усложнения движения при переходе от неживого к живому». Вот в чем, оказывается, состоит все «качество», вся «специфичность» живого в отличие от неживого! Учебники физики не буквальная копия учебников по физиологии!!

Этих примеров достаточно, чтобы показать, как механисты и те, кто с ними блокирует, растеряли все признаки философского мышления, без которого не обойтись для правильного понимания и применения методологических категорий марксизма. Вот почему им приходится компенсировать свою слабость сложением своих сил.

Объясняется это, во-вторых, тем, что создание блока старых и новых ревизионистских уклонов было облегчено беспринципностью их «объединения». Это же знаменательно, что характерная черта нынешнего блока в его беспринципности. Какие принципы объединяют, скажем, Сарабянова, с Варьяшем? Какие принципы объединяют, скажем, Л. Аксельрод с А. Богдановым? Какие принципы объединяют, скажем, Тимирязева с Семковским? Что общего, скажем, между Боричевским и Боссе? Разве Л. И. Аксельрод не разносила когда-то «в пух и в прах» А. А. Богданова? Почему же А. Богданов теперь заявляет, что «единство есть, но бояться в этом признаться»¹⁾? Разве Семковский не называл «механистом» Тимирязева²⁾, и разве Тимирязев не доказы-

¹⁾ «Вестник Комм. Академии» кн. 21, стр. 281.

²⁾ «Прапор Марксизму», Держ. Вид. Укр., 1927 г., № 1.

вал, в свою очередь, что Семковский—«неискоренимый махист», что Семковский «соединяет диалектический материализм с идеалистическими течениями, вроде философии Маха»¹⁾? Согласится ли Аксельрод с Сарабьяновым, когда последний говорит, что Спиноза был «материалистом, закладывавшим основы современного материализма»²⁾. А т. Сарабьянов—давно ли он возражал т. Степанову по поводу «сведения качества к количеству»³⁾? Разве нежелание марксистов-естественников расстаться с «философией» И. А. Боричевского не высмеивал вместе с И. И. Степановым, вместе со всеми механистами⁴⁾, которые побоялись открыто признать взгляды Боричевского марксистскими, прибегая к оговорочкам⁵⁾? Кто из механистов осмелится сказать, что гуссерлианство чуждо религиозной мистики, хотя их «вождь», Л. И. Аксельрод, и делает этот изящный реверанс гуссерлианцам:

«Гуссерлианство чуждо... каких бы то ни было религиозных уклонов. Имея, далее, своими представителями высоко талантливых людей с хорошо дисциплинированными умами, с способностью к тонкому анализу, это течение внесет кое-что в область формальной логики»⁶⁾.

И, затем, разве это не факт, что механисты-естественники, включая и механиста-философа Л. Аксельрод, должны были простить А. Варьяшу его «увлечения» математической логикой и фрейдизмом, чтобы сделать из него философского пифию своего направления? Разве это не факт, что механисты-естественники, бывшие марксисты и фрейдисты, должны были стыдливо простить Л. Аксельрод ее уклон к этическому идеализму, ее реакционнейшие взгляды на «простые законы права и нравственности»?

Что же у них получилось в результате? У них в результате получился блок взаимно «оскопленных» сил, блок взаимно осужденных «ошибок», взаимно «отпущенных грехов», блок взаимных жалких уступок, блок ублюдочных компромиссов.

В этой взаимной «оскопленности», в этой беспринципности механистического блока и кроется, на мой взгляд, второе объяснение его существования и его неизбежного краха.

Объясняется это, в-третьих, тем, что все течения, объединившиеся в блоке, под гегемонией механического материализма, являются ревизионистскими течениями, боровшимися против ортодоксального революционного марксизма, либо давно отвергнутыми, либо вновь начавшими борьбу с ним в последнее время. Эта общая черта должна была, разумеется, облегчить их объединение в блоке. И, в самом деле, из каких элементов составилась механистический блок под руководством механического материализма? Из остатков мининского отрицания философии, из пережитков психологического и фрейдистского отрицания идеологии, из остатков енциклопедически-биологического отрицания теории и, наконец, из богдановского эмпириомонизма, т.-е. отрицания материализма. Мы не говорим уже о том, что к механистическому материализму «помимо этих течений примыкает множество «непризнанных» и непонятных «попыток» «углу-

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» № 8—9, 1925 г., стр. 171, 174, 175, 176, 178.

²⁾ «Истор. материализм», 1924 г., стр. 51.

³⁾ В «Под Знам. Маркс.» № 12, 1925 г. стр. 184.

⁴⁾ Дискуссионный сборник «Механистическое естествознание и диалектический материализм», сб. 1, 1925 г., стр. 51.

⁵⁾ Там же, см. предисловие.

⁶⁾ «Философские очерки», 1925 г., стр. 229.

бить и развить» марксизм махизмом, математизмом, логистикой, гуссерлианством и другим залежавшимся товаром буржуазной моды. Приведем факты, подтверждающие нашу мысль.

Мининское отрицание философии оживилось на новой основе. Нет ли чего-то от средневековщины в том, что мы сохраняем в наших вузах историю философии—и не думаем об «истории науки»,—говорил т. Степанов и в вопросе о допустимости особой области философии он видел «фокус наших непримиримых противоречий»!

Если основоположники марксизма давали Гегелю высокую оценку, то это объясняется, по мнению Боричевского, лишь «своеобразными условиями их личного духовного развития». «Плеханов, по методу своих философских исканий, оставался большею частью только философом—в обычном смысле слова. Отсюда и его увлечение Гегелем»... На самом деле, Гегель—творец вздорных и пустых вещей. Такие «философские» термины, «как переход количества в качество, положительной науке и даром не нужны». Боричевскому вторят механисты, называя марксистов, требующих самостоятельной разработки диалектического материализма, «совершеннейшими представителями схоластики»¹⁾ и обвиняют их в том, что «они стали искать спасения в повороте от Маркса назад к Гегелю»²⁾.

На почве мининщины оживает известное нам, по писаниям Миллера и Рожицына, движение против Плеханова, стремление отделаться от Плеханова путем противопоставления Плеханова Ленину, потому что для наших отрицателей философии Плеханов был наиболее непримемлемой фигурой, так как изложение и разработка марксистской философии были делом именно Плеханова. Особенно упражняется в этом отношении проф. С. Семковский, разоблачающий Плеханова, как спинозиста³⁾. Истинный смысл похода против Плеханова, как «спинозиста», выбалтывают те, кто не заинтересован в том, чтобы отступление от марксизма прикрывать марксистской фразой. По мысли этих последних, главным извратителем марксизма путем отождествления его со спинозизмом был не кто иной, как Энгельс. Выходит, что Плеханов и Энгельс были спинозистами и... следовательно, извратителями учения Маркса. Вот до чего договариваются «союзники» механистов по блоку! Мининское отрицание философии теперь «конкретизировалось», как отрицание материализма Спинозы и диалектики Гегеля.

Психологистический уклон, нашедший свое выражение во фрейдистском психологизировании исторического материализма, в отрицании идеологии, также ожил в новой, завуалированной форме. Фразами о «полной несостоятельности» фрейдизма, об «абсолютной непригодности» его для объяснения общества уже знакомый нам по предыдущим страницам А. Варьяш прикрывал тот факт, что первоначальное откровенное растворение методологических категорий марксизма в фрейдистской психологии потерпело поражение и должно было принять новую, более «стыдливую» форму. Более «опасная, более омерзительная» форма фрейдистского наскока на марксизм состояла в том, что ме-

¹⁾ И. Степанов, «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 3, стр. 210.

²⁾ Там же, № 1—2, стр. 163, Л. Аксельрод, «Красная Новь», 1927 г., т. V, стр. 162.

³⁾ С. Семковский, «Пропор марксизму» № 1, 1927 г., стр. 51.

жду марксизмом и фрейдизмом производится размежевание не по принципиальной линии, а путем уклоночно-компромиссного замыкания разногласий. По Варьяшу оказывается, что бессознательное у Фрейда «узко, индивидуалистично»¹⁾, что Фрейд «чрезмерно сузил понятие бессознательного, а Маркс расширил фрейдово понятие бессознательного, а Фрейд сузил это марксово понятие»²⁾; и если фрейдовское «бессознательное» непригодно для объяснения общественных явлений, то это потому, что оно «узко определено», что «вместо индивидуального забвения надо восстановить марксово понятие об общественном или классовом забвении»³⁾.

Недалеко ушла от фрейдистского уклона другая разновидность психогистического искажения учения об идеологии, отождествляющая последнюю с психическим.

Идеология—это то же, что и психическое, идеология есть явление субъективное. Стоит оторвать идеологию от субъекта, и никакой идеологии не будет. Не превращается ли тогда все в идеологию? Да, все существующее, без малейшего исключения, при наличии субъекта, может стать идеологией. Все существующее может быть и «бытием» и «сознанием» (идеологией)—это зависит от отношения к субъекту, зависит от того, переносится ли данное явление в голову ощущающего существа. Объективно идеологии нет, идеологии суть отраженное и переработанное в головах бытие. Но куда же девать психику, идеологию? Туда же, куда следует девать мое отражение в зеркале⁴⁾. Вот к чему пришло старое варьяше-рейснеровское растворение идеологии в психологии.

Енчменистское отрицание теории, растворение теории в биологии, получило новое выражение в методологических упражнениях т. Боссе и ряда других естествоиспытателей. Как биологические явления должны быть, по его мнению, подчинены физико-химическим законам, так в конечном счете социальные явления принципиально доступны физико-химико-биологическому анализу. И тов. Боссе требовал подведения количественного физико-химико-биологического фундамента под социологию.

Наконец, заговорила о себе богдановская философия. Богдановское превознесение идеологии, как орудия организации социально-трудового процесса, выступило в своей старой, неприкрашенной форме, как эмпириомонизм. Понятие «бытия» для т. Богданова обозначает «нечто такое, с чем приходится считаться». «Это есть»—значит, что мы в своей практике должны «это» учитывать. Скажем, «есть» в обществе такое-то настроение. Мы его учитываем, мы должны практически с ним считаться. «Есть» такой-то предмет, мы должны с этим предметом считаться. Мы можем встретить сопротивление со стороны их, нам нужны усилия по отношению к ним: вот что обозначает «бытие», т.е. «нечто такое, с чем практически приходится считаться, что практически требует усилия»⁵⁾.

Таковы факты, подтверждающие нашу мысль, что все течения, объединившиеся на основе отрицания диалектики, на основе механического материализма, являются ревизионистскими тече-

1) «Диалектика в природе», сб. 1, стр. 54.

2) Там же, стр. 56.

3) Там же, стр. 59.

4) В. Сарабянов, Основное в едином и т. д., стр. 79—80.

5) А. Богданов, «Вестн. Комм. Акад.» 1927 г., кн. 21, стр. 256.

ниями. Эта общая черта, стало быть, должна была облегчить их объединение в блоке, в борьбе против ортодоксального марксизма.

Вот где кроются причины того, почему последняя форма ревизионизма выступает у нас в виде «конгломерата» и «блока» различных течений.

Ну, а чем объясняется тот факт, что все течения, объединившиеся на почве отрицания диалектики, выступают под флагом механического материализма? Чем объясняется тот факт, что старые откровенно-идеалистические течения капитулировали перед механистами и выступают под флагом механического материализма?

Мы уже выяснили причины, в силу которых вопрос о разработке марксистской диалектики приобрел особо важное значение, особо актуальное значение, именно, в наше время. Почему же отрицание марксистской диалектики, ее извращение, ее непонимание, неумение применять ее к изменившейся обстановке—оформилось и развилось в течение механического материализма, а не, скажем, одного из отвергнутых уклонов, или, скажем, неогегельянского извращения диалектики, или, скажем, рационалистического идеализма, как это мы наблюдаем на Западе? Чем объясняется факт механистской гегемонии в теперешних на-
словах на марксизм?

Тем, во-первых, что ни одно из вульгарных извращений марксизма, против которых когда-либо приходилось бороться революционным марксистам, не умеет так ловко пользоваться левой фразой, так искусно маскировать свою идеалистическую сущность ультра-материалистической фразой, как механический материализм. Механический материализм всегда щеголял левой фразой, выступая под флагом «новейших достижений современного естествознания» и объявляя «революционную войну» против идеализма, витализма, телеологии, мистики, религии. Так и нынешний ревизионистский блок, возглавляемый механистами, усердно старается прикрывать свой отход от марксизма «левыми» криками о витализме «деборинской школы» и сколачивает блок из всех ревизионистских течений послеоктябрьского периода, прибегающих к такой «левой» маскировке.

Тем, во-вторых, что механический материализм является наиболее оформленным, наиболее законченным течением в материалистической философии. Уже Маркс презрительно третировал Бюхнера и Ко за неумение понять гегелевскую диалектику. Уже Энгельс считал необходимым дать развернутую критику важнейших идей механического материализма в брошюре о Л. Фейербахе. Уже Ленин неоднократно подчеркивал, что современный материализм «неизмеримо более богат содержанием», чем все предыдущие формы материализма, что «основным недостатком «старого» материализма» является его «преимущественно механический» характер, «не учитывающий новейшего развития химии и биологии»; что «Маркс и Энгельс не на повторение старого обратили все свое внимание, а на серьезное теоретическое развитие материализма».

Такому законченному, исторически оформленному течению, как механический материализм, разумеется, легче было сколотить блок, чем, скажем, фрейдистам.

Тем, в-третьих, что «механистская» гегемония в теперешнем ревизионистском блоке оказалась созвучной таким же социаль-

но-политическим процессом, происходящим в нашей стране, как мелкобуржуазно-меньшевистское вырождение марксизма у группы революционеров, порвавшей с партией, руководящей строительством социализма, и скатившихся к прямой критике пролетарской диктатуры. Факты говорят, что методологические корни современного мелкобуржуазного меньшевистского вырождения марксизма у названной группы революционеров целиком характеризуются в своей основе следующими словами Ленина о меньшевиках: «Они все называют себя марксистами, но понимают марксизм до невозможной степени педантски. Решающего они в марксизме не поняли: именно, его революционной диалектики. Даже прямые указания Маркса на то, что в моменты революции требуется максимальная гибкость, ими абсолютно не поняты»¹⁾.

В чем проявляется абстрактно-рационалистический формально-логический, нежизненно-диалектический, а механистический метод мышления в политике, в переживаемый момент социалистического развития? В противопоставлении технически-экономической базы социально-политической надстройки и в отрыве одного от другого—в вопросе о возможности построения социализма в одной стране; в противопоставлении пролетариата одной страны пролетариату других стран или крестьянства нашей страны пролетариату других стран—в вопросе о шансах победы социализма в СССР; в противопоставлении «национальных» задач пролетариата той или иной страны задачам интернациональным—в вопросе о перспективах и задачах нашей революции; в противопоставлении «руководящей» партии «руководимым» массам—в вопросе об оценке движущих сил революции; в противопоставлении рабочего класса крестьянству, как «колонии», как объекту «эксплуатации»—в вопросе о путях индустриализации нашей страны; в противопоставлении тенденции к нивелировке или уменьшению разницы в уровне хозяйственного развития различных капиталистических стран закону неравномерности развития капитализма в период империализма—в вопросе о предпосылках пролетарских революций в отдельных капиталистических странах, и т. д. и пр.

Эту цепь механических, формально логических, схематических, мертвых противопоставлений читатель мог бы легко продолжить: то общее, что лежит в основе этих противопоставлений, есть смешение качественно различных категорий доимпериалистического капитализма и категорий капитализма империалистического, непонимание несводимости различного уровня в развитии капиталистических стран к неравномерности развития капитализма, непонимание качественного различия между законами развития при капитализме и закономерностью развития переходного периода,—то общее, стало быть, что лежит в методологической основе, этих методологических корнях, этих ошибок, есть полное непонимание того факта, что «при общей закономерности развития во всей всемирной истории несколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития»²⁾.

¹⁾ Ленин, Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 117.

²⁾ Ленин, Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 118.

Но, ведь, так именно и выглядит механический материализм! Механический метод в политической области и есть подмена метода марксизма буквою марксизма, есть вышелушивание живого содержания, «решающего в марксизме—диалектики», есть схема вместо анализа, абстрактное вместо конкретного, формальная логика вместо диалектики.

В крупнейший переломный этап переходного периода, на переломе от капитализма к социализму, на повороте развития революции, на переходе к небывалым социалистическим задачам, на крутом под'еме, и притом в исключительно сложной и трудной международной обстановке,—в такие моменты, когда от руководства требуется максимальная гибкость, максимальное умение владеть диалектикой, давлении буржуазной идеологии, отход от революции идейно переродившихся прослоек партии происходит не только в политической области, но и в области так называемых «абстрактных высот» «надстройки». Что касается области марксистской философии, то здесь давление буржуазной идеологии, идейное перерождение некоторых прослоек пролетарской интеллигенции сказалось в том, что группа «марксистов» откололась от материалистической диалектики.

Вот чем объясняется тот факт, что во главе теперешнего ревизионистского блока оказался механический материализм.

После этих предварительных замечаний о внешних, бросающихся в глаза особенностях современного ревизионизма, можно перейти к содержанию наших разногласий.

Обратимся к характеристике философии механистического ревизионизма.

Мировоззрение механистического блока можно свести к следующим основным вопросам:

1. Диалектический материализм отождествляется с общими выводами наук. «Исторический материализм продолжает то дело, которое в одной своей части выполнено философским материализмом, или, употребляя более ясное и прямое название, выполнено современным естествознанием: для марксизма не существует области какого-то «философствования», отдельной и обособленной от науки: материалистическая философия для него последние и наиболее общие выводы естествознания»¹⁾. Это есть мировоззрение «внутринаучное, которое хочет быть одним из предельных обобщений положительной науки, как целого, и стремится освободить ее от всяких философских призраков»²⁾. Окончательные выводы науки о природе по существу как раз и составляют мировоззрение, которые мы охватываем словами философский материализм³⁾. Вместо слов «философский материализм»—можно употребить более ясное и прямое выражение: современное естествознание. Материалистическая философия для марксистов—последние и наиболее общие выводы современной науки»⁴⁾.

2. Отождествление диалектического материализма с общими выводами естествознания с самого начала квалифицировалось

¹⁾ И. Степанов, Исторический материализм и современное естествознание, 1924 г., стр. 56.

²⁾ И. Боричевский, в сборнике: «Механистическое естествознание и диалектический материализм», Вологда, стр. 52.

³⁾ И. Степанов, цитир. соч., стр. 23.

⁴⁾ Там же, стр. 56 и сл.

нами как первый шаг к ликвидации философии марксизма. Такая оценка оправдалась полностью, ибо распространение метода механического естествознания на всю область явлений природы привело к замене диалектического метода методом механического материализма.

«Современная наука, унаследовав то ценное, что было в философском материализме, претворила его именно в механистическое истолкование мира». Материализм—это то же, что и механизм: «Назвать диалектическое мировоззрение механическим...—это значит ограничиться только подчеркиванием материализма в нашем мировоззрении: животное—механизм, человек—механизм, всякое «живое» существо—механизм»¹⁾.

Принципы механизма совпадают с материализмом. «Материализм, механическое мирообъяснение (в отличие от трансцендентного—телеологического), восторжествовал по всей линии»,—писала Л. Аксельрод в 1923 г., обзоре развития науки со времени первого издания «Философских очерков».

По отношению к общественному диалектический материализм конкретизируется как исторический материализм. Нельзя ли конкретизировать диалектический материализм и по отношению к наукам о природе? «Диалектическое понимание»—слишком общее название. Для настоящего времени диалектическое понимание природы конкретизируется именно как механическое понимание, т.-е. как сведение всех процессов природы исключительно к действию и превращениям тех видов энергии, которые изучаются физикой и химией»²⁾.

«Марксист должен прямо и открыто сказать, что он принимает это так называемое механистическое воззрение на природу, механистическое понимание ее». Отказаться в малейшей мере от принципов механистического естествознания для механистов означало не что иное, как «допустить чудо и пойти навстречу витализму, идеализму и совсем неприкрытой поповщине» (И. Степанов).

3. Отсюда отрицание диалектики, как науки, и механическое противопоставление метода науке.

В редакционной статье в одном из сборников, механисты ставили вопрос так: «Существует ли диалектика, как особая наука, или это лишь метод всякого марксистского научного исследования?» (Механистическое естествознание и диалектический материализм, 1925 г., стр. 5). Ту же точку зрения выразил и т. Степанов в следующих словах: «С одной точки зрения диалектика—метод, который следует применять для познания природы и общества, так как применение его ведет к плодотворным результатам. Для другой точки зрения в готовых положениях диалектической философии Гегеля уже наперед даны все основные соотношения реального мира»³⁾.

Механисты боялись, как бы диалектическая философия не превратилась в философскую систему, если забыть, что «диалектика—это метод»⁴⁾. Не объявим ли мы, что мы даем «систему познания», т.-е. не ударимся в метафизику, если мы не будем

¹⁾ В. Сарабянов, «Под Знаменем Марксизма» № 12, 1925 г., стр. 194.

²⁾ И. Степанов, «Большевик» № 14, 1924 г., стр. 85.

³⁾ И. Степанов, «Под Знаменем Марксизма» № 3, 1925 г., стр. 212.

⁴⁾ Ibid., стр. 215.

рассматривать диалектику иначе, как метод?—спрашивали механисты. «Не подменяется ли общая методология философской системы, «наукой наук», которая мнит себя стоящей над науками и претендует на то, чтобы наперед предписывать им результаты, к которым они должны приходить?»¹⁾. «Диалектика не стоит над науками: ее надо искать в самих науках»²⁾. Метод рождается в фактах, метод тащится в хвосте за фактами. Отсюда одностороннее представление о диалектическом методе, как о «положительном, индуктивном, исходящем из фактов», методе»³⁾.

Отсутствие правильного философского понимания в вопросе об отношении метода к науке компенсируется особой «теорией» «единого мировоззрения-метода». Согласно этой теории, для марксиста не должно быть противоречий между словом и делом. Наше мировоззрение должно превратиться в метод, т.-е. в мировоззрение, находящееся в действии. «Поясним. Если мое мировоззрение материалистично, то и живу я материалистично, иначе сказать, богу не молось, зубы лечу, а не с уголька мне их спрыскивают, организую многополье, а не призываю урожай через молебны и пр. и пр.». В своих действиях я должен сообразоваться с моим мировоззрением»⁴⁾.

Но разве речь идет о том, чтобы не было разлада между словом и делом, теорией и практикой? Кто против этого спорит? Против этого никто не спорит, все это очень просто; но «просто» здесь хуже воровства: наше мировоззрение гораздо богаче, шире, конкретнее, жизненнее, чем выходит по этой «теории». Разумеется, наше мировоззрение обязательно превращается в метод действия, но и мировоззрения не было бы, если бы метод нами никогда не был осознан в теорию, научно осознан и разработан. Марксистское мировоззрение—не «мировоззрение-метод», а единство метода и теории. А позитивист тем и «замечателен», что сперва отрывает метод от мировоззрения, а затем требует, чтобы мировоззрение превратилось в метод. Но это и есть недооценка метода, поверхностный взгляд на метод, как только на метод (способ действия, «орудие», «инструмент» или метод мышления), не обусловленный, не коренящийся в самой природе.

Устранив диалектику, как особую науку, механистический блок приступил к «конкретизации» своей программы, т.-е. к механистическому опошлению диалектических категорий. Первой жертвой явилось диалектическое учение о развитии.

4. Основная черта развития—это движение и непрерывность. Представление о развитии, как о «движении, течении, непрерывном превращении одних форм в другие», связывается с эволюционной точкой зрения. Механисты не замечают, что сказать: диалектика—это точка зрения развития»⁵⁾—слишком мало! «Диалектика переживает на наших

¹⁾ Ibid., стр. 217.

²⁾ Ibid., стр. 213.

³⁾ Варьяш, сб. «Диалектика в природе», I, стр. 37.

⁴⁾ В. Сарабянов, Основное в едином научном мировоззрении-методе. «Пролетарий», 1925 г., стр. 10 и сл.

⁵⁾ И. Степанов, Исторический материализм и современное естествознание, стр. 25.

глазах величайшее торжество, вторгаясь в последнее убежище метафизики», говорил он, но если вы потребуете разъяснения этих слов на примерах, то окажется, что «торжество диалектики» сводится к точке зрения движения, развития.

«В то же время надо будет признать, что менделеевская система элементов окажется в историческом развитии химии тем же, чем для органического мира была линеенская система классификации. Последняя устанавливала «перерывы», «узлы», перегородки между органическими формами. В свете дарвинизма она стала указывать переходы, движение, развитие из одних форм в другие»¹⁾.

Наиболее основная характеристика диалектики заключается в том, что «она есть учение о развитии», заключается в «признании непрерывности единого универсального движения, в непрерывности его превращений из одной формы в другую». Задача науки в раскрытии непрерывности движения, «идея непрерывности, осуществляющаяся через превращения форм движения, все больше овладевает современной наукой. Но разве это не величайшее торжество диалектики?» — спрашивали механисты.

5. Из одностороннего толкования развития, как чего-то непрерывного, как «движения» вообще, вытекает механистическое понимание противоречия. Какими же чертами характеризуется чисто-механистическое понимание причинности? Во-первых, тем, что различаются противоречия внешние и внутренние²⁾, а вопрос о соотношении «внутреннего» и «внешнего» и вовсе не ставится. С точки зрения диалектического материализма «внешние» противоречия образуют форму проявления внутренних, так как «противоречие» между внешним и внутренним «снимается» самим процессом их развития, а не внешним сопоставлением того, что находится «внутри», и того, что находится «снаружи». Но этого вопроса наши механисты и не похачи.

Во-вторых, тем, что противоречие сводится к двум силам, движущимся в противоположных направлениях, но не противоречиво, — недостаток, в котором Энгельс упрекал еще Дюринга. Вот пример диалектики противоречия: «я хвораю, значит, во мне борются силы, приносящие и разрушающие мое здоровье» (Сарабьянов).

В-третьих, тем, что механистическое понимание противоречия неизбежно сводится к фаталистическому, механистическому толкованию причинности, как абсолютной необходимости. По мнению механистов, «понять какую-нибудь группу явлений означает для современной науки истолковать ее, как непрерывно текущий процесс, в котором одна стадия или ступень (рассматриваемая, как причина) неизбежно порождает другую (являющуюся следствием)»³⁾. «Самое основное в понятии причинности — непрерывность»⁴⁾.

Если система Спинозы и проникнута материализмом, то «подлинный материализм» состоит в «критическом отрицании сверх-опытной целесообразности и не менее последовательному обоснованию механической закономер-

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 3, стр. 210.

²⁾ В. Сарабьянов. Введение в диалектический материализм, стр. 12.

³⁾ И. Степанов, «Под Знаменем Марксизма» № 3, 1925 г., стр. 222—223.

⁴⁾ Там же, № 8—9, 1925 г., стр. 47.

ности»¹⁾. «Полное отрицание телеологии и безусловное признание принципа механической причинности является душой материализма»²⁾, «становым хребтом марксизма»³⁾. Отрицание механической причинности «приводит к отрицанию всякой закономерности — к вере в свободу целесообразной воли».

6. Механическое понимание причинности ведет к отрицанию «объективной природы случайности. По мнению механистического слова, под «случаем» Энгельс понимает «такое явление, причина которого нам не известна, нами не «прослежена», и «такое понимание случая вполне научно»⁴⁾, «случайность есть результат нашего неведения»⁵⁾. Поэтому дарвиновская мысль о происхождении организмов на основе случайных вариаций отвергается: диалектический материализм, видите ли, базируется на закономерности мира, при чем эту закономерность он видит не только в том, что нет следствия без причины, но что нет и независимых друг от друга причинно-следственных рядов»⁶⁾.

Признать случайность для механиста значит допустить беспричинные явления. Что значит случайность в более глубоком «объективном смысле? — вопрошает наш механист. — Объективная случайность? Случайность как таковая? Т.-е. мнимая, не кажущаяся случайность, а действительная случайность? Метафизическая мысль механиста, в конце концов, делает бесстрашно следующий вывод: объективная случайность понадобилась «деборинцам» для того, чтобы «в царстве случайностей благополучно уместить свободу воли, имманентную телеологию и прочие идеологические аксессуары буржуазии, необходимые ей для психологического порабощения рабочего класса»⁷⁾.

7. Отсюда — отрицание «объективной природы «перерывов постепенности», «узловых линий», «скачков» и «качеств». Отрицание «объективной природы этих категорий приняло у механистов различные формы. Здесь лежат важнейшие вопросы, разделяющие марксистов и механистов, и в первую голову вопрос о сведении внешних форм движения к низшим. Движение в применении к материи — это изменение вообще. Учение диалектического материализма о формах движения состоит в признании непрерывности высших и низших форм изменения и прерывности, «скачкообразности», качественности перехода от низшей формы к высшей. Этим не отрицается вовсе, что каждая из высших форм движения связана всегда необходимым образом с реальным механическим или другим видом движения, но «наличие этих побочных форм, — по выражению Энгельса, — не исчерпывает сущности главной формы в каждом случае».

Против диалектического отграничения высшей и низшей форм возражают механисты. А. Тимирязев считает выражение «побочные формы» неудачным. Он никак не может понять, как признать признание непрерывности и единства всех форм движения с признанием качественной несводимости высшей формы к низшей, с признанием «побочных форм». Как можно говорить о

¹⁾ Л. Аксельрод, «Красная Новь» № 7, 1925 г., стр. 157.

²⁾ Л. Аксельрод, Философские очерки, 1925 г., стр. 76.

³⁾ Сб. «Диалектика в природе», II, Тимирязевск. Инст. стр. 272.

⁴⁾ Сарабьянов, Исторический материализм, М. 1924 г., стр. 152.

⁵⁾ «Диалектика в природе», сб. 2, стр. 272.

⁶⁾ Сарабьянов, Исторический материализм, стр. 153.

⁷⁾ «Диалектика в природе», сб. 2, стр. 282.

«побочных формах», — возмущаются механисты, — если высшие формы возникают из низших?

«Если выставлять на первый план это неудачное, по нашему мнению, слово «побочный» вне связи с мыслями Энгельса, то это только на руку виталистам, считающим, что физико-химические методы не способны дать нам разгадку «тайны жизни»¹⁾.

Итак, признание «побочных форм» ведет к витализму!

Наука неуклонно идет к тому, чтобы истолковать «все разветвление мира, как развитие относительно простых физических и химических процессов». Энгельс говорит, что «органическая жизнь невозможна без механических, молекулярных, химических, термических, электрических и т. д. изменений. Но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом случае». Механисты отвергали это положение материалистической диалектики, открыто нападая на Энгельса²⁾. Устанавливать различие между побочными и главной формами движения материи для механистов означает подать виталистам не палец, а руку.

Наука, говорят механисты, идет в том направлении, чтобы свести химию и биологию к атомно-электронной и молекулярной механике, и это единственно правильный путь для понимания существа химических и биологических процессов. Механические, молекулярные, химические, термические, электрические и т. д. изменения вовсе не являются «побочными» формами по отношению к органической жизни, но исчерпывают существо этой последней. Физиология, например, есть физика и в особенности химия живого тела. Никаких «ступеней», «узловых линий», «абсолютных порогов» нет между механикой, физикой, химией, с одной стороны, и биологией — с другой. Точно так же социология может быть научно поставлена в том случае, если мы подведем под нее биологический фундамент, если мы общественную жизнь подчиним законам физики и биологии.

8. Отоюда отрицание об'ективности природы качества, отсюда стремление объявить виталистом всякого, кто говорит о качестве. «Качества суть не что иное, как определенные изменения тех же количеств» (Боричевский). «Гегелевская формула «количество переходит в качество», переведенная на язык фактов, на язык материализма, читается: количество одного качества переходит в количество другого качества» (Г. Боссе). «Качество, взятое без количества», есть «введение непознаваемой сущности, уничтожение объяснения и причинной связи» (С. Перов). Поэтому «качества» т. Н. Степановым берутся неизменно в иронические кавычки. Они, — говорил он о своих критиках, — все еще ищут «качества», хотя уже Энгельс заменил их бесконечно более тонкими и глубокими «формами движения»³⁾.

Качество, это — понятие, которым мы заполняем пробелы нашего знания. «На худой конец, встретившись с очень сложной проблемой, можно вполне удовлетвориться такой, напр., формулой:

¹⁾ А. Тимирязев, «Вестн. Комм. Академии» XVII, стр. 133.

²⁾ И. Степанов, «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 8—9, стр. 51.

³⁾ В сб. «Механистическое естествознание и диалект. материализм», стр. 17.

«здесь перед нами узловая линия, за которой начинается новое качество», т. е. чисто словесным способом замазывать величайшие пробелы и провалы в действительном понимании мира». «Узловая линия», перерыв — это не абсолютная граница, а очень «тонкая разграничительная черта». Прогресс наших знаний в физике и химии позволяет делать эту разграничительную черту «пограничной черточкой», все более и более «тонкой» и «относительной», позволяет «развязывать узел», при чем эти «узловые линии» иногда становятся «столь тонкими», что «не стоит спорить о том, существуют ли они еще или стерлись совсем». И долбить в настоящее время с величайшей, даже с исключительной настойчивостью указывать: здесь «новое качество», здесь «перерыв непрерывности», здесь «узловая линия», значит быть реакционером в науке («ретроградом» по Энгельсу) или играть на руку «черносотенцам» от науки... Одна из единственных задач современной науки заключается в развязывании этих узлов, в снижении этих порогов, в сужении этих полос до размеров тоненьких черточек, в раскрытии непрерывности движения»¹⁾. «Узловые линии» — это следствия нашего незнания вещей; они говорят: «пока не знаем», но они исчезнут, когда темные «скрытые» за ними процессы будут нами раскрыты и познаны²⁾. «Многие узлы еще не развязаны, но значит ли это, что наука должна смиренно остановиться перед ними»³⁾. Всякое иное, не позитивистическое, не эмпирическое понимание «качества» и «перерывов» объявляется витализмом и доводчиной. Это же факт, что А. Тимирязев иначе и думать не может о качествах, как о «принципиально неразложимых, ведущих прямой дорогой к господу богу»⁴⁾.

Механисты отрицают философскую или методологическую категорию «качества», но так как без таких общих категорий, как качество, обойтись невозможно, то они неизбежно скатываются к позитивистическому пониманию «качества». Позитивистическое или, другими словами, субъективистическое понимание качества заключается в том, что «качества уже даны»⁵⁾, что все, что существует, есть то или другое качество, т. е. мы имеем в природе различные качества одного и того же количества. Другими словами, отношение качества к количеству — внешнее, различное, не об'ективное, не отвечающее внутренней природе того или другого, — одно не является результатом другого, и наоборот, — это отношение формальное, определяемое нашим подлинным отношением «только логическое», «суб'ективное». Перерывы даны с самого начала, потому что мы с самого начала видим различия, многообразие форм, качество и есть сочетание свойств⁶⁾. Позитивизм отождествляет «качества с видимыми свойствами, а «перерывы» — с видимыми различиями. Ну, а что такое «видимые свойства», «видимые различия»? Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с историей философии, должен ответить, что единственно правильный и научный ответ на поставленный вопрос дает диалектический материализм. Без ясного, сознатель-

¹⁾ «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 3, стр. 224.

²⁾ И. Степанов, «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 8—9, стр. 66.

³⁾ Там же, стр. 64.

⁴⁾ А. Тимирязев, «Вестн. Комм. Акад.» XVII, стр. 134.

⁵⁾ «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 3, стр. 221.

⁶⁾ Сарабьянов, Основное в едином, стр. 98.

перестало быть отвлеченным! Кто хочет ясно, почти с осязаемой ощутимостью понять всю беспомощность механистического подхода к проблеме, пусть вдумается в эти поистине замечательные суждения т. Аксельрод¹⁾. Тов. Деборин, приводя пример класса, развивал положение о конкретности и реальности класса, как коллектива, а нам отвечают, что это есть «механическое перенесение понятия организма из области биологии в область социологии», что это определение «является чистой абстракцией, не включающей в себе ни одного признака» из конкретного содержания общественного класса²⁾.

Таковы важнейшие вопросы, которые разделяли и разделяют ортодоксальных марксистов и представителей механистического блока.

Если подвести итог внутримарксистской борьбе за последние два года, то можно прийти к одному общему выводу, что диалектический материализм, выросший и окрепший в борьбе с ревизионистскими течениями послеоктябрьского периода, оказался еще раз прав, когда т. Деборин в самом начале борьбы заявил, что так называемое «механистическое естествознание», объединившее в беспринципном блоке различные течения, представляет собою новую форму ревизионизма, означает собою критику марксистской философии. Факты говорят, что марксистская философия удержала свои позиции, а ревизионистов механистического блока облачила как антимарксистов и заставила позорно отступить.

Мы не будем останавливаться на этих фактах, так как все они — документы сегодняшнего дня, совершенно живые в памяти. Рыцари «механистического естествознания» должны были признать свое поражение. Теперь они пишут, что «тов. Степанов сделал ошибку, допуская тождество между марксистской философией и совокупностью конечных выводов естествознания»³⁾. Теперь т. Тимирязев признает, что «безусловно придется в ближайшем будущем внимательно изучать взгляды Гегеля»⁴⁾. Теперь и тов. Аксельрод не прочь поговорить о «конкретном понятии», сделав по-своему многозначительную оговорку, что она «лишена возможности» входить в «полный анализ» «сложного» вопроса о том, «что означает с точки зрения марксизма конкретное понятие»⁵⁾. Это же факт, что теперь редакция второй книги сборников «Диалектика в природе» должна была отказаться от позиции, которую она же сама защищала в первой книге тех же сборников!

Чем объясняется отступление механистов, чем вызвана сдача ими позиции по целому ряду вопросов (если ставить вопрос в плоскости теории)?

Во-первых, тем, что предыдущая борьба с ревизионистскими течениями в философии углубила, укрепила, популяризировала, распространила идеи марксистской философии гораздо больше, гораздо шире, гораздо глубже и лучше, чем это могло показаться товарищам из механистического блока в начале борьбы, чем это могло показаться им тогда, когда они имели только последние слова т. Степанова в книге Гортера. Механисты проглядели тот факт, что за эти годы выросла и молодежь, которая учится в специальных, естественно-научных вузах и на которую еще

недавно они могли рассчитывать. Механисты проглядели тот факт, что эта молодежь изучает Маркса, Энгельса и Ленина не по книжкам т. Сарабьянова, а по подлинникам.

Диалектический материализм завоевал за эти годы важнейшие методологические позиции у наших естествоиспытателей. Марксистская философия, ее пропаганда, ее изучение, ее разработка оказались крепким орешком для части марксистов-естествоиспытателей, для тех, кто испугался трудностей, вытекающих для теории из переломного характера нашей эпохи.

Во-вторых, тем, что в ходе литературной борьбы к механистам примкнули такие течения, которые либо были достаточно скомпрометированы и отвергнуты в предыдущие годы, либо начали борьбу против марксизма в последнее время, ориентируясь на «сменовеховские» настроения в части наших научных кругов. Товарищи-механисты должны были расписаться в своем отступлении, чтобы механически отпали от них явно враждебные марксизму элементы. Практика борьбы показала, «куда растет» и «кому выгоден» отказ от материалистической диалектики, и сдача позиций в целом ряде важнейших вопросов оказалась единственным выходом для механистов.

В-третьих, тем, что охарактеризованная уже выше беспринципность объединения различных уклонов на почве отрицания диалектики облегчала это отступление. Беспринципность продемонстрировала себя еще в этом отступлении, чтобы в новой замаскированной форме продолжать ревизию марксизма. Смешно закрывать глаза на то, что из отступления получилась не только идейная сумятица, отсутствие единства, разброд и разложение — нет, отступление оказалось еще и новой маской для продолжения ревизии марксизма. Об этом говорят выступления т. Аксельрод и К^о в театре им. Мейерхольда (дек. 1927), — выступления, в которых крики о «витализме» и «махизме» ортодоксальных революционных марксистов смешно и жалко прикрывали кауцкианскую сущность позиции «вождя» механистов — т. Аксельрод.

Вот чем объясняется отступление механистов. Но мы должны сделать так, чтобы отступление служило не маской, а самоликвидацией механистического блока. «Не было бы особой беды в том, что наши марксисты-естествоиспытатели, — как писал т. Деборин, — опоздали. Лучше поздно, чем никогда. И мы готовы были бы забыть, что именно они ставили нам в нашей работе всевозможные препятствия, что большую часть времени и энергии нам приходилось и приходится тратить на борьбу с ними. Убедившись теперь, после нескольких лет взаимной борьбы, в принципиальной правильности нашей общей линии, они должны были бы это честно признать, хотя бы в интересах дальнейшей совместной работы».

Таковы уклоны, в борьбе с которыми вырос и окреп диалектический материализм за десять лет пролетарской революции. После этого можно поставить вопрос и о его росте, вопрос о том, к каким проблемам подошла материалистическая диалектика за исходе первого десятилетия Октябрьской революции.

¹⁾ Л. Аксельрод, «Кр. Н.» кн. V, стр. 161, 1927 г.

²⁾ Сб. «Диалектика в природе», кн. 2, стр. 266.

³⁾ «Вестник Комм. Акад.» кн. 17, стр. 145.

⁴⁾ «Красная Новь», кн. V, 1927., стр. 139.

Цена производства как производственное отношение.

(К критике методологии И. И. Рубина).

А. Сагацкий.

За последние годы в нашей теоретико-экономической литературе труды И. И. Рубина заслуженно занимают одно из видных мест. Особенно это относится к «Очеркам по теории стоимости Маркса» (2-е изд., Гиз, М. 1924).

Теория товарного фетишизма до трудов Рубина в нашей литературе не занимала того места, которое ей принадлежало по праву, и в этом отношении как раз И. И. Рубин дал очень много. Ценны его «Очерки» также постановкой целого ряда и других вопросов, связанных с дальнейшей разработкой Марксовой системы. Однако, на ряду с большими достоинствами, его работы имеют не мало недостатков и, по меньшей мере, спорных мест. Таковыми являются его трактования формы стоимости, абстрактного труда, соотношения стоимости и цены производства и др.

В этой статье мы намереваемся разобрать неправильное понимание Рубиным метода Маркса на конкретном примере определения цены производства как производственного отношения. Как видно из последующего, по нашему мнению, это связано с ошибочным пониманием Рубиным и других категорий, их места в системе Маркса.

I.

Характеризуя метод Маркса, Рубин в IV главе «Очерков» совершенно правильно говорит, что Маркс выделяет отдельные виды или типы производственных отношений и изучает их по степени их усложнения. Это И. И. Рубин и прослеживает на характеристике формы стоимости, деньгах, капитале. Отметив затем категории постоянного, переменного, производительного, товарного, денежного капитала, он продолжает: «Но этим еще не исчерпываются производственные отношения, связывающие промышленного капиталиста с другими членами общества. Во-первых, через конкуренцию капиталов и переход их из одной отрасли в другую промышленные капиталисты данной отрасли связаны со всеми другими промышленными капиталистами, и эта связь выражается в образовании «общей средней нормы прибыли» и про-

даже товаров по «ценам производства»¹⁾. Кроме того, самый класс капиталистов распадается на несколько общественных групп или подклассов: капиталистов промышленных, торговых и денежных (финансовых). На ряду с этими группами, составляющими в совокупности класс капиталистов, стоит еще класс землевладельцев. Производственные отношения между этими различными социальными группами создают новые социально-экономические «формы»: торговый капитал и торговую прибыль, ссудный капитал и процент, ренту. «Из своей, так сказать, внутренней органической жизни он (капитал) вступает в отношения внешней жизни, в отношения, где противостоят друг другу не капитал и труд, а с одной стороны—капитал и капитал, с другой стороны—индивидуумы опять-таки просто как покупатели и продавцы (К. III, стр. 18). Речь идет здесь о разных типах производственных отношений, а именно о прочих; 2) между капиталистами и членами общества, выступающими в качестве покупателей и продавцов, и 3) между отдельными группами промышленных капиталистов, а также между промышленными капиталистами в целом и другими капиталистическими группами (капиталисты торговые и денежные). Первый тип производственных отношений, представляющий основу капиталистического общества, изучается Марксом в I томе «Капитала», второй тип—во II томе, третий—в III томе»²⁾.

В другом месте той же книги И. И. Рубин говорит: «Заключивши исследование производственных отношений между товаровладельцами (теория стоимости) и между капиталистами и рабочими (теория капитала), Маркс в III томе «Капитала» переходит к изучению производственных отношений между промышленными капиталистами разных сфер производства (теория цен производства)»³⁾.

Итак, по И. И. Рубину, цена производства есть овеществление производственных отношений между отдельными группами капиталистов. Следовательно, цена производства—внутриклассовая категория.

Цена производства—сложная категория, и это Рубиным подчеркивается неоднократно. Так, во вступительной статье к работе Розенберга⁴⁾ он говорит: «У Маркса цена производства представляет, по сравнению со стоимостью, новое «определение форм» (Теория, II), соответствующее более сложному типу производственных отношений». Эта мысль повторяется во многих местах и «Очерков»... Так, на стр. 25 мы читаем: «Приступая к изучению «экономической структуры общества» или «совокупности производственных отношений» людей (предисловие «К критике пол. экон.»). Маркс выделяет отдельные виды или типы производственных отношений людей в капиталистическом обществе. Порядок их изучения Марксом устанавливается следующий. Некоторые из этих отношений между людьми предполагают наличие других типов производственных отношений между чле-

¹⁾ Курсив мой. А. С.

²⁾ И. И. Рубин. Очерки, стр. 27, изд. 2-е, Гиз, 1924 г. Курсив И. И. Рубина. А. С.

³⁾ Там же, стр. 163. Курсив мой. А. С.

⁴⁾ Розенберг, Теория стоимости у Рикардо и у Маркса, стр. 61 «Моск. Раб.», 1924 г.

нами данного общества; последние же отношения не предполагают необходимого существования первых, представляя собою, таким образом, их предпосылку¹⁾. Или в другом месте: «Марксова теория цен производства не противоречит теории трудовой стоимости, она построена на ее основе и включает ее в себя, как одну из своих составных частей. Это и понятно, если вспомнить, что теория трудовой стоимости изучает только один тип производственных отношений между людьми (как между товаропроизводителями), теория же цен производства предполагает существование всех трех основных типов производственных отношений людей в капиталистическом обществе (отношения между товаропроизводителями, между капиталистами и рабочими, между отдельными группами промышленных капиталистов)²⁾».

По Рубину Маркс сначала исследовал производственные отношения между товаропроизводителями, потом — между капиталистами и рабочими. Закончив то и другое, перешел к изучению между отдельными группами промышленных капиталистов. Изучение последних невозможно без предварительного анализа предыдущих, подобно тому, как, если вам необходимо подняться на верхнюю ступеньку лестницы, вы вынуждены сначала пройти по нижним ступенькам. Именно в этом только смысле по Рубину цена производства является сложной категорией, так как прежде, чем ее изучить, необходимо исследовать отношения между товаропроизводителями³⁾, между капиталистами и рабочими. Лишь после изучения последних, возможно приступить к цене производства.

Таким образом, сложность цены производства по Рубину заключается в том, что она предполагает в качестве лишь своих предпосылок стоимость, капитал, прибавочную стоимость и пр.

II.

Второй автор, который довольно подробно занимался вопросом о том, какие производственные отношения отражаются в экономических категориях, — это А. А. Реуэль. Последний в своей работе⁴⁾, следуя в этом отношении в общем за И. И. Рубиным, рассматривает последовательно категории политической экономии, как мы их находим в «Капитале» Маркса⁵⁾.

Остановившись на тех задачах, которые стояли перед Марксом в III томе «Капитала», А. А. Реуэль совершенно правильно говорит:

«На первых страницах своего III тома Маркс указывает на тот круг вопросов, которые ему предстоит разрешить. Первый том рассматривал процесс капиталистического производства в чистом виде, все вторичные моменты, которые модифицируют этот процесс в его проявлении в конкретной действительности, остались вне поля зрения Маркса. Место анализа скрытого механизма капита-

¹⁾ Курсив мой. А. С.

²⁾ Очерк..., стр. 164. Курсив мой. А. С.

³⁾ Мы считаем, что в стоимости овестьвлены отношения не товаропроизводителей, а товаропроизводителей. Последнее понятие шире первого.

⁴⁾ «Предмет и метод политэкон», изд. «План. Хоз.», 1926 г.

⁵⁾ Необходимо отметить, что Реуэль не останавливается на зарплате и категориях II тома «Капитала». Точно так же им не выяснен вопрос о производственных отношениях, овестьвленных в издержках производства.

листического производства, который мы имеем в первом томе, должны занять те конкретные формы, в которых выступает капитал. От сущности капиталистического способа производства мы должны перейти к его проявлению, перед нами должна развернуться конкретная действительность капитализма во всем ее разнообразии. Если мы в первом томе «Капитала» имели товарное хозяйство, а затем одно капиталистическое предприятие, если там объектом нашего изучения являлись производственные отношения простого товарного хозяйства, а затем производственные отношения, имеющие место в одном капиталистическом предприятии, — то сейчас анализ усложняется, перед нами должна развернуться вся многогранность производственных отношений капиталистического общества. Производственные отношения между капиталистами и рабочими всех отраслей производства, — всей сферы приложения промышленного капитала, — производственные отношения, возникающие между различными подгруппами капиталистов, а также и землевладельцами, — вот та тема, которой посвящен третий том «Капитала». Этот усложненный анализ находит свое выражение в построении целого ряда новых категорий¹⁾. Это повторяется автором и на стр. 164.

После этого мы в праве ждать от Реуэля, что он покажет нам, какие же категории отражают «производственные отношения между капиталистами и рабочими всех отраслей производства», какие понятия являются стыком, связывающим в единство, пусть противоречивое, отношение капиталистов и рабочих — с одной стороны и в то же время — между отдельными слоями капиталистов — с другой. Но тише! мы ждем.

«...Категории «цена производства» и «общая норма прибыли» представляют собой производственное отношение между капиталистами, оперирующими в сфере приложения промышленного капитала²⁾».

Потом, при анализе торгового капитала и торговой прибыли, это определение уточняется. «Уточненные категории «общая норма прибыли» и «цена производства» выступили перед нами, как теоретическое выражение производственных отношений между капиталистами промышленными и торговыми³⁾».

Далее рассматриваются предпринимательский доход и процент (отношения между капиталистами), рента, которая у автора определяется лишь обще, как производственное отношение капиталистического общества.

Посулил нам Реуэль, но обещания своего не выполнил. Ожидание наше напрасно, мы так и не узнали, в каких же категориях овестьвляются «отношения между капиталистами и рабочими всех отраслей производства»... Повидимому, автор или многообещал, или же не свел концы с концами?

III.

После данного изложения точки зрения И. И. Рубина и А. А. Реуэля мы переходим к критике их положений и освещению затронутых вопросов.

¹⁾ Указ. соч., стр. 157—158.

²⁾ Там же, стр. 177.

³⁾ Там же, стр. 184.

Прежде всего, непростительным упрощением системы Маркса будет, если мы сочтем, что до изучения закона цен производства уже предполагается окончательное решение вопроса о стоимости, капитале, прибавочной стоимости и пр. Это неправильно. Здесь не происходит решение такой задачи, которая предполагает в качестве лишь предпосылки разрешение предыдущих задач. Здесь вопрос уясняется труднее в силу большей сложности объекта изучения. В ходе решения данной задачи продолжают разрешаться и предыдущие недоразрешенные задачи.

Поэтому нам представляется неправильным сравнение капиталистического способа производства с трехмерным пространством. И. И. Рубин говорит: «Если ограничиться этими тремя типами производственных отношений (т.е. отношений между товаропроизводителями, между капиталистами и рабочими, между группами промышленных капиталистов. А. С.), то капиталистическое хозяйство можно уподобить трехмерному пространству, ориентирование в котором возможно только при помощи трех измерений или трех плоскостей. Как трехмерное пространство не может быть сведено к одной плоскости, так теория капиталистического хозяйства не может быть сведена к одной теории трудовой стоимости. Но как для ориентирования в пространстве необходимо определить расстояние данной точки от каждой из трех исходных плоскостей, так теория капиталистического хозяйства уже предполагает учение о производственных отношениях между товаровладельцами, т.е. теорию трудовой стоимости»¹⁾.

С целью ориентировки в трехмерном пространстве мы измеряем длину, ширину и высоту. Посредством комбинаций частичных результатов мы получаем представление о данном пространстве. Чтобы измерить широту, нет никакой необходимости сначала измерять высоту или длину, а потом переходить к измерению широты. Можно сделать и наоборот. Если мы начинаем измерение с высоты, а потом длины, широты, то при измерении последних ничего не будет внесено нового в наши данные о высоте. Однако именно так упрощенно понимается Рубиным изучение капиталистического хозяйства Марксом.

«Заключивши исследование производственных отношений между товаровладельцами (теория стоимости) и между капиталистами и рабочими (теория капитала), Маркс,—говорит И. И. Рубин,—в III томе «Капитала» переходит к изучению производственных отношений между промышленными капиталистами разных сфер производства (теория цен производства)»²⁾. Итак, по Рубину, Маркс сначала измерил «длину» капиталистического способа производства, потом «глубину». Закончив это, он пришел к изучению «ширины» капиталистического общества. А чтобы получить цельное представление о производственных отношениях капитализма, Марксу осталось пригнать отдельные категории друг к другу, расставить их по порядку, подобно тому, как плотник, чтобы получить ящик, пригоняет прежде сделанные отдельные части его.

Если мы так будем понимать метод Маркса, то он (метод) из диалектического будет превращен в механический. На самом

¹⁾ Очерки..., стр. 164.

²⁾ «Очерки», стр. 163. Подчеркнутое, как увидим, не обмолвка.

деле, разве мы можем считать теорию стоимости завершенной, если ограничимся положениями I тома «Капитала»?

Задача Маркса состояла не только в том, чтобы установить закон стоимости (производственных отношений товаропроизводителей), но и показать на протяжении всего своего труда формы проявления этого закона стоимости¹⁾.

Маркс начинает свое изучение капиталистического способа производства с наиболее общих отношений между автономными товаропроизводителями. Потом они у него дифференцируются, конкретизируются, и эти отношения выступают перед нами сначала как отношения простых товаропроизводителей, потом как отношения между капиталистами и рабочими и т. д. О чем Рубин и сам говорит не в одном месте своей работы.

Никак нельзя утверждать, что изучение отношений между товаропроизводителями Маркс закончил в первых главах I тома «Капитала». Все производственные отношения капиталистического общества являются стоимостными отношениями, т.е. отношениями между формально независимыми товаропроизводителями. Маркс и проследил это на всех категориях политической экономии, установив внутри этих отношений качественные узлы в виде отношений между простыми товаропроизводителями, между капиталистами и рабочими и пр. По этой причине, в частности, вопреки мнению Бем-Баверка, мы несколько не удивляемся тому, что и в теории цен производства Маркс говорит о цене производства, как превращенной форме стоимости, ведет речь о рыночной стоимости, о совокупной стоимости. «Вся полемика Бема является поэтому тем более неудачной, что Маркс, ставя вопрос о совокупной ценности, делает это лишь для того, чтобы выделить из этой совокупной ценности отдельные, важные для капиталистического процесса распределения, части. У Маркса идет речь о вновь создаваемой в течение данного производственного периода ценности и об отношении, в котором эта вновь созданная ценность распределяется между классом рабочих и классом капиталистов, образуя таким путем доход трех главных классов»²⁾.

Правильно говорит Рубин, что «теория цен производства должна непременно найти свой базис в теории трудовой стоимости. Но, с другой стороны, последняя должна найти свое дальнейшее развитие в завершении в первой»³⁾.

Стоимость, капитал исторически существовали до цен производства, но в развитом капитализме существование их предполагает наличие цены производства, прибыли и пр. как неизбежной формы их проявления⁴⁾. Отношения между товаропроизводителями исторически появляются раньше отношений между капиталистами и рабочими и внутри этих классов, но в развитом капиталистическом обществе первые отношения неизбежно становятся вторыми. Поэтому первые отношения в своей разви-

¹⁾ «Задача науки состоит именно в том, чтобы объяснить, как проявляется закон стоимости; следовательно, если бы захотелось сразу «объяснить» все кажущиеся противоречиями закону явления, то пришлось бы дать науку раньше науки» (Письмо Маркса Кугельману от 11/VII 1868 г. См. «Письма» «Моск. Раб.», 1923 г., стр. 177).

²⁾ Р. Гильфердинг, Бем-Баверк как критик Маркса, стр. 41, изд. «Моск. Раб.», 1923 г.

³⁾ «Очерки по теории стоимости Маркса», стр. 190.

⁴⁾ Ср. «Очерки», стр. 25.

той форме предполагают вторые. А отсюда, и изучение производственных отношений между товаропроизводителями мы не можем ограничить лишь их общей формой, и перед нами стоит задача проследить «внутреннее и внешнее развитие» этих отношений. Вот почему мы считаем неправильным утверждение, что Маркс закончил изучение производственных отношений между товаропроизводителями в I томе «Капитала».

Точно так же неправильно положение, что изучение отношений между капиталистами и рабочими Марксом закончено в I томе «Капитала», в теории капитала.

Разве теория капитала и прибавочной стоимости будет наполнена конкретным содержанием, если мы остановимся на I томе и не будем искать ее завершения в теории цен производства, средней прибыли, процента и пр.?¹⁾

Вся беда критиков Маркса, находящих противоречие между I и III томами «Капитала» заключается в том, что они механически соединяли теорию стоимости и теорию капитала и прибавочной стоимости с теорией цен производства, средней прибыли. Они предполагали, что первые — это одно, а в III томе Маркс стал говорить уже совершенно о другом.

Теория прибавочной стоимости Маркса, как она изложена и обоснована в I томе «Капитала», ясно нам говорит о той эксплуатации, которой подвергается наемный рабочий на любой капиталистической фабрике. На данных этой теории мы четко представляем зависимость пролетариев от капиталистов, хозяев средств производства. Но перед нами еще не вскрыта материальная основа классовой солидарности как среди пролетариата, так и между отдельными капиталистами.

Для рабочего на данной стадии нашего анализа понятие его подчиненное положение в отношении данного капиталиста, но это еще недостаточно для того, чтобы уяснить классовый характер этой эксплуатации. Какое дело рабочему данного предприятия до рабочих других предприятий? Почему он вынужден бороться не только против своего хозяина, но, и главным образом, против класса капиталистов? Какое должно быть его отношение к капиталистам торговым, денежным и пр.? Чем объясняется тот факт, что на известной ступени развития борьба против отдельных капиталистов неизбежно превращается в борьбу против капитализма?

На все эти вопросы, связанные с классовым характером эксплуатации, может быть дан ответ лишь тогда, когда отношения капиталистической эксплуатации мы начинаем изучать с привлечением в круг нашего анализа и отношений между капиталистами, когда наше рассмотрение отношений между капиталистами и рабочими пополним изучением отношений внутри класса капиталистов. Это и сделал Маркс в III томе «Капитала», в теории средней прибыли и цен производства, которая говорит нам, что эксплуатация пролетариата производится капиталистами не в одиночку, а коллективно (правда, рассыпным строем); что эксплуатация рабочих данного предприятия происходит не только со сто-

¹⁾ «Благодаря тому, что он (т.е. Рикардо. А. С.) оставил без разрешения проблему превращения стоимости в цены производства, его теория стоимости и прибавочной стоимости также осталась несовершенной и потому противоречивою» (Р. Гильфердинг, Теория приб. стоимости от Рикардо до Джонса, сб. «Основные проблемы...», стр. 337. Гиз, 1922 г.).

роны владельца последнего, но всего класса капиталистов; что положение эксплуатируемого зависит не от того, что именно данный рабочий не имеет средств производства, а данный хозяин его является собственником их; что суть дела здесь не в личностях, а в том, что все общество построено на эксплуатации и классовой эксплуатации.

Таким образом, лишь в III томе «Капитала» мы находим завершение как теории стоимости, так и теории капитала и прибавочной стоимости, только здесь заканчивается наше изучение производственных отношений товаропроизводителей, капиталистов и рабочих, которые теперь выступают перед нами уже как классовые отношения.

IV.

Отсюда нам кажется ошибочным комментирование И. И. Рубиным Энгельса. В «Классиках политич. экономии» (Гиз, 1926 г., стр. 293—294) читаем:

«Энгельс в предисловии ко II тому «Капитала» указал, что школа Рикардо около 1830 года потерпела крушение на прибавочной стоимости», а именно на двух пунктах; она не сумела объяснить: 1) каким образом «живой труд при обмене на капитал имеет меньшую стоимость, чем овеществленный труд, на который он обменивается», и 2) каким образом равные капиталы в «равное время производят в среднем равную прибыль, независимо от того, много или мало живого труда они применяют...»¹⁾. Первая из двух указанных проблем встает при переходе от трудовой стоимости (т.е. производственных отношений между товаропроизводителями) к прибавочной стоимости (т.е. к производственным отношениям между капиталистами и рабочими). Вторая проблема встает при переходе от прибавочной стоимости к равной норме прибыли (т.е. к производственным отношениям промышленных капиталистов)²⁾. Не случайно, что обе проблемы, на которых потерпела крушение классическая школа, лежат, так сказать, на стыке, в точках перехода экономического исследования от одного типа производственных отношений людей к другому.

Совершенно верно, что школа Рикардо потерпела крах как раз на грани перехода от одного типа производственных отношений к другому, но этот переход у Рубина получается механический.

Правильно ли Рубин определяет конкретно эти типы производственных отношений? Мы согласны в этом отношении с констатированием первой проблемы, но считаем, что подчеркивание слова суживают вторую проблему, неправильно определяя центр тяжести ее. Прежде всего, как надо понимать слова Энгельса, что школа Рикардо потерпела крах на двух пунктах прибавочной стоимости? По нашему мнению, это означает, что здесь подчеркиваются две стороны одних и тех же производственных отношений (прибавочной стоимости), а, именно, отношений между капиталистами и рабочими. Отличие одного пункта от другого заключается не по той линии, что в первом случае —

¹⁾ «Капитал», т. II, стр. XXVII—XXVIII, изд. «Коммунист», М. 1918 г.
²⁾ Курсив наш. А. С.

одни отношения, во втором—другие, а в том, что сначала изучаются производственные отношения между капиталистами и рабочими независимо от отношений между отдельными группами капиталистов, а потом те же самые отношения в более конкретном их выражении, когда в круг нашего рассмотрения вводится плюс к тому, что мы исследовали прежде, еще и отношения внутри класса капиталистов (средняя прибыль). Поэтому-то Энгельс и имел право объединить оба эти пункта и сказать, что «школа Рикардо... потерпела крушение на прибавочной стоимости».

Какая задача стояла перед Марксом при решении второй проблемы? В первом томе он установил, что источником прибавочной стоимости является переменный капитал, прибавочный: труд наемного рабочего. Так теоретически вскрыта была Марксом сущность производственных отношений капиталистов и рабочих. Но, с другой стороны, еще до Маркса был установлен факт (который был известен и школе Рикардо), что равные капиталы независимо от органического состава приносят равную прибыль. Задача Маркса состояла не столько в объяснении самого факта уравнивания прибыли путем конкуренции,—это понятно было даже для самого поверхностного наблюдателя. Не трудно было также Марксу, основателю теории товарного фетишизма, увидеть за уравниванием прибылей, за средней прибылью отношения между капиталистами.

И вот, Маркс, с одной стороны, доказал, что прибавочная стоимость создается переменным капиталом, с другой стороны, он имел еще до него установленный факт средней прибыли, которая получается благодаря конкуренции и переливанию капиталов из одной отрасли в другую. Иначе говоря, обнажая «вещные» категории, он имел на данной стадии изучения капиталистической экономики, с одной стороны, отношения капиталистов и рабочих, с другой—отношения капиталистов друг к другу. Перед ним и встала задача—через нахождение промежуточных звеньев между прибавочной стоимостью и средней прибылью установить причинную зависимость их.

Два положения: 1) равные капиталы производят различной величины прибавочную стоимость в зависимости от величины переменной части (отношения между капиталистами и рабочими). 2) равные капиталы приносят равную прибыль (отношения между капиталистами).—Эти два противоположных положения необходимо было свести воедино, установить их единство, как единство противоположностей.

Итак, Марксу необходимо было изучить не только производственные отношения между группами капиталистов (это только часть проблемы), а, главным образом, единство, взаимодействие двух типов производственных отношений: отношения между капиталистами и рабочими со включением отношений и между отдельными группами капиталистов. Вот в чем заключается центр тяжести второй проблемы. Эта задача Марксом и была разрешена в теории цен производства¹⁾.

¹⁾ Маркс так формулирует вторую проблему: «Вторая трудность (Рикардовой системы. А. С.) состояла в том, что капиталы одинаковой величины, каково бы ни было их органическое строение, дают одинаковые прибыли или среднюю норму прибыли. В действительности это сводится к проблеме, как ценности превращаются в цены производства» (Теория, III, 149).

И во всем третьем томе «Капитала» Маркс не забывает (не только в качестве лишь предпосылок) основные производственные отношения капиталистического общества между капиталистами и рабочими, которые им анализируются со все большей конкретизацией через привлечение в круг исследования отношений между промышленными капиталистами, потом промышленными и торговыми, денежными капиталистами, землевладельцами, и последние неизменно им связываются в категории цены производства с основным производств. отношением. Другими словами Маркс и говорит об этом на первых страницах III тома. Намечая тот круг вопросов, которые стоят перед ним, он пишет:

«В первой книге были исследованы те явления, которые представляют капиталистический процесс производства, взятый сам по себе, как непосредственный процесс производства, при чем оставались в стороне все вторичные воздействия чуждых ему обстоятельств. Но этим непосредственным процессом производства еще не исчерпывается жизненный путь капитала. В действительном мире он дополняется процессом обращения, который составил предмет исследования второй книги. Там—именно в третьем отделе, при рассмотрении процесса обращения как посредствующего в процессе общественного воспроизводства—оказалось, что процесс капиталистического производства, рассматриваемый в целом, представляет процесс производства и обращения. Что касается задачи этой третьей книги, она не может заключаться в том, чтобы представить общие рассуждения относительно этого единства. Напротив, здесь необходимо найти и описать те конкретные факты, которые возникают из рассматриваемого как целое процесса движения капитала. В своем действительном движении капиталы противостоят друг другу в таких конкретных формах, по отношению к которым форма капитала в непосредственном процессе производства, а также его форма в процессе обращения являются лишь особыми моментами. Следовательно, те формы капитала, которые мы описываем в этой книге, шаг за шагом приближаются к той форме, в которой они выступают на поверхности общества, в действительности различных капиталов один на другой, в конкуренции и в обыденном сознании деятелей производства»¹⁾.

«Капиталистический процесс производства, взятый сам по себе, как непосредственный процесс производства», есть процесс производства прибавочной стоимости. Изучая его, мы исследуем внутреннюю сторону производственных отношений капиталистов и рабочих. Это Маркс сделал в I томе «Капитала».

Процесс обращения есть процесс реализации прибавочной стоимости. Здесь мы имеем дело с отношениями между покупателями и продавцами, в роли которых могут выступать и рабочие и капиталисты. Эти отношения еще не конкретизированы и достаточно оголены от той фетишистской оболочки, под которой они выступают в действительности, хотя и появляются новые категории основного, оборотного капитала и пр. Предполагается лишь наиболее общая форма производственных отношений между самостоятельными товаропроизводителями (стоимость). Здесь, в обращении, рабочий выступает таким же полноправным гражданином, как и все остальные контрагенты. Капиталисты еще не

¹⁾ Капитал, т. III, ч. 2, стр. 1—2, Гиз. 1922.

подразделены на отдельные слои. Рассмотрение целого ряда фетишистских форм пока отложено. Это—содержание II тома.

Но уже в III отд. II тома Маркс пришел к тому, что процесс капиталистического производства, рассматриваемый в целом, представляет единство процесса производства и обращения, т.е. единство производственных отношений, как между капиталистами и рабочими (и в производстве и в обращении), так и между отдельными группами и слоями капиталистов. Изучению этого единства и посвящен третий том, где те и другие все более и более конкретизируются, где первые выступают как классовые отношения, а вторые—как отношения между промышленными, торговыми, денежными капиталистами. Марксу необходимо было «найти и описать те конкретные формы, которые возникают из рассматриваемого как целое процесса движения капитала». Эти формы и найдены были в виде издержек производства, прибыли, цены производства...

У.

Цена производства распадается на издержки производства и среднюю прибыль. Начало III тома посвящено анализу, прежде всего, издержек производства.

«Часть стоимости товара, возмещающая цену потребленных средств производства и цену примененной рабочей силы, возмещает лишь то, чего стоит товар для капиталиста, и потому образует для него издержки производства»¹⁾. Для поверхностного наблюдателя и для самого капиталиста кажется, что «категория издержек производства не имеет никакого отношения к образованию стоимости товара или к процессу возрастания стоимости»²⁾; и представляет лишь часть цены от реализованных товаров, возмещающей затраченный капитал. Однако мы знаем, что издержки производства по существу своему являются лишь формой проявления части постоянного капитала и капитала переменного, т.е. формой проявления овеществленных отношений между капиталистами и рабочими. «Обще обоим частям издержек производства... только одно: обе они суть те части товарной стоимости, которые возмещают авансированный капитал»³⁾, иначе говоря, обе эти части являются формой воспроизводства капиталиста и рабочего, формой восстановления между ними отношений.

С этими отношениями мы имели дело и в I томе «Капитала», разбирая категории капитала постоянного и переменного, прибавочную стоимость, рабочую силу—товар, стоимость рабочей силы, зарплату. В I томе отношения между капиталистами и рабочими выступали перед нами во всей своей наготы, «в своей внутренней жизни», хотя необходимо все же оговориться, так как стоимость рабочей силы представлялась нам не просто в форме цены этого товара, а как цена труда, зарплата. В последнем случае мы уже наблюдали двойную фетишистскую оболочку. В категории же издержек производства мы имеем еще больше фетишистского наложения на производственные отношения между капиталистами и рабочими:

¹⁾ Капитал, т. III, ч. 2, стр. 2.

²⁾ Там же, стр. 3.

³⁾ Там же, стр. 5.

Категория заработной платы создает впечатление, что труд рабочего оплачивается целиком. По мере же приближения нашего анализа к поверхности капиталистического способа производства происходит дальнейшее затушевывание истинной природы капиталистических отношений и в издержках производства «часть капитала, затраченная на труд, только тем отличается от части капитала, затраченной на средства производства, напр., на хлопок или уголь, что она служит для оплаты материально отличного элемента производства, но отнюдь не тем, что в процессе образования стоимости товара, а потому и в процессе увеличения стоимости она играет функциональную отличную роль... Различие между постоянным и переменным капиталом исчезло»¹⁾. Это сведение рабочего на положение материального фактора производства заработной платы на часть издержек производства является показателем социального порабощения пролетариата.

Вместо разделения капитала с точки зрения производства прибавочной стоимости, «по отношению к образованию самих издержек производства заявляет о себе только одно различие, различие (с точки зрения обращения А. С.) между основным и оборотным капиталом»²⁾. А ведь в обращении отношения капиталистов к рабочим формально ничем не отличаются от отношений капиталистов друг к другу, что и выставляется на первый план на капиталистической поверхности.

Но как бы ни замаскировывались отношения между капиталистами и рабочими, они не перестают быть таковыми, хотя и с другой вывеской, чем при первоначальном анализе. Издержки производства являются теоретическим выражением тех же самых общественных отношений, что и капитал (постоянный и переменный), стоимость рабочей силы, зарплата, но в отличие от них они: 1) появляются в результате взаимодействия процесса производства и обращения, 2) категория конкретная, внешняя форма проявлений указанных категорий. Издержки производства, как конкретная категория, содержат в себе абстрактные (постоянный и переменный капитал). Здесь мы имеем не только «сущность» производственных отношений капиталистов и рабочих, но и «явление».

В издержках производства овеществлены производственные отношения между капиталистами и рабочими, и нам нельзя это забывать при определении цены производства как производственного отношения.

Еще большее обволакивание фетишистскими формами отношений эксплуатации происходит в результате превращения нормы прибавочной стоимости в норму прибыли, прибавочной стоимости в прибыль, когда различие между постоянным и переменным капиталом, объективным и субъективным фактором еще больше стирается и излишек над издержками производства представляется порождением всего авансированного капитала.

Прибавочная стоимость и норма прибавочной стоимости представляют, относительно, нечто невидимое, требующее раскрытия общественного, между тем как норма прибыли, а потому и такая

¹⁾ Там же, стр. 6.

²⁾ Там же, стр. 7.

форма прибавочной стоимости, как прибыль, обнаруживаются на поверхности явлений»¹⁾.

«В прибавочной стоимости отношение между капиталом и трудом обнажено; в отношении капитала и прибыли, т.е. капитала и прибавочной стоимости, какую она является, с одной стороны, как реализованный в процессе обращения избыток над издержками производства товара, а с другой—как избыток, получающий более близкое определение при посредстве его отношения ко всему капиталу,—капитал является как отношение к себе самому, как отношение, в котором он как первоначальная сумма стоимости обособляется от новой стоимости, созданной им же самим. Что он производит эту новую стоимость во время своего движения через процесс производства и процесс обращения,—это имеется в сознании. Но каким образом это совершается, это теперь затемнено и, как кажется, происходит от принадлежащих капиталу сокровенных свойств.

Чем дальше мы следим за процессом увеличения стоимости капитала, тем более затемняется капиталистическое отношение и тем менее раскрывается тайна его внутреннего механизма»²⁾.

Тот факт, что «капитал является как отношение к себе самому», получается вследствие превращения рабочего в составную часть издержек производства наравне со средствами производства, что в свою очередь объясняется условиями не только производства и не только обращения, а условиями взаимодействия того и другого³⁾. Следовательно, отношение капитала к себе самому устанавливается лишь в силу того, что капитал внутри себя несет отношение к наемному рабочему⁴⁾.

«В процессе обращения вступает в действие помимо рабочего времени время обращения, соответственно ограничивающее массу прибавочной стоимости, которую можно реализовать за известный промежуток времени. На непосредственный процесс производства оказывают определяющее влияние и другие моменты, связанные с обращением. И тот и другой—и непосредственный процесс производства и процесс обращения—постоянно переходят один в другой, проникают друг друга и таким образом постоянно затемняют свои разграничительные признаки. Производство прибавочной стоимости вообще приобретает в процессе обращения, как показано раньше, новые определения: капитал проходит круг своих превращений; наконец, из своей, так сказать, внутренней органической жизни он вступает в отношения внешней жизни. в отношения,

¹⁾ Капитал, т. III, ч. 1, стр. 17.

²⁾ Там же, стр. 22. Курсив Маркса.

³⁾ Превращение прибавочной стоимости в прибыль определяется как процессом обращения, так и процессом производства» (Капитал, т. III, ч. 2, стр. 366, изд. 1923 г.).

⁴⁾ То же самое мы наблюдаем и в категориях «торговый капитал» и «торговая прибыль», «ссудный капитал» и «процент». В этих категориях тоже скрывается отношение к наемному рабочему, но в отличие от разбираемого случая здесь это отношение не непосредственное, а косвенное. Это различие следует иметь в виду при интерпретации слов Маркса, что в «отношениях внешней жизни... противостоят друг другу не капитал и труд, а... капитал и капитал»...

где противостоят друг другу не капитал и труд, а, с одной стороны, капитал и капитал, с другой стороны, индивидуумы опять-таки просто, как покупатели и продавцы; время обращения и рабочее время перекрещиваются на своем пути, и таким образом представляется, как будто то и то и другое одинаково определяют прибавочную стоимость; та первоначальная форма, в которой противостоят друг другу капитал и наемный труд, замаскируется вмешательством отношений, которые кажутся независимыми от нее; сама прибавочная стоимость представляется не продуктом присвоения рабочего времени, а избытком продажной цены товара над издержками его производства, благодаря чему эти последние легко могут показаться его действительной стоимостью (*valeur intrinsèque*), так что прибыль кажется избытком продажной цены товаров над их имманентной стоимостью»¹⁾.

Мы намеренно привели весь абзац целиком, так как Рубин, механически выхватывая лишь средину его, старается найти в нем подтверждение своей неправильной интерпретации как метода Маркса в целом, так, в частности, и цены производства как производственного отношения.

Приведя часть этой цитаты, Рубин приходит к вышеуказанному нами выводу о трех типах производственных отношений²⁾. По И. И. Рубину, таким образом, «отношения внешней жизни» капитала равны отношениям капиталистов друг к другу, изучению которых, по его мнению, посвящен III том. А мы знаем, что отношения между отдельными группами и слоями капиталистов устанавливаются лишь в процессе обращения; отсюда следует, что Рубин вместо подзаголовка III тома—«процесс капиталистического производства, взятый в целом», или «единство процесса производства и обращения» ставит «процесс обращения». На самом деле. Если в I томе Маркс изучил капиталистический процесс производства (отношения между капиталистами и рабочими), во II—процесс обращения (отношения между покупателями и продавцами), а в III—отношения капиталистов друг к другу, т.е. тот же процесс обращения, установив его единство с процессом производства, повидимому, лишь через прилаживание процесса обращения к процессу производства наподобие портного, пригоняющего сюртук к манекену³⁾,—то почему и не изменить этот подзаголовок?

Непосредственный процесс производства капитала является отношением капиталистов к рабочим, процесс же обращения—отношением капиталистов друг к другу и к рабочим, где те и другие выступают лишь как покупатели и продавцы. В первом

¹⁾ Капитал, т. III, ч. 1, стр. 17—18. Курсив наш. А. С.

²⁾ См. «Очерки», стр. 27.

³⁾ Разве не похожа на бездушный манекен сущность капиталистического производства, отношения между капиталистами и рабочими в производстве, если они по Рубину никак и ни в чем не могут проявить я, а непосредственно не даны. По существу говоря, у Рубина категории постоянного капитала превращаются в своего рода непостижимую «вещь в себе», в теоретическую фикцию, так как в его схеме нет конкретной категории, содержащей их в себе. Цена производства с ее элементами по Рубину есть отношения лишь капиталистов между собой.

создается прибавочная стоимость, во втором—лишь реализуется. Но то и другое в действительности не отделены китайской стеной и не только стоят друг над другом, как верхний этаж дома на нижнем, а взаимно пронизывают друг друга (не теряя различий), образуя общий поток «капиталистического процесса производства, взятого в целом». «На непосредственный процесс производства,—как говорит Маркс в приведенной цитате,—оказывают определяющее влияние и другие моменты, связанные с обращением. И тот и другой—и непосредственный процесс производства и процесс обращения—постоянно переходят один в другой, проникают друг друга и таким образом постоянно затемняют свои характерные разграничительные черты». Вот в результате этого взаимопроникновения и появляются такие категории, как цена производства с ее элементами—издержками производства и прибылью, которые представляются нам результатом одинаковой роли в их образовании как процесса производства, так и процесса обращения. Между тем мы знаем, что «издержки производства приобретают в капиталистическом хозяйстве ложный вид категории, относящейся к самому производству стоимости»¹⁾, т. е. категории, отображающей отношения капиталистов к рабочим. Точно так же нам известно, что прибыль есть превращенная форма прибавочной стоимости, т. е. результат тех же отношений и лишь на основе которых устанавливаются взаимные отношения капиталистов.

В результате взаимодействия процесса производства и процесса обращения, когда выступают на сцену указанные категории, «та первоначальная форма, в которой противостоят друг другу капитал и наемный труд, замаскировывается вмешательством отношений (капиталистов друг к другу. А. С.), которые кажутся независимыми от нее»²⁾. Но замаскировка первоначальной формы (постоянного и переменного капитала) отношений между капиталом и трудом приводит лишь к появлению новой формы этих отношений, а не к устранению их. Они остаются, но только прикрытые более густой вуалью.

Издержки производства, прибыль, цена производства являются категориями, отражающими единство процесса производства и процесса обращения, единство производственных отношений между капиталистами и рабочими и капиталистов друг к другу.

Что же означает выражение Маркса, что капитал «из своей, так сказать, внутренней органической жизни вступает в отношения внешней жизни»? По Рубину отношения внешней жизни равны отношениям капиталистов друг к другу, по нашему же мнению, как это вытекает из предыдущего, здесь мы констатируем не только эти отношения, но и производственные отношения между капиталистами и рабочими, но уже не в такой абстрактной форме, как постоянный и переменный капитал, а в конкретной форме зарплат, основного и оборотного капитала, издержек производства, цены производства.

В цене производства мы наблюдаем не только изменение внешнего вида производственных отношений между капиталистами и рабочими. Ведь сама форма есть существенная часть содер-

¹⁾ Капитал, т. III, ч. 1, стр. 3.

²⁾ Курсив мой. А. С.

жания, поэтому в цене производства эти отношения выступают перед нами полнее, богаче по содержанию, как классовые отношения, что происходит благодаря превращению прибыли во всеобщую, среднюю прибыль.

В теории капитала и прибавочной стоимости Маркс осветил отношения капиталистов к рабочим, как мы их имеем на каждом, отдельно взятом, капиталистическом предприятии. В средней же прибыли у Маркса идет речь о распределении прибавочной стоимости, об отношениях отдельных групп капиталистов друг к другу.

«Конкуренцией (перенос капитала или отлив капитала из одной отрасли промышленности в другую) достигается то, что капиталы одинаковой величины в различных предприятиях, несмотря на их различный органический состав, приносят одну и ту же среднюю норму прибыли. Другими словами: ту среднюю прибыль, какую приносит капитал в 100 ф. в известном предприятии, он приносит не как именно этот своеобразно помещенный капитал и не сообразно с тем соотношением, в каком он производит прибавочную стоимость, но как соответственная часть всего капитала класса капиталистов. Это пай, и дивиденды на него выплачиваются пропорционально величине этого пая из общей суммы прибавочной стоимости (или неоплаченного труда), которую приносит весь перемещенный капитал целого класса, т. е. капитал, затраченный на заработную плату»¹⁾.

«...Каждый отдельный капиталист точно так же, как и совокупность капиталистов каждой отдельной сферы производства, участвует в эксплуатации всего рабочего класса всем капиталом и в степени этой эксплуатации и участвует не только в силу общей классовой симпатии, но и непосредственно экономически; потому что,—предполагая данными все прочие условия, в том числе стоимость всего авансированного постоянного капитала,—средняя норма прибыли зависит от степени эксплуатации всего труда всем капиталом»²⁾.

Итак, мы имеем здесь математически точное объяснение того, почему капиталисты, обнаруживая столь мало братских чувств при взаимной конкуренции друг с другом, составляют это же время поистине масонское братство в борьбе с рабочим классом как целым»³⁾.

Таким образом, в категории средней прибыли овеществлены производственные отношения отдельных групп капиталистов, при чем последние выступают здесь как класс. Но чтобы получить среднюю прибыль, капиталисты вынуждены приспособляться к условиям производства и по ним продавать свои товары, т. е. связываться не только между собой, но и устанавливать отношения к пролетариату, который в этой связи тоже выступает как класс. Здесь мы получаем ответ на вопросы, связанные с классовым характером капиталистической эксплуатации.

¹⁾ Маркс, письмо Кугельману от 2/VIII 1862 г. См. «Письма», 2-е изд., стр. 155—156. Курсив Маркса.

²⁾ Там же, стр. 176. Курсив наш. А. С.

³⁾ Там же, стр. 177—178. Курсив наш. А. С.

VI.

Цена производства представляет из себя превращенную форму стоимости. Это превращение произошло потому, что взамен социального равенства, которое мы имели в простом товарном хозяйстве, при капитализме выступает классовое неравенство. Непосредственные производители, частные собственники на средства производства превратились, с одной стороны, в капиталистов, монополистов средств производства, с другой стороны, в наемных рабочих, не имеющих ничего, кроме своих рабочих рук. Но поскольку основа того и другого общества—стихийная связь между производителями через «вещи» в силу наличия разделения труда и частной собственности—остается той же самой, то в обмене и во втором случае мы наблюдаем формальное равенство, хотя на ряду с этим в том же обмене проявляется и неравенство, общественное подчинение труда капиталу. То и другое увязывается в категории цены производства¹⁾.

В простом товарном хозяйстве продукт является результатом трудовых затрат самого собственника средств производства, отсюда равновесие общества поддерживается через обмен товаров по стоимости. В капиталистическом же обществе собственники средств производства сам не трудятся и относятся к трудовым затратам, поскольку они чужие, совершенно безразлично. Его интересует прибыль. Равенство собственников средств производства находит свое выражение уже в равенстве норм прибылей, что осуществляется в продаже товаров по ценам производства. Но в этих же ценах производства выступает и социальное неравенство. В издержках производства подчеркивается, что значение рабочего не больше остальных факторов производства. Таков результат, если мы берем обращение в связи с производством. Однако в том же обмене, в продаже рабочей силы мы видим и формальное равенство рабочего. Он на правах свободного гражданина получает за свой товар эквивалент.

Стоимость является стихийным регулятором производства в товарном обществе, но функция распределения труда выполняется им различно, по форме, для простого товарного и капиталистического хозяйства. Поскольку в простом товарном хозяйстве производитель непосредственно связан со средствами производства, постольку здесь под влиянием изменения цен происходит одновременная перерасстановка и средств производства и рабочей силы. В капиталистическом же обществе, в силу оторванности непосредственных производителей от средств производства, стоимость тоже регулирует, перераспределяет труд, но уже не непосредственно. «Весь капиталистический процесс производства регулируется при посредстве цены продуктов. Но регулирующие цены производства, в свою очередь, регулируются процессом уравнивания норм прибыли и соответственным распределением капитала между различными отраслями общественного производства»²⁾. Только за движущей волной капитала тянется ра-

¹⁾ Ср. Р. Гильфердинг, Финанс. капитал, стр. 23, Петр. 1920 г., и «Бем-Баверк как критик Маркса», стр. 68—69, «Моск. Раб.», 1923 г.
²⁾ Капитал, т. III, ч. 2, стр. 421.

бочая сила¹⁾. То, что передвижение капитала носит первичный характер, а распределение живого труда—вторичный, показывает нам, что дирижером над производством является капитал. И с этой стороны проглядывает социальное порабощение рабочего класса капиталом.

Но отсюда неправильно было бы делать вывод, что цена производства, как регулятор, является узлом отношений только капиталистов друг к другу.

Ведь закон цен производства есть превращенный закон стоимости, т.-е. закон распределения общественного труда, и эту функцию он выполняет только благодаря тому, что является законом установления отношений между капиталистами и рабочими и внутри этих классов. Если бы он представлял из себя закон отношений лишь между капиталистами, то он не был бы регулятором капиталистического процесса, взятого в целом.

Цена производства есть конкретная «вещная» форма совокупности производственных отношений между классом капиталистов и классом наемных рабочих. Это выступление классов произошло потому, что мы привлекли в наше поле зрения и отношения между отдельными группами капиталистов. Цену производства, как производственное отношение, неверно отождествлять со средней прибылью. Последняя является лишь частью цены производства, категорией, представляющей отношения между отдельными группами капиталистов. Цена производства—категория не только внутриклассовая (класса капиталистов), но и межклассовая.

До сего времени наш анализ предполагал существование только рабочего класса и промышленных капиталистов. Между тем, в действительной жизни мы имеем еще капиталистов торговых, денежных и землевладельцев.

Торговые капиталисты непосредственно не эксплуатируют рабочих, хотя и имеют с ними непосредственную связь при продаже товаров. Но если эти товары продаются по «нормальной» цене, то в последнем отношении мы не увидим ничего специфического для отношения между покупателями и продавцами. Однако на ряду с этим купец все же эксплуатирует промышленный пролетариат, косвенно, через промышленного капиталиста, получая часть прибавочной стоимости. В связи с этим на нашем пути встречаются новые категории: промышленный и торговый капитал, промышленная и торговая прибыль, представляющие два полюса отношений между промышленными и торговыми капиталистами. Торговый капитал, получая в форме торговой прибыли свою долю прибавочной стоимости, тем самым участвует, правда, не непосредственно, в общеклассовой эксплуатации капиталом пролетариата. Понятие средней прибыли конкретизируется, и вместо общей формы ее мы имеем промышленную и торговую среднюю прибыль. Цена производства включает уже и отношения между промышленными и торговыми капиталистами.

Далее средняя прибыль распадается на предпринимательский доход и процент, т.-е. отношения между капиталистами денежных и капиталистами функционирующими, что, в свою очередь,

¹⁾ Мы говорим об абстрактном капитализме. В действительном же капитализме с остатками докапиталистических форм может происходить и обратное.

опять включается в цену производства. Наконец, после рассмотрения последней части цены производства, ренты (отношения землевладельцев к капиталистам, а через них к рабочим) заканчивается наше изучение форм производственных отношений капиталистического общества¹⁾.

Теперь капиталистические производственные отношения выступают перед нами конкретно, как отношения классов капиталистов, рабочих и землевладельцев. Единство этих отношений находит свое выражение в категории «цена производства». Именно это, по нашему мнению, и отмечает Маркс в письме к Энгельсу от 30/IV—1868 г. Намечая содержание седьмого отдела III тома «Капитала», Маркс говорит: «Наконец, мы дошли до форм проявления, которые вульгарным экономистам служат исходным пунктом: земельная рента, происходящая из земли, прибыль (процент)—из капитала, заработная плата из труда. С нашей точки зрения все принимает иной вид. Кажущееся движение объясняется. Далее опровергнута смитовская бессмыслица, ставшая основой всей политической экономии до сего времени, что цена товаров складывается из тех доходов, т. е. только из переменного капитала (заработной платы) и сверхстоимости (рента, прибыль, процент). Все движение в целом в этой форме. Наконец, так как эти три (заработная плата, рента, прибыль (процент)) являются источниками дохода трех классов—земельных собственников, капиталистов и наемных рабочих—классовая борьба, как заключение, где, наконец, находит свое завершение вся эта история»²⁾.

После характеристики триединой формулы, как высшей степени фетишизации производственных отношений капиталистического общества, разбора смитовского порочного круга и противопоставления последнему положения, что цена производства, как превращенная форма стоимости, включает не только эти три дохода, но еще и часть цены постоянного капитала, Маркс намеревался возвратиться опять к проблеме воспроизводства общественного капитала, которую он решил во II томе «Капитала», дабы представить движение капиталистического производства в целом уже в более конкретной форме, именно, в форме цены производства. Об этом и говорит подчеркнутая нами фраза³⁾.

Воспроизводство всего общественного капитала есть воспроизводство всей совокупности капиталистических отношений.

¹⁾ Абстрактный капитализм возможен и без абсолютной ренты. Если же предполагать существование и последней, то мы ее тоже должны рассматривать в этой связи, так как она является границей распределения прибавочной стоимости.

²⁾ «Письма», стр. 175, 2 изд., «Моск. Раб.», 1923 г. Первая разрядка наша. А. С.

³⁾ «Мы видим, что поставленная здесь проблема уже решена при исследовании воспроизводства всего общественного капитала, книга II, отдел III. Здесь мы возвращаемся к этому предмету прежде всего потому, что там прибавочная стоимость еще не была нами развернута в тех ее формах, которые она принимает как доход: прибыль (предпринимательский доход плюс процент) и рента, а потому и не могла быть исследована в этих формах, затем также и потому, что как раз в форме заработной платы, прибыли и ренты примыкает невероятный промах в анализе, проходящий через всю политическую экономию, начиная с А. Смита» (Капитал, т. III, ч. 2, стр. 374).

Выполненная часть этой работы осталась нам в виде набросков, из которых составлены VII отделы III тома «Капитала» и III т. «Теории». См. также письмо Маркса Энгельсу от 6 июля 1863 г.

Цена производства представляет конкретную фетишистскую оболочку, в которой происходит это воспроизводство.

«Закон ценности есть закон равновесия простой товарной системы производства. Закон цен производства есть закон равновесия превращенной товарной системы, капиталистической системы. Закон рыночных цен есть закон колебаний этой системы. Закон конкуренции есть закон постоянного восстановления нарушенного равновесия. Закон кризисов есть закон необходимого периодического выведения системы из равновесия и восстановления его»¹⁾.

Такое выведение капиталистической системы из равновесия, каким являются кризисы, очевидно касается всей совокупности капиталистических производственных отношений и внешне проявляется в разрыве движения отдельных элементов, на которые распадается цена производства, и в несоответствии во время кризиса установившейся цены производства рыночным ценам.

Цена производства, выполняющая функции регулирования всех производственных отношений, в силу своей внутренней противоречивости взрывается. В этот-то момент и наступает кризис.

Цена производства является тем фокусом, в котором концентрируется проявление всех производственных отношений капиталистического общества и свойственных им противоречий. Она представляет из себя форму их противоречивого единства. Особенно ярко это проявляется в движении кривой капиталистического хозяйства, в смене периодов подъема упадком, кризисами.

Как известно, кризисы являются проявлением и в то же время разрешением всех капиталистических противоречий, что находит свое объяснение в капиталистическом способе установления равновесия между производством и потреблением, между отдельными отраслями производства и т. д. А последнее есть не что иное, как другая формулировка соотношения людей в производстве, их производственных отношений.

Во время подъема, в особенности в начале его, создается целый ряд условий, повышающих норму прибыли. Спрос на продукты не удовлетворен, цены повышаются, происходит техническое переоборудование и расширение предприятий, сокращается период оборота капитала, обилие ссудного капитала понижает процент и пр. Но во время же подъема возникают факторы, действующие в сторону понижения нормы прибыли: технический прогресс повышает органический состав капитала, в силу этого, а также вследствие удлинения периода обращения в результате постепенного насыщения рынка, замедляется оборот капитала; что, в свою очередь, требует увеличения капитала в денежной форме, повышается ссудный процент; часто возникает недостаток рабочих рук, что приводит к повышению заработной платы; цены на сырье начинают расти, между тем как растут цен на готовые товары замедляется или даже приостанавливается. Рента же и процент в том и в другом случае отстают от движения остальных элементов. «Кризис наступает в тот момент, когда... тенденции к понижению нормы прибыли одерживают победу над тенденциями, которые приводили к повышению цены и прибыли вследствие возрастания спроса»²⁾. Так

¹⁾ Н. Бухарин, Экономика перех. периода, стр. 129.

²⁾ Р. Гильфердинг, Фин. капитал, стр. 290, Гиз, 1922 г.

получается, с одной стороны, неслаженность, разрыв отдельных элементов цены производства, т.-е. отдельных участков капиталистических производственных отношений; с другой стороны, несоответствие цены производства, которая предполагалась при производстве товаров, рыночным ценам, т.-е. несоответствие установившейся всей совокупности капиталистических производственных отношений выросшим под их оболочкой во время подъема производительным силам.

В результате кризиса происходит стихийное приспособление производственных отношений к производительным силам, что находит свое отражение в установлении новой цены производства, соответствующей изменившейся стоимости товаров, и нового соотношения элементов, на которые распадается цена производства ¹⁾.

Перерасстановка людей в процессе производства вследствие кризиса захватывает, конечно, не только капиталистов, но более болезненно и рабочих. В форме изменения цены производства и соотношения ее элементов происходит новое установление всех отношений капиталистического способа производства.

Кризисы представляют собой проявление и временное разрешение всех противоречий капиталистической экономики. Сюда входят противоречия как между отдельными группами и слоями капиталистов, так и между основными классами. Это и находит свое выражение в противоречивом движении составных элементов цены производства, в отрыве их друг от друга, в установлении их единства в результате кризиса. Здесь наиболее ярко подтверждается положение, что цена производства—отношения не только капиталистов друг к другу, а—форма проявления всей совокупности производственных отношений капиталистического общества.

VII.

«Капиталистическая действительность должна быть представлена как единство сущности и явления»,—говорит А. А. Реуэль ²⁾. Сущность же капиталистического способа производства является, прежде всего, производство прибавочной стоимости, т.-е. отношения между капиталистами и рабочими в непосредственном процессе производства. Внутренняя сторона этих отношений овеществляется в категориях капитала постоянного и переменного и прибавочной стоимости. В какой же форме эти отношения проявляются на поверхности капиталистического общества? Ведь в явлениях указанные категории непосредственно мы не наблюдаем.

Стоимость, капитал, постоянный и переменный, прибавочная стоимость являются предпосылкой существования цены производства, средней прибыли, процента и пр. Но этого мало сказать. Необходимо не забывать и того, что сущность неизбежно должна найти свое выражение в явлениях. В чем же находят форму своего проявления постоянный и переменный капитал? В толковании

¹⁾ «...Видимости самостоятельности различных элементов, на которые постоянно распадается цена производства и которые она постоянно воспроизводит, кладут конец кризисы» (Маркс, Теория, т. III, стр. 394. Курсив Маркса).

²⁾ «Предмет и метод...», стр. 155.

И. И. Рубина и А. А. Реуэля сущность потерялась, так как в их схеме отношения капиталистов и рабочих не даны в явлениях. Они не позабывают о постоянном и переменном капитале ¹⁾, когда ведут речь о сущности, но те категории, которые представляют собой явление капиталистического общества (цена производства, средняя прибыль, предпринимательский доход, процент, рента) выражают, по их мнению, отношения лишь между отдельными слоями капиталистов (включая сюда и земледельцев), так что сущность (постоянный и переменный капитал) не имеет своей формы проявления, следовательно превращается из понятия, отражающего действительные отношения, в теоретическую фикцию, лишь в логическое *prius* категорий явления. На самом деле, какая это сущность, если она проявиться не может?

Нужно отметить, что вопрос о сущности и явлении экономических категорий и их единстве специально ставится А. А. Реуэлем в конце своей книги. Здесь он разбивает все категории политической экономии на два типа или, как он выражается, на два этажа. «Первый этаж категорий—теоретическое выражение сущности капиталистической системы, внутренней игры ее механизма. Стоимость, прибавочная стоимость, норма прибавочной стоимости—говорят нам о процессах, глубоко скрытых от непосредственного созерцания, они говорят нам о процессах, к которым можно прийти только в результате научного анализа. Не те категории—процент, предпринимательский доход, рента. Эти категории отображают непосредственно данные факты капиталистической действительности, они являются формой мышления хозяйствующих агентов.

Анализ не может остановиться на категориях первого этажа, отображающих сущность явлений, ибо раскрытие только глубоких процессов недостаточно. Действительность представляет собой единство сущности и явления и только, как такое единство, может быть научно познано. Сущность должна явиться. Категории «процент» и «рента» представляют собой явление сущности. Эти категории стоят на плечах сущности—прибавочной стоимости. Таким образом, анализ сущности сам по себе недостаточен, он должен быть дополнен анализом своего проявления. Явление же может быть понято только на базисе сущности. Процент, предпринимательский доход и рента могут быть поняты, исходя из анализа прибавочной стоимости. Капиталистическая действительность, как диалектическое единство сущности и явления в системе Маркса, находит свое «овеществление» в указанных двух типах категорий ²⁾.

По трактовке самого же Реуэля (и Рубина) первый тип категорий—овеществление производственных отношений между капиталистами и рабочими, а второй тип—отображение отношений капиталистов друг к другу (включая в их семью и землевладельцев). Неужели взаимоотношение между сущностью и явлением заключается в том, что отношения между капиталистами и рабочими (сущность) проявляются как отношение между груп-

¹⁾ Мы не говорим здесь о прибавочной стоимости потому, что, попадая в сферу распределения и обращения и принимая форму прибыли, процента и пр., она перестает быть отражением отношений капиталистов к рабочим и становится отражением отношений капиталистов друг к другу, лишь косвенно выражая первые отношения.

²⁾ «Предмет и метод...», стр. 206.

нами капиталистов (явление)? Ведь это две различные плоскости. Сказать так—значит признать (употребляя сравнение Реуэля), что первый этаж здания проявляется как одна из комнат второго этажа. Первые отношения являются основной предпосылкой для вторых—это верно, но неправильно, что вторые отношения представляют собой форму проявления первых.

По нашему мнению, капиталистическое единство сущности и явления неправильно понимается А. Реуэлем. Как видно из приведенной цитаты, это единство мыслится Реуэлем таким образом. Мы берем все экономические категории, овеещающие и сущность и явление, устанавливаем между ними связь так, чтобы они «стояли на плечах» друг друга, и перед нами готова капиталистическая действительность, как единство сущности и явления. Итак, по представлению Реуэля, капиталистическая система равна отдельным отношениям, выражающимся в различных категориях плюс их связь. Но если так, то это не «диалектическое единство сущности и явления», а механическое их единство.

Капиталистическая система представляет из себя не только сумму отдельных элементов ее, не только связь и взаимодействие этих элементов; не только сборище законов, управляющих этими элементами, а совокупность производственных отношений, имеющую общую закономерность, которой подчинены законы отдельных элементов. Таким общим законом является закон стоимости, а если мы хотим определить его конкретную форму для капитализма, то это—закон цен производства.

Отдельные стороны капиталистических производственных отношений находят свое выражение в соответствующих «вещных» категориях. Так, отношение капиталистов и рабочих в непосредственном процессе производства овещается в постоянной и переменной части капитала, отношение их в момент покупки и продажи рабочей силы в части оборотного капитала и заработной плате. Единство первого и второго—в издержках производства. Взаимоотношения промышленных и торговых капиталистов и отдельных групп внутри этих подразделений—в промышленной и торговой средней прибыли; отношение функционирующего капиталиста и собственника капитала—в предпринимательском доходе и проценте; отношение землевладельцев и капиталистов—в земельной ренте. Однако, кроме этого, отдельные ручейки капиталистических отношений представляют из себя не что иное, как расщепление одного общего капиталистического потока, всей совокупности производственных отношений, которая и находит свое «вещное» выражение в цене производства, превращенной форме стоимости (т.е. отношений товаропроизводителей).

Цена производства распадается и объединяет все категории явления. Но, в дополнение к этому, цена производства как конкретная категория содержит в себе и все абстрактные категории сущности капиталистического способа производства. Цена производства—превращенная форма стоимости. Зарплата, входящая в издержки производства—превращенная форма постоянного и переменного капитала. Средняя прибыль, промышленная и торговая прибыль, предпринимательский доход, процент и рента—превращенные формы прибавочной стоимости. Цена производства является «вещной» формой единства сущности и явления всей совокупности капиталистических производственных отношений.

Отсюда и сложность цены производства нами понимается иначе, чем у Рубина. У последнего, как мы видели, она раз'ясняется в том смысле, что изучение цены производства предполагает предварительное исследование стоимости, капитала, прибавочной стоимости. Последние категории являются лишь предпосылками для цены производства. По нашему же мнению, как видно из предыдущего, сложность цены производства заключается не только в том, что она предполагает в качестве своих предпосылок указанные категории, но и в том, что цена производства содержит в себе все эти категории.

Мы определили цену производства, как форму проявления всей совокупности производственных отношений капиталистического общества. Значит, она представляет прежде всего, отношение между классом капиталистов и классом рабочих. В чем же заключается специфичность цены производства по сравнению с другими категориями, выражающими то же отношение капиталистов и рабочих, прежде всего, постоянным и переменным капиталом?

Во-первых, если постоянный и переменный капитал отражают отношения капиталистов и рабочих в процессе производства, то цена производства является формой проявления этих отношений, если мы их рассматриваем с точки зрения единства процесса производства и процесса обращения.

Во-вторых, цена производства представляет собой форму проявления указанных категорий, следовательно, отличается от них так же, как и всякая «форма проявления вещей» от «сущности вещей» (термины Маркса).

В-третьих, сама ведь форма является существенным моментом содержания, поэтому отношения капиталистов и рабочих, как мы их имеем в цене производства, несколько разнятся от этих же отношений, как они нам представляются в постоянном и переменном капитале. В I томе «Капитала» они изучались так, как они устанавливаются на каждом отдельно взятом капиталистическом промышленном предприятии. В теории же цены производства объектом нашего изучения являются отношения между капиталистами и рабочими всех отраслей производства. Здесь привлекают наше внимание и отношения внутри класса капиталистов. В силу чего отношения между капиталистами и рабочими выступают как классовые. Это и есть то новое, наиболее важное, что привносится формой цены производства.

* * *

В заключение нам хотелось бы отметить, что вопрос о цене производства, как производственном отношении, имеет не только теоретический¹⁾, но и практический интерес.

Если мы примем схему И. Рубина, то основное производственное отношение капиталистического общества—отношение капиталистов и рабочих, которые больше всего интересуют пролетариат, выступает перед нами лишь как отношение на отдельных пред-

¹⁾ При изучении не только капиталистического, но и нашего советского хозяйства. Так, напр., утверждение некоторых товарищей (Дашковского, Берзгиса и др.) о действительности закона цен производства для нашего хозяйства основано на грубейшем фетишистском, натуралистическом понимании цены производства.

приятных, а не как отношение классов. Это если принять во внимание постоянный и переменный капитал, хотя они по Рубину и не имеют формы проявления и конкретно не выступают. В качестве же конкретной категории, отражающей один полюс этих отношений и непосредственно затрагивающей интересы рабочих, остается лишь заработная плата ¹⁾. Поскольку последняя не связывается с другими категориями «явления», постольку материальная основа классовости отношений схемой Рубина опустается, проглатывается. Классы приходится объяснять лишь классовой симпатией. Но из этой схемы неизбежно должен следовать и вывод: борьба пролетариата может выступать лишь в форме борьбы рабочих с отдельными капиталистами, лишь на отдельных предприятиях со своими хозяевами, лишь за улучшение обстановки труда, за повышение зарплаты и пр. Можно обосновать этой схемой групповые, но не общеклассовые интересы среди рабочего класса, так назыв. экономическую, реформистскую борьбу пролетариата, но не революционную против основ капитализма.

¹⁾ Хотя, между прочим, следует отметить, что и Рубин и Реуэль о ней не вспоминают.

Плод недолгой науки ¹⁾.

Л. Любимов.

Из статей, посвященных критике моей книги «Учение о ренте», самой большою по размерам является статья В. Позняка «Теория ренты в «новом» освещении», помещенная в № 4 «Под Знаменем Марксизма» за текущий год. Это в связи с недостаточной разработкой у нас вопросов ренты побуждает меня ответить на названную статью, отвлекшись, разумеется, от того вульгарного тона, которым она написана.

Уже самое название статьи Позняка порождает недоумение: о каком моем новом, хотя бы и в кавычках, освещении теории ренты, говорит В. Позняков? Теория ренты, защищаемая мною, наоборот, довольно почтенного возраста: она датируется годом выхода в свет III тома «Капитала». Ни на что новое в этой области я и не претендую. Наоборот, с самого начала я ясно указываю, что «Марксово учение о ренте несомненно высшее достижение теории ренты» ²⁾. Высшее же, как известно, превзойти невозможно, иначе бы это не было новым.

Подозревать меня в желании углубить Маркса тем более странно, что еще в предисловии к «Азбуке политической экономики» я писал: «Маркса можно не углубить, а только углупить». Если в моей книге имеется что-либо новое, так это не в теории ренты, где нашел его Позняков, а в оценке роли Маркса в создании этой теории. Роль эта представляется мне более важною, чем это принято думать: «заслуги Маркса в области теории ренты,—резюмирую я в конце своей книги,—гораздо больше, чем это признавалось до сих пор наиболее ортодоксальными марксистами» ³⁾. То же самое пишу я и в самом начале книги: «Заслуги Маркса в области теории ренты можно только недооценить, но никак нельзя переоценить» ⁴⁾.

И везде в книге я подчеркиваю эту громадную роль Маркса, отрицаемую чисто буржуазными учеными и «ревизионистами» и недостаточно выявленную его учениками. (Примеры того и другого читатель найдет в моей книге). Недооценивает ее, как увидим, и В. Позняков.

Но еще более, чем заглавие статьи, вызывает недоумение структура ее. Как видно из заглавия, она должна говорить об «Учении о ренте», а не вообще о моих произведениях, а между тем

¹⁾ В порядке обсуждения. *Ред.*

²⁾ «Учение о ренте», стр. III.

³⁾ Там же, стр. 501.

⁴⁾ «Учение о ренте», предисловие, стр. IV. Курсив в самой книге.

20 страниц ее посвящены моему «Курсу политической экономии» и лишь 14—ренте. Конечно, теория ренты связана с теорией стоимости, которой посвящен первый том моего «Курса политической экономии», но ведь не с теорией редукции и не с учением о формах стоимости, т.-е. не с теми частями теории стоимости, о которых преимущественно говорит наш критик. Этот «метод действия В. Познякова» довольно напоминает тех шустрых школьников, которые, не зная предмета, о котором их спрашивают, стараются побольше наговорить о постороннем. Разница лишь та, что школьников вызывают, а В. Позняков сам вызывается говорить по вопросу, который он, к сожалению, плохо знает. К сожалению, так как со знающим противником спорить гораздо и интереснее и плодотворнее.

Приступая к самой статье В. Познякова, надо сказать, что моя антикритика, естественно, распадается на две главных части. В первой—я доказываю, что В. Позняков валит с большой головы на здоровую, что он упрекает меня в ревизионизме, тогда как на самом деле ревизионистом являюсь не я, а он; во второй показываю, что по многим и многим вопросам я пишу совсем не то, что приписывает мне В. Позняков.

I.

Пункты, в которых В. Позняков выступает ревизионистом, начнем хотя бы со следующего.

Как известно, определяющим стоимостью хлеба. Последний, как не менее известно, по мнению всех марксистов, гласит, что стоимость хлеба определяется тем количеством общественно-необходимого труда, который затрачивается на производство единицы хлеба (напр., килограмма его) на худшей из тех земель, обработка которых необходима, чтобы покрыть (платежеспособный) спрос общества на хлеб.

Но В. Позняков не признает этого закона.

«Совершенно неправильно»,—пишет он,—называть Марксу определение ценности хлеба количеством труда, затрачиваемого на худших участках. Точка зрения Маркса была совершенно иной, и здесь, между прочим, лежит кардинальное принципиальное отличие теории ренты Маркса от таковой же Рикардо»¹⁾.

Приписывать Марксу такую точку зрения, пишет далее Позняков, значит, «превращать Маркса в рикардянца»²⁾, в чем он обвиняет меня и И. И. Рубина. Но он должен был бы упрекнуть в этом и Ленина... если бы знал его. Ленин пишет совершенно то же самое. «Цену производства сельскохозяйственного продукта,—говорит он,—определяют условия производства не на средних, а на худших землях, так как продукт одних лучших земель недостаточен для покрытия спроса»³⁾.

Правда, Ленин говорит здесь не о стоимости, а о цене производства хлеба, но это дела не меняет, так как всякий экономист должен знать, что стоимость хлеба и цена производства его регулируются одною и тою же землей. Свидетельство Ленина тем

¹⁾ Назв. ст., стр. 124. Курсив мой.

²⁾ Там же, та же стр.

³⁾ Ленин, Собр. соч. т. IX, стр. 502.

(более важно, что он, как признает В. Позняков, «лучший истолкователь и популяризатор теории ренты Маркса»¹⁾). Но из Ленина, к слову сказать, В. Позняков не приводит ни одной цитаты во всей своей длинной статье: как видно, курить фидлам Ленину легче, чем знать его.

Но в грехе превращения «Маркса в рикардянца» оказывается, причем, повинен не только Ленин, но и сами Маркс и Энгельс. Во всех многочисленных иллюстрационных таблицах, принадлежащих перу как одного, так и другого великого основоположника марксизма, цену хлеба постоянно регулирует или земля А или «(самая неплодородная)»²⁾, или земля В (следующая по неплодородию за А), если А выпадает из обработки³⁾. Таких же указаний у Маркса немало и в тексте. Так, напр., Маркс говорит «цена (хлеба. Л. Л.) равняется цене производства на самой плохой земле»⁴⁾. Там же мы читаем: «то обстоятельство, что класс А, вновь вступающий под обработку, менее плодороден, приводит к тому, что цена не упадет вновь до такого низкого уровня, как в то время, когда рынок регулировала цена производства класса В»⁵⁾.

Правда, Маркс говорит здесь о цене хлеба, а не о стоимости его, но это в данном случае несколько не меняет дела, так как цена хлеба по Марксу определяется стоимостью его и является лишь денежным выражением последней.

Итак, мы видим, что сторонниками отрицаемого Позняковым закона являемся не только я с Рубиным, но и Маркс, и Энгельс, и Ленин.

К сведению В. Познякова, сообщим, что отрицает этот закон не Маркс, а... Богданов, так что позиция В. Познякова совпадает в этом случае не с Марксом, а с Богдановым. Совпадает позиция Познякова и Богданова еще и в том, что, по мнению как того, так и другого, принятие данного закона стоимости хлеба не совместимо с признанием закона трудовой стоимости⁶⁾.

Прибавлю к этому, что доводов В. Познякова, направленных на опровержение закона хлебных цен Рикардо-Маркса, я не разбираю, так как Позняков не приводит ни одного довода в защиту этой своей позиции, а ограничивается очень решительным, но совершенно голословным утверждением.

Итак, В. Позняков не согласен с Марксом, это его право. Он повторяет положения Богданова, это опять-таки его право (плохо только, что он умолчал о своем предшественнике). Он хочет попытаться заменить закон Маркса-Рикардо другим. Попытка эта ему, разумеется, не удастся, но делать ее также его право. Но он не имеет права приписывать Марксу положения, которых тот не высказывал, а тем более таких, кото-

¹⁾ Назв. ст., стр. 97.

²⁾ Таких таблиц 24 (20 основных, 4 дополн.) только в главах 41—43 тома III Капитала.

³⁾ Таких таблиц только в этих же главах 9 (4 основных, 5 дополнительных).

⁴⁾ Капитал, т. III, ч. 2, стр. 189 (пер. 1907 г., и дальше я цитирую всегда по этому изданию).

⁵⁾ Там же, стр. 279.

⁶⁾ См. у Богданова, напр., стр. 86 выпуска IV тома II «Курса политической экономии», а у Познякова—стр. 124 и 125 разбираемой статьи.

рые противоречат сказанному Марксом, а также он не имеет права объявлять ревизионистом меня на том основании, что он, Позняков, не согласен с Марксом...

* * *

Перейдем теперь к рассмотрению случая еще более грубого ревизионизма.

Позняков пишет: «хлеб является относительно редким благом; этим и обуславливается наличие такой категории, как земельная рента; будь хлеб «свободно воспроизводимым» благом, не было бы и ренты»¹⁾.

И прибавляет к этому: «Оговариваемся, что под свободно-воспроизводимым благом мы понимаем такой товар, производство которого может быть увеличено и дополнительное количество которого может быть произведено при той же затрате труда или капитала, что и раньше»²⁾.

Начнем с того, что это, к слову сказать, довольно распространенное среди буржуазных экономистов понимание термина свободно-воспроизводимое благо, выражаясь мягко, очень курьезно. Стоя на такой точке зрения, к не «свободно воспроизводимым» «редким» благам надо бы отнести не только хлеб, как это и делает Позняков, но и уголь, и нефть, и железо, и медь, и остальные металлы, и хлопок, и лес, и мясо, и рыбу, и большинство искусственных удобрений и т. д., и т. д., словом, «редкие» товары стали бы встречаться гораздо более часто, чем редкие, и было бы совершенно непонятным, почему они называются «редкими». Когда буржуазные ученые расширяют так понятие «невоспроизводимые блага», это понятно, потому что «невоспроизводимые», «редкие» блага, как (хотя и напрасно) принято думать еще со времен Рикардо, составляют наглядное исключение из закона трудовой стоимости. Но когда на эту же точку зрения становится марксист, то очевидно, что он, по крайней мере, в данном случае марксист только в собственном представлении. Но ревизионизм в разбираемых словах Познякова далее прогрессирует в еще более рельефных формах. Он говорит, что дальнейшее количество хлеба не «может быть произведено при той же затрате труда и капитала, что и раньше». Это признание закона убывающей производительности труда (или, как его часто называют, убывающего плодородия), против которого так горячо боролся Маркс и который является основным фундаментом мальтузианства. Одного признания «закона» убывающей производительности достаточно, чтобы с полным правом исключить В. Познякова из числа последовательных и ортодоксальных марксистов.

Однако далее ревизионизм его вырисовывается еще сильнее. Позняков уверяет, что «будь хлеб свободно воспроизводимым благом», т. е. если бы дополнительное количество его можно было получать при той же затрате труда и капитала, что и раньше, «не было бы и ренты» (курсив наш). Значит он ренту строит на законе убывающей производительности. Это уже не только ревизионизм, но и недостаточное знание и понимание вопроса.

¹⁾ Разбираемая статья Познякова, стр. 104. Курсив мой.

²⁾ Там же, та же стр., примечание.

Буржуазные ученые действительно часто говорят то, что выше написано у Познякова. Так, напр., Мак-Кэллох пишет: «Если бы продукт земли постоянно увеличивался пропорционально издержкам на него, не могло бы быть ничего подобного ренте»¹⁾.

Но они признают только одну дифференциальную ренту: из закона разности, каким является закон убывающей производительности, они выводят теорию разностной (дифференциальной) ренты. Это имеет свой смысл. Но ведь В. Позняков признает и абсолютную ренту. Эта же рента вытекает не из различий в производительности земледельческого труда при разных обстоятельствах, и, следовательно, не может быть выведена из закона этих различий, из закона убывающей производительности, если бы даже он и был верен (чего нет на самом деле).

Итак, буржуазные ученые (и стоящий в данном вопросе на этой же точке зрения Маслов) хоть и не правы, но по крайней мере увязывают концы с концами, чего никак нельзя сказать про Познякова.

* * *

Перейдем теперь к выяснению следующего вопроса, при обсуждении которого В. Позняков фактически опять занял антимарксистскую позицию и опять не по одному пункту (по двум сразу). В. Позняков приводит следующую цитату из «Учения о ренте».

«Логически, пожалуй, следовало бы начать изложение с теории абсолютной ренты, хотя бы уже потому, что она носит более общий характер и касается всех общественно-необходимых земель, т. е. земель, обработка и т. д. которых необходима, чтобы покрыть спрос общества на хлеб и другие предметы питания, тогда как дифференциальная рента касается только части их, только тех из них, которые в каком-либо отношении обладают преимуществами над остальными землями. Но теория дифференциальной ренты сложилась много раньше теории абсолютной ренты и достигла уже значительной степени развития к тому времени, когда теория абсолютной ренты только впервые появилась на свет, и последняя поэтому в известной мере построена (внешне) на первой. Кроме того, и с точки зрения большей общедоступности изложения лучше начать с теории дифференциальной ренты, как менее сложной. Поэтому остановимся сперва на последней. Отметим кстати, что таков ход изложения и у Маркса, этого безусловно, наиболее крупного теоретика в области земельной ренты».

Приведа эту цитату, В. Позняков пишет:

«Это рассуждение наглядно показывает, что методология Маркса осталась для Любимова настоящей terra incognita. С методологической точки зрения проф. Любимова, конечно, логичнее начать с абсолютной ренты, как более «общей» категории... Однако у Маркса дело обстоит в этом отношении как раз наоборот. С точки зрения его метода именно дифференциальная рента является более общей категорией, а абсолютная, напротив, менее общей, «частной» категорией... с этой точки зрения дифферен-

¹⁾ Примечание в его издании смитовского «Богатства народов», 1839 г., стр. 444.

диальная рента является более общей категорией по сравнению с абсолютной, ибо она вытекает из существа капиталистического способа производства... абсолютная же рента представляет собой капитализированный обломок феодальной общности»¹⁾.

Итак, рассмотрение сперва абсолютной ренты (чего я, к слову сказать, не делаю), по мнению В. Позняка, смертный грех против «методологии Маркса». Однако сам Маркс неоднократно придерживался такого именно порядка в «Теориях прибавочной стоимости». Так, напр., при рассмотрении теории Родбертуса Маркс сначала почти сто страниц²⁾ посвящает абсолютной ренте и лишь затем переходит к дифференциальной. И дело здесь, разумеется, вовсе не в том, что Родбертус занимается, главным образом, абсолютной рентой, потому что от этого не мог зависеть порядок Марксова рассмотрения вопроса, а самое большее это могло отозваться на числе страниц, посвященных в данном случае тому или иному виду ренты.

Итак, из слов В. Позняка выходит, что для самого Маркса «методология Маркса» «настоящая terra incognita».

Но еще хуже для В. Позняка то, что приписываемый им Марксу взгляд на абсолютную ренту, как на «капитализированный обломок феодальной общности», принадлежит... не Марксу, а Богданову, и составляет именно ту часть системы последнего, где он опять решительно расходится с Марксом. «Абсолютная рента,—пишет Богданов,—может рассматриваться, как наследие феодальной системы и выражение сохранившейся в известной степени социальной силы старо-земледельческого класса»³⁾. Основываясь, в конце концов, именно на этом, Богданов и приходит к выводу, что у Маркса (который держится иного взгляда на абсолютную ренту) «странным образом... можно еще найти остатки ложной теории Родбертуса»⁴⁾.

* *

Как мы видим, В. Позняков снова и снова фактически примыкает не к Марксу, а к Богданову.

Перейдем теперь к следующему пункту, где В. Позняков прикрывался именем Маркса, опять совершенно расходится с последним.

В. Позняков пишет: «Абсолютная рента — это, по Марксу, есть разница между ценой производства хлеба и его ценностью. Ценность хлеба, таким образом, равная W , разлагается на $P+g$ (цену производства плюс абсолютная рента)»⁵⁾. До сих пор верно, но затем В. Позняков пишет: «И ценность, и цена производства могут относиться только к определенному количеству произведенного продукта, напр., к пуду хлеба. Поэтому, если

¹⁾ «П. З. М.», разбираемая статья, стр. 120.

²⁾ Стр. 167—261 немецкого (стереотипного) издания. К слову сказать, у нашего новоявленного специалиста в области ренты, В. Позняка, столь охочего до цитат, нет ни одной цитаты из II тома «Теории прибавочной стоимости», хотя там, как известно, Маркс уделял очень много внимания теории ренты.

³⁾ А. Богданов и И. Степанов, Курс политической экономии, т. II, вып. IV, стр. 75.

⁴⁾ Там же, стр. 91, приложение.

⁵⁾ «П. З. М.», разб. ст., стр. 129.

на участках различного плодородия собирается неодинаковое количество пудов хлеба, то и абсолютная рента с этих различных участков должна быть различна». «Напротив того,—продолжает он,—проф. Любимов категорически утверждает, что абсолютная рента получается абсолютно со всех земель, и, кроме того, если считать на гектар, то все земли данной местности, начиная от самых лучших и кончая самыми худшими, приносят абсолютно ту же самую абсолютную ренту»¹⁾.

Но на беду Позняка у Маркса ясно и определенно указано и доказано, что все земли независимо от своего плодородия приносят ту же самую абсолютную ренту. Так, напр., в «Теориях прибавочной стоимости»²⁾ имеется таблица, где при той же затрате капитала и той же площади с земли I добывается 60 тонн угля, с земли II 65 тонн и с земли III—75 тонн, т. е. земли очень отличаются своим «плодородием», а абсолютная рента со всех—не совершенно одинакова (10 ф. ст.). В этой же книге Маркс пишет, напр., следующее:

«Она (абсолютная рента. Л. Л.), очевидно, совершенно не зависит от... различия степени естественного богатства рудников, плодородия земли, короче: сил природы»³⁾.

Таких мест у Маркса не мало.

Итак, мы видим, что, при всей решительности своих суждений В. Позняков, он не знает и не понимает даже тех основных истин, которые, по свидетельству Маркса, являются очевидными. Не всегда «смелость» города берет.

Но дальше дело поворачивается для В. Позняка еще хуже. Он не ограничивается только что приведенной цитатой из моей книги, а начинает по этому поводу сыпать против меня «громом».

«Но тут,—пишет он,—перед проф. Любимовым должна встать следующая дилемма: если прав Маркс, и абсолютная рента есть разница между ценой производства и ценностью хлеба (пуда, центнера, квартера и т. д. хлеба), то абсолютная рента будет неодинакова на неодинаковых по урожаю участках земли. Или, если рента будет абсолютно одинакова со всех участков земли, то приходится отбросить первое определение Маркса, а следовательно, и его теорию ценности. Проф. Любимов и идет по этому второму пути. Ибо у него здесь ценность хлеба выступает в качестве индивидуальной (физиологической) затраты труда, а цена производства хлеба в виде издержек его производства со стороны индивидуального капиталиста. Мы имеем здесь, таким образом, вульгарную экономию в самом чистом виде. Вот куда привела любимовская «ортодоксия»: к ревизии Маркса и к типичным положениям вульгарной политической экономии»⁴⁾.

Но, как мы видели, по Марксу, вопреки уверениям В. Позняка, величина абсолютной ренты будет одинакова на единицу площади в данное время и в данном месте. Абсолютная же рента, приходящаяся на пуд угля, хлеба и т. п., вопреки уверению В. Позняка, величина не постоянная для данного продукта, а при прочих равных условиях тем меньшая, чем большее количество продукта получается на единицу площади. Таким обра-

¹⁾ Там же, та же стр.

²⁾ Маркс, Теории приб. ст., т. II, ч. 2, русский п., стр. 22.

³⁾ Там же, стр. 30. Курсив мой.

⁴⁾ Цит. ст., стр. 130.

зом, по Познякову, — который уже раз, — выходит, что и Маркс скатился «к ревизии Маркса и к типичным положениям вульгарной политической экономии».

На этом пункте необходимо еще несколько задержаться. В. Позняков постоянно (и напрасно) обвиняет меня в рикардизме. Рикардо, как известно, учил, что рента одинакова на пуд хлеба. В. Позняков говорит то же самое. Кто же из нас ближе к рикардизму? Но рикардизмом В. Познякова называть все же нельзя, так как он отличается от них... в худшую сторону. Они говорили это про дифференциальную ренту и были правы, а Позняков переносит то же самое на абсолютную ренту, что — вздор. Далее, уверяя, что абсолютная рента должна быть больше на более плодородном участке, В. Позняков, всушности, сводит ее к разновидности дифференциальной, т.-е., на словах, признавая абсолютную ренту, он на деле отказывается от нее. Признавая же на деле одну дифференциальную ренту, он возвращается к рикардизму... упрекая в этом меня.

* * *

До сих пор мы видели, в какое незавидное положение попадает В. Позняков вследствие своего плохого знания Маркса и Ленина. Приведем теперь хотя бы один образчик его плохого понимания Маркса. Покажем, как приводимая им цитата из Маркса опрокидывает то утверждение Познякова, которое он пытается доказать ею.

Дело в следующем. Источник всех моих ошибок В. Позняков видит в том, «что рента для проф. Любимова просто «добавочная прибавочная стоимость». И вся проблема заключается в том, чтобы найти ее источник»¹⁾.

На самом же деле, продолжает он, «проблема ренты заключается не в создании этой добавочной прибавочной ценности, а в превращении добавочной прибыли, т.-е. части всей общественной прибавочной стоимости в форму земельной ренты, в ее отщеплении в самостоятельный вид дохода»²⁾.

Для доказательства этого он приводит следующую цитату из Маркса:

«Итак, при анализе ренты вся трудность (курсив мой. Л. Л.) заключалась в том, чтобы объяснить излишек земледельческой прибыли над средней прибылью, объяснить не прибавочную ценность, а свойственную этой сфере производства избыточную прибавочную ценность»³⁾.

Так как «избыточная» и «добавочная» прибавочная стоимость то же самое (это знает и В. Позняков), то ясно, что, указывая на то, что «вся трудность» заключается в объяснении избыточной прибавочной стоимости, Маркс этим самым предписывает обратить на это обстоятельство очень большое внимание. Другими словами, приводимая Позняковым цитата доказывает как раз обратное тому, что он хотел.

Приведенная В. Позняковым цитата до того явно говорит против него, что он сам смутно понимает это и пытается (неловко)

¹⁾ Цит. статья, стр. 125.

²⁾ Там же, стр. 126.

³⁾ Капитал, т. III, ч. 2, стр. 311.

выйти из того затруднительного положения, в которое он сам себя поставил.

«Правда, — пишет он, — Маркс тоже говорит об избыточной прибавочной ценности, но она имеет у него другой смысл»¹⁾.

Затем следует цитата из Маркса, но нет никакой цитаты из моего «Учения о ренте», хотя логика настоятельно требует ее, так как для того, чтобы показать, что два автора (из которых один к тому же ученик другого) различно понимают тот же самый термин, требуются цитаты из них обоих, а не только из одного. Почему В. Позняков «благоразумно» уклонился от приведения цитаты из моей книги, вполне понятно. Если бы он привел ее, то было бы видно, что я просто повторяю слова Маркса, а так, без цитаты из моей книги, кто-нибудь, ослепленный цитатой из Маркса, может быть, и поверит Познякову, не заметив его довольно грубой проделки. К слову сказать, никакого другого понимания термина «избыточная (добавочная) прибавочная стоимость», когда речь идет о ренте, не только нет у меня, но и вообще не может быть, так как Маркс говорит о ренте, как об излишке «над средней прибылью, т.-е. над пропорциональной долей всякого индивидуального капитала в прибавочной стоимости, произведенной всем общественным капиталом»²⁾.

Заметим еще, к сведению В. Познякова, что у Маркса в отделе «Превращение добавочной прибыли в ренту» речь идет не только и не столько о самом этом превращении, но и о том, откуда и как образуется эта добавочная прибыль, более того — Маркс, как мы видели, «всю трудность» задачи видит в решении именно этого последнего вопроса. И, разумеется, Маркс как нельзя более прав, не ограничиваясь проблемой одного только превращения (в узком смысле этого слова) добавочной прибыли в ренту, потому что надо ведь знать, как образовалось то, что превращается в ренту, должно ли оно было образоваться, так как очевидно, что если эта добавочная прибыль не могла образоваться (или могла образоваться только редко и случайно), то нет никакой нужды исследовать законы ее превращения в ренту. Само собою, что и я поступил таким же образом: с одной стороны, выяснил условия образования добавочной прибыли (или, что в данном случае то же самое, добавочной прибавочной стоимости), а затем, с другой, проанализировал законы ее превращения в ренту, при чем в наиболее трудном случае посвятил этому даже особую главу, которую Позняков, к слову сказать, считает лучшей во всей книге.

Таким образом Позняков, не только привел опровергающую его цитату, но и 1) считает совершенно ненужным исследование того, чему Маркс придает громадное значение, 2) отрицая, что я говорю о превращении прибавочной прибыли в ренту, он признается, что этот вопрос не оставлен мною без освещения.

* * *

В предшествующих пяти подразделах настоящей главы мы привели не менее 10 случаев, когда В. Позняков сильно уклонился от теории Маркса, то ударившись в богдановщину, напр.,

¹⁾ В. Позняков, назв. статья, стр. 126.

²⁾ Капитал, т. III ч. 2, стр. 312.

в отношении закона хлебных цен и, в особенности, представляя абсолютную ренту, как наследие феодализма, то, говоря вещи, от которых энергично станут открещиваться даже богдановцы, напр., уверяя, что абсолютная рента будет больше на лучших землях, то скатываясь прямо к чисто буржуазным экономистам, напр., в признании закона убывающей производительности земледельческого труда и в стремлении построить на нем теорию ренты. Количество случаев отказа В. Познякова от Маркса можно бы еще увеличить, но этому мешает размер статьи. Да и надобности в этом, в сущности, нет, так как и без того видно, в какое положение постоянно попадает В. Позняков, обвиняя меня в ревизионизме за то, что я действительно стою на точке зрения ортодоксального марксизма и повторяю сказанное Марксом. При том, так как во всех приведенных выше случаях В. Позняков упрекает меня за положения, принадлежащие перу Маркса, то всякому знающему человеку, если он даже не читал моей книги, видно, что ревизионистом являюсь не я, а Позняков, таким образом В. Позняков повторяет историю библейского пророка Валаама, который, желая проклясть своих врагов, вместо того благословил их.

II.

В. Позняков не может не понимать, что даже самого доверчивого читателя нельзя убедить в моем ревизионизме обвинениями вроде того, что я признаю, что стоимость хлеба регулируется худшей из общественно-необходимых земель, или вроде того, что по моему участки приносят абсолютную ренту независимо от большего или меньшего плодородия их, а тем паче вроде того, что я не строю теории ренты, исходя из закона убывающей производительности земледельческого труда и т. д., и т. п. Поэтому, поскольку он хотел добиться этой цели, он, «став спиной к истине», начал уверять, что я вывожу ренту из земли, что я считал ее вечной категорией, что я отказываюсь от диалектики и т. д., и т. д. Придется рассмотреть хотя бы основные из этих в данном случае совершенно диких обвинений.

* * *

Основным из них, из которого вытекают или на котором основаны остальные, является утверждение, что я вывожу ренту из земли. Поэтому остановимся на нем подробнее, чем оно того заслуживает. Что говорит В. Позняков по этому вопросу?

- 1) Что я вывожу ренту из земли ¹⁾,
- 2) что я считаю ренту добавочной прибавочной стоимостью ²⁾,
- 3) что я стою на позиции Рикардо ³⁾.

Но каждая из этих формулировок неминуемо опрокидывает обе остальные. Понятно ведь, что, поскольку я стою на точке зрения, что рента—это добавочная прибавочная стоимость (что действительно имеет место, но что, как мы видели, является в сущности только повторением слов Маркса), постольку я не могу

¹⁾ См. назв. статью, стр. 123 и др.

²⁾ Там же, та же стр. и др. И так, на одной странице два разных утверждения. Недурно!

³⁾ Там же, стр. 117 и др.

говорить, что рента вытекает из земли: ведь прибавочная стоимость вытекает не из земли, а из эксплуатации наемных рабочих, из прибавочного труда их, т.-е. является явлением общественного, а не естественного порядка. Далее, поскольку я доказываю, что рента—это добавочная прибавочная стоимость, я не могу быть и рикардianцем, ведь Рикардо не знал категории «прибавочная стоимость». И, наконец, если бы я выводил ренту из земли, я не мог бы быть рикардianцем, так как Рикардо выводит ренту не из земли, а из цены хлеба.

В виду общеизвестности последнего обстоятельства для доказательства его можно ограничиться хотя бы парой наудачу взятых цитат из Рикардо (конечно, можно и обойтись даже и без них, но Познякову, повидимому, неизвестна эта позиция Рикардо): «Так как рента есть следствие высокой цены хлеба, то падение ренты есть следствие низкой цены» ¹⁾ «высокая рента зависит от высокой цены продукта» ²⁾.

Но допустим лучшее для В. Познякова. Предположим (как ни обидно такое предположение даже для самого захудалого «экономиста»), что он искренно не знает и не понимает того, что мое утверждение, что источник ренты—это добавочная прибавочная стоимость, которое, к слову сказать, встречается в разбираемой им книге до сотни раз, исключает всякую возможность приписать мне выведение ренты из земли.

Имел ли он, даже в таком случае, право приписывать мне тот вздор, что я вывожу ренту из земли? Нет, ни в коем случае! Ведь я неоднократно указываю в книге, что вывожу ее из труда, точнее из эксплуатации рабочих.

Так, напр., на стр. 404 я пишу: «Рента... это часть стоимости... Мы же знаем, что стоимость, а значит и всякая часть ее может быть порождена только (курсив в книге) трудом». На стр. 142 имеется такое место: «Рента вырастает не из земли, а из общественных отношений, в частности из отношений эксплуатации».

Таких мест десятки. Каким же образом В. Позняков умудрился не заметить их?

Но ведь опирается на что-же-нибудь Позняков, спросит читатель. Да, на три места, произвольно вырванных из контекста моей книги более чем в 500 страниц, и которые к тому же, даже вырванные из текста, говорят совсем не то, что хочет увидеть в них Позняков.

Первым из них является мое безобидное указание на то, что земля имеет громадное значение для производства и для жизни и что поэтому «характер земельного дохода (земельной ренты) имеет чрезвычайно большое значение для экономики капиталистического общества, а значит, и для теоретического отражения и истолкования его политической экономией».

«Таким образом,—иронизирует он,—ренту изучать надо потому, что все люди ходят по земле и на земле растет пища» ³⁾.

«Мы,—продолжает он,—знаем (ой ли? Л. Л.), как подходит к ренте проф. Любимов: мы уже слышали, что ренту нужно

¹⁾ Рикардо, Начала, стр. 294 (пер. Рязанова).

²⁾ Там же, стр. 279.

³⁾ Назв. ст., стр. 121.

изучать потому, что люди ходят по земле, пища растет на земле и т. д., и т. д. Отсюда естественен вывод, что и сама рента своим наличием обязана той же земле; вывод—к которому *volens-nolens* приходит и сам проф. Любимов»¹⁾.

При чем В. Позняков с «храбростью», достойною лучшего применения, пишет: «это (т.-е. то, что рента происходит из земли. Л. Л.) и утверждает проф. Любимов на следующей (5-й. Л. Л.) же странице»²⁾.

Последнее безусловно неправда: ни на 5-й, ни на какой-либо другой странице я не пишу не только этого, но даже ничего подобного, и недаром не скупящийся на цитаты Позняков и на этот раз «благоразумно» воздержался от них.

Но мало того, что я сам нигде не пишу ничего подобного, ни из каких моих слов ни один понимающий человек не может сделать подобного вывода. В частности, не дают оснований для сделанного Позняковым вывода и только что приведенные слова мои, на которые он ссылается. В самом деле, указание на важное значение земли нисколько не равносильно утверждению, что рента вытекает из земли, подобно тому, как, напр., указание на важное значение машин вовсе не соответствует утверждению, что прибыль вытекает из самих машин. Констатируемая мною связь указывает лишь на то совершенно очевидное обстоятельство, что фактор, не имеющий никакого значения для производства (а тем более вообще для человеческой жизни), не может послужить основанием ни для какой экономической надстройки или еще понятнее, если бы земля не имела никакого значения для производства, то применять к ней труд было бы совершенно чуждо и от такого применения не могло бы родиться никакого важного экономического явления. Если же земля имеет производственное значение, то применение труда к ней может породить явление, «имеющее чрезвычайно большое значение для экономики капиталистического общества». Кажется, просто.

Перейду теперь к разбору второго места из моей книги, на которое старается (и напрасно) опереться Позняков: «На лучшей земле производится при той же затрате труда (и капитала) большее количество килограммов пшеницы. А так как стоимость килограмма хлеба определяется тем количеством труда, которое идет на выращивание килограмма его на худшей общественно необходимой земле, то, следовательно, на лучшей земле производится большая стоимость, чем на худшей».

Приведя эту цитату, В. Позняков со свойственным ему особенно тонким остроумием продолжает:

«Итак, во-первых, величина стоимости хлеба определяется затратой «и капитала», а, во-вторых, «стоимость имеет своим источником не только труд, но и лучшее качество почвы, т.-е. естественное плодородие. Рента, таким образом, у проф. Любимова благополучно произросла из земли; но это мы и называем вульгарщиной».

Первое опять-таки вздор. На какую сторону капитала в данном случае обращено мною внимание: на то, что капитал—это затрата труда мертвого. А стоимость, конечно, определяется за-

¹⁾ Там же, стр. 123.

²⁾ Там же, стр. 122.

тратой труда живого (или, короче, просто труда) и труда мертвого (вместо чего мы короче сказали—капитала). Чтобы В. Позняков (и ему подобные) не поняли нас «оригинально», поясним подробнее. Мы вовсе не ставим знака равенства между понятиями «мертвый труд» и «капитал», так как не всякий мертвый труд—капитал. Мы говорим лишь, что всякий капитал—мертвый труд, а так как рента возможна лишь при капиталистическом строе, когда мертвый труд принимает характер капитала, то поэтому в данном случае вместо того, чтобы говорить о мертвом труде можно было говорить и о капитале. Тем более можно, что употреблением слова капитал сильнее подчеркивается капиталистический, переходящий характер ренты, в непризнании которого меня, к слову сказать, так часто и так напрасно упрекает тот же Позняков. Итак, получается такая картина. С одной стороны, В. Позняков обвиняет меня в непризнании капиталистического характера ренты, а с другой—за терминологию, которая ясно подчеркивает именно этот капиталистический характер ренты. Логика и последовательность изумительные. Перейдем теперь ко второму пункту. Сказать, что что-либо производится на земле, хотя бы и лучшей, вовсе не значит утверждать, что это производится самою землею. Где же здесь основание для упрека «в вульгарщине». Если что и вульгарно, так это сыпать непроиздуманными и безответственными обвинениями.

Следующая цитата из «Учения о ренте», служащая Познякову доказательством, является непосредственным продолжением предыдущей, она гласит: «Далее,—так как цена производства пшеницы в обоих случаях одинакова, то выходит, что на лучшей земле выжимается еще добавочное количество прибавочной стоимости».

Приведя эту цитату, В. Позняков совсем теряет душевное равновесие: «Но откуда,—грозно спрашивает он,—выжимается эта прибавочная стоимость? Очевидно, из более плодородной земли»¹⁾.

Однако, как мы только что доказали, это вовсе не так «очевидно», как представляется В. Познякову. Положение, что на лучшей земле выжимается больше прибавочной стоимости, вовсе не равносильно утверждению, что добавочное количество ее выжимается из самой земли. Оно означает совершенно иное, а именно, что в капиталистическом обществе лучшая земля, подобно лучшей машине, при определенных условиях дает возможность повысить норму эксплуатации занятых на ней рабочих. Так что В. Позняков снова «слегка» ошибся.

* * *

Уверая, что по моему рента вытекает из земли, В. Позняков, естественно, должен был приписать мне утверждение классиков, что рента никогда не исчезнет, тем более, что это находится в полной гармонии с его уверениями, что я стою на точке зрения классиков. И он, действительно, не останавливается и перед этой нелепостью. «Все отличие ренты,—формулирует он «мою» (?) точку зрения,—в капиталистическом обществе заключается разве лишь в том, что здесь она достигает большей величины... это

¹⁾ Назв. статья, стр. 125.

и утверждает проф. Любимов на следующей (5-й. Л. Л.) же странице¹⁾.

Но на следующей странице, разумеется, нет ничего подобного,—там сказано лишь, что с развитием капитализма чрезвычайно быстро растет и земельная рента. Но из этого следует только то, что в стране развитого капитализма рента гораздо больше, чем в стране неразвитого. Вот и все. Всякому понимающему, что такое прибавочная стоимость, ясно, что, поскольку рента—добавочная прибавочная стоимость, она может иметь место только при капиталистическом строе.

В. Позняков тем более не имел никакого права приписывать мне взгляд о вечности ренты, что у меня во многих местах совершенно ясно сказано, что рента—это категория, свойственная исключительно капиталистическому строю. Так, напр., на стр. 142 «Учения о ренте» я пишу: «рента, это—известное общественное отношение, а они меняются... следовательно, рента, это—общественное отношение, свойственное только определенной, преходящей эпохе,—эпохе капитализма»—как-будто совершенно недвусмысленно.

Мало того, у меня есть целая глава, где говорится, при каких условиях исчезают различные формы ренты, и где ясно сказано, что «с капиталистическим производством»²⁾ отпадает всякая рента.

В. Позняков по обыкновению не только «умудрился» одного не заметить, другого не понять, но и, по обыкновению же, впал сам с собою в противоречие. Так в данном случае он меня упрекает в том, что по моему рента—это вечная категория, а несколькими страницами раньше не менее горячо осуждает меня за то, что я ограничиваюсь только тем, что касается «Марксовой теории капиталистической ренты»³⁾.

* * *

Дальнейшим очередным поклепом В. Познякова является его уверение, что я далек от диалектического метода. Оно, очевидно, базируется на только что разобранным утверждениям, будто я считаю ренту вечной категорией. Но так как последнее, как мы видели, стопроцентный вздор, то таким же вздором является и первое.

Место довода заступает другое голословное же утверждение Познякова, сделанное им по другому вопросу (о формах стоимости), но которому (замечанию) В. Позняков, повидимому, придает общее значение. «В самом деле, в чем, по Любимову, отличие теории Маркса от классиков? Может быть, в методе. Отнюдь нет: о методе он не говорит ни полслова»⁴⁾. Здесь у Познякова речь идет о моем «Курсе политической экономии». В нем в самом деле я не касаюсь вопроса о методе Маркса. Но почему? Потому что пока что вышел только 1-й том этого «Курса», а вопрос о методе политической экономии должен быть разработан в последнем томе. Следовательно, трактовка этого же вопроса

¹⁾ Назв. ст., стр. 122.

²⁾ «Учение о ренте», стр. 365.

³⁾ Там же, стр. 117.

⁴⁾ Там же, стр. 99.

и в 1-м томе означала бы только ненужные параллелизм и повторение. Прибавлю, что и в «Учении о ренте» нет специальной разработки вопроса о методе. И не только нет, но и не должно быть, поскольку это «Учение о ренте», а не о методе, который Маркс применял ведь не к одному учению о ренте.

Кроме того, в «Учении о ренте» речь идет и должна идти не об общей характеристике метода Маркса, который предполагается хотя бы в общих чертах известным читателю, а о том, чтобы показать, как этот метод прилагается к вопросам ренты. А это красной нитью проходит через всю книгу. Всюду в ней показывается, насколько теория Маркса несравненно выше систем его предшественников, а всякому знающему человеку понятно, что никакой новой системы создать нельзя, не пользуясь новым методом, и что превосходство системы неразлучно с превосходством метода. Объяснять читателям толстой книги подобные азбучные истины по крайней мере неуместно. Как неуместно доказывать им и то, что диалектика играет определяющую роль в методе Маркса.

Наоборот, доказывать чем Марксова теория ренты экономически отличается от теории его предшественников чрезвычайно важно и для читателей самых толстых книг,—так как роль Маркса в создании теории ренты до сих пор не была достаточно оценена.

Всякому ясно также, что так как «моя» теория ренты только повторение сказанного Марксом, то упрек в отсутствии диалектики, направленный против нее, попадает в... Маркса.

* * *

Перейду теперь к разбору следующего замечания Познякова, связанного с диалектикой. Как известно, я оцениваю роль Маркса в создании теории дифференциальной ренты гораздо выше, чем все остальные экономисты до меня. Изложив, в чем заключается по моему новое, внесенное Марксом (при чем очень многое пропустив и очень многое исказив), Позняков продолжает: «но все эти изменения лишь количественного, но не качественного, принципиального порядка. Поэтому Маркс остается в изложении Любимова лишь тем же самым Рикардо в исправленном и дополненном издании»¹⁾. Конечно, В. Позняков, по обыкновению, не утруждает себя никакими доказательствами, он просто утверждает, что изменения эти только количественного характера, совершенно упустив из виду, что свои положения надо доказывать.

Но нас сейчас интересует не это. Сам В. Позняков не прибавляет к моему перечню ни одного пункта, имеющего отношение непосредственно к положениям теории ренты, следовательно, поскольку приведенные мною пункты он считает имеющими только количественный характер, выходит, что именно он, а никак не я, полагаю, что положения марксовой теории—дифференциальной ренты качественно ничем не отличаются от рикардовских. Странная «ортодоксальность», которая выражается только в принижении роли Маркса!

¹⁾ Назв. ст., стр. 127.

Прибавлю к этому, что, перечисляя то, что по моему Маркс внес нового, Позняков пропустил, напр., мои указания на то, что Маркс в рассмотрение явлений дифференциальной ренты внес диалектический метод и более сильно чем кто-либо подчеркнул, что рента «вырастает не из земли..., а из общественных отношений»¹⁾ и что все это очень удачно выявлено в следующих словах Ленина: «Что такое рента в капиталистическом обществе? Это вовсе не доход с земли вообще.—Это—та часть прибавочной стоимости, которая остается за вычетом средней прибыли на капитал. Значит, рента предполагает наемный труд в земледелии, превращение земледельца в фермера, в предпринимателя»²⁾, т.е. пропустил именно то, что показывает неосновательность всех его упреков. «Комментарии излишни», как любит повторять Позняков.

Теперь укажем некоторые из искажений, допущенных в этом месте Позняковым. Они в очень большом количестве имеются уже в пункте, который В. Позняков обозначает первым. Вот этот пункт целиком: 1) Рикардо «односторонне» (эти кавычки, как увидим, очень двусмысленны: в действительности они вовсе не означают, что слово это взято из текста моей книги. Л. Л.) утверждал, что всегда имеет место только переход ко все худшим и худшим землям... Маркс в этом отношении «расширил, улучшил, углубил и перенес в обстановку капиталистического строя, что было верного во взгляде Кэри». Другими словами, вся заслуга Маркса заключается в том, что он, Рикардо, разбавил Кэри. Но считать теорию дифференциальной ренты Маркса лишь (в обоих случаях курсив мой, а передержка Познякова. Л. Л.) амальгамой Рикардо и Кэри, это мы и называем искажением Маркса»³⁾. «Другими словами» мне здесь подсовываются совершенно другие мысли.

Во-первых, если я вижу заслугу Маркса в том, что он оружие Кэри против теории ренты трудовой школы обратил на защиту, улучшение и расширение ее, это вовсе не значит, что я вижу в этом всю заслугу Маркса. Это, мягко говоря, опять передержка, и к тому нескучная, потому что на следующей же странице сам Позняков приводит мое мнение относительно того, какие еще заслуги имеются у Маркса в области дифференциальной ренты. А над «все» излишка не бывает.

Во-вторых. Пункт о Рикардо и Кэри относится не ко всей теории ренты, а только самое большое к одному ее пункту, следовательно, уверять, что согласно моему мнению теория (не малая часть ее, а вся она) дифференциальной ренты Маркса «лишь амальгама Рикардо и Кэри»—значит опять пускать в ход передержку, и опять-таки нескучную, так как на следующей же странице он перечисляет (очень неполно), каковы по моему мнению заслуги Маркса по другим частям теории дифференциальной ренты, к которым, как видно даже из приводимого им (в изуродованном виде) текста, ни Рикардо, ни тем более Кэри никакого отношения не имеют.

В-третьих, передержка эта тем более груба, что Позняков сам же цитирует мои слова, что Маркс «расширил, улучшил, углубил и перенес в обстановку капиталистического строя, что было верного во взгляде Кэри». Теорию Рикардо, как я пишу

¹⁾ Учение о ренте, стр. 142.

²⁾ Там же, та же стр.

³⁾ Позняков, назв. ст., стр. 126.

там же (о чем Позняков не упоминает), Маркс также видоизменил очень значительно, следовательно, говорить о простой «амальгаме Рикардо и Кэри» (как формулирует Позняков «мой» взгляд) отнюдь не приходится даже в отношении этого отдельного пункта, а тем более в отношении всей марксовой теории дифференциальной ренты. Тем более не приходится, что я неоднократно указываю, что у Маркса прекрасное знание предшественников и умение превосходно выявить, что было у них ценного и использовать это для построения своей теории, отнюдь не исключало величайшей оригинальности, так как он творчески перерабатывает то, что было создано другими, прибавляет много своего совершенно нового и в результате создает совершенно новую более широко охватывающую систему, где сказанное его предшественниками является только частью и выступает в совершенно ином свете»¹⁾; следовательно, позняковская «амальгама» служит лишь для создания того зеркала, в котором ясно отражается обилие передержек у Познякова.

В-четвертых. Как мы видели, для вывода Познякова об амальгаме, который он делает якобы из моих слов, не было никакого основания, если бы даже сказанное мною о Кэри относилось к какой-либо важной части Марксовой теории дифференциальной ренты. Но Позняков и здесь допустил грубую передержку. На самом деле слова мои о Кэри относятся не к Марксовой теории дифференциальной ренты, как говорит В. Позняков во второй части цитированного отрывка, а к порядку перехода от одних земель к другим (как это видно даже из первой части цитированного отрывка). Вот что я пишу: «Поскольку дело касается порядка перехода от одних земель к другим, можно сказать, что Маркс расширил, улучшил, углубил и перенес в обстановку капиталистического строя, что было верного во взгляде Кэри»²⁾. Надо ли прибавлять, что порядок перехода от одних земель к другим имел значение для теории ренты Рикардо, поскольку тот был сторонником «закона» убывающей производительности земледельческого труда, но не имеет никакого значения для теории ренты Маркса, так как она применяема совершенно независимо от того, какой порядок перехода имел место. Маркс,—как известно всем, знакомым с теорией ренты,—освободил теорию дифференциальной ренты от всякой логической связи с порядком перехода от одних земель к другим. Таким образом свой вывод относительно моей оценки Марксовой теории ренты В. Позняков основывает на том, что в сущности даже не относится к Марксовой теории дифференциальной ренты.

Кстати, почему это в первом предложении В. Позняков взял слово «односторонне» в лукавые и двусмысленные кавычки. Если он хотел этим указать, что он не считает односторонним взгляд Рикардо о переходе ко все худшим землям, то это только последовательно со стороны сторонника закона убывающей производительности земледельческого труда, каким, как мы видели, он высказал себя выше (на стр. 104 своей статьи).

Перейдем теперь к пункту, означенному В. Позняковым как 2-й. Здесь целых три передержки: Во-первых, я считаю за-

¹⁾ Учение о ренте, стр. IV.

²⁾ Там же, стр. 104.

службой Маркса не только то, что он поставил, но и то, что он решил вопрос о сумме ренты. Во-вторых, считая очень важным установление верного понятия «нормы ренты», я нигде не пишу, что это у Маркса главное. Но обе эти передержки, разумеется, совершенно бледнеют перед третьей, где он уверяет, что норма ренты, «по Любимову, это есть то, что нормирует ренту. Итак, величина ренты нормируется ее нормой. Доказывать нелепость этого представления—излишний труд»¹⁾. Последнее—совершенно верно. Но отнюдь не «излишний труд» доказать, что я говорю что-либо подобное относительно нормы ренты.

Правда, он ссылается на стр. 113 «Учения о ренте», но там нет ничего подобного. Там написано только, что «норма исчезает лишь с исчезновением самого нормируемого явления», но ведь это вовсе не значит, что явление нормируется ею; тогда было бы написано, что «норма исчезает лишь с исчезновением самого нормируемого ею явления». Подчеркнутого слова там нет, следовательно...

Переходя к следующему пункту, надо сказать, что одно из качественных отличий теории Маркса я вижу в том, что он связал ее с теорией прибавочной стоимости, чего Рикардо, конечно, не мог сделать. Позняков против этого возражает, при чем единственное его доказательство гласит: «Мы видели уже, как проф. Любимов увязал эти две категории»²⁾. Довод более чем странный: ведь очевидно, что для отличия Маркса от Рикардо важно не то, как я связал ренту с прибавочной стоимостью, а то, как связал их Маркс. Если он связал их верно, а Позняков едва ли решится отрицать это, а у Рикардо нет и попытки подобной увязки, то ясно, что между обоими теориями не количественная разница, как говорит Позняков, а качественная. Ксати, как мы уже видели, я связал эти теории так, как предписывает Маркс, и нападение на мой способ увязки—это замаскированное нападение на марксов способ увязки этих категорий, который я только воспроизвожу.

Наконец, даже создание теории дифференциальной ренты II по мнению Познякова, составляет изменение «лишь количественного, но не качественного принципиального порядка» по отношению к теории ренты Рикардо.

Это положение Познякова показывает, что он не видит «качественной, принципиальной» разницы между дифференциальной рентой I, которую только и знал Рикардо, и дифференциальной рентой II. Другими словами, что он не знает и не понимает ни той, ни другой формы дифференциальной ренты. О качественном различии между ними мы писали в «Учении о ренте» (см. 10-ю главу второго отдела второй части) и за недостатком места сейчас останавливаться на этом не будем, заметим лишь, что если бы между ними не было больших качественных различий, Маркс не выделил бы дифференциальную ренту II в особую категорию.

Во-вторых, Позняковское утверждение означает умаление роли Маркса в создании теории дифференциальной ренты, так как создание учения о второй форме дифференциальной ренты является

¹⁾ Назв. ст., стр. 127.

²⁾ Назв. ст., та же стр.

одной из крупнейших заслуг Маркса. Это умаление очень странно со стороны марксиста, каким декларирует себя Позняков, но очень естественно со стороны ревизиониста, каким он является на самом деле, по крайней мере в области ренты.

В заключение необходимо заметить следующее. Как мы уже видели, В. Позняков перечисляет далеко не все черты, которые, как указано в «Учении о ренте», отличают соответствующие теории Маркса и Рикардо, но даже и тех черт, которые он приводит, вполне достаточно, чтобы видеть, что между теорией дифференциальной ренты Маркса и теорией ренты Рикардо—качественное различие. Позняков же, как мы видели, утверждает, что они означают только количественное различие. Если бы было так, как говорит Позняков, то это, помимо всего прочего, дискредитировало бы в применении к теории дифференциальной ренты диалектический метод, который Позняков великодушно берет под свою защиту. В самом деле, если даже Маркс, пользуясь им, не смог создать ничего, что бы качественно отличало его теорию дифференциации ренты от соответствующей теории Рикардо, то значит применение этого метода не может создать ничего особенно крупного, ничего качественно отличающегося от теории Рикардо. Следовательно, мы видим у Познякова на словах гимн диалектике (хотя и плохо исполненный), а на деле безусловное принижение ее значения.

* *

*

Подробность, с какой я остановился на некоторых из предыдущих пунктов, заставляет меня всех остальных коснуться более бегло, чем я бы того желал.

В «Учении о ренте», по мнению Познякова, я становлюсь на точку зрения потребительской версии «общественно необходимого труда», которую я отрицаю в своем «Курсе политической экономии». Что я отрицаю в своем «Курсе» потребительскую версию—это правда, но что я в своем «Учении о ренте» признаю—это, конечно, сугубый вздор, в подтверждение которого В. Позняков не приводит ни одного довода, ограничиваясь тем, что правильность, этого его указания «легко может заметить любой читатель»¹⁾. Это совершенно не верно. Укажем хотя бы на то, что одним из самых главных доводов против «потребительской версии», который я выставляю в своем «Курсе политической экономии», является как раз тот самый Марксо-Рикардовский закон стоимости хлеба, за признание которого упрекает меня Позняков. Стало быть, и в «Учении о ренте» я выступаю против потребительской версии.

* *

*

Далее В. Позняков пишет:

«По Марксу непременным условием абсолютной ренты были: 1) низкий органический состав капитала и 2) частная собственность на землю; по Любимову, этими условиями являются или низкий органический состав, или земельная монополия»²⁾. Разумеется, что у Познякова нет при этом ни одной ссылки на какое бы то ни было место из моей книги. Надо ли гово-

¹⁾ Назв. ст., стр. 100.

²⁾ Назв. ст., стр. 129.

рять, что на самом деле и в данном случае, как и везде, я утверждаю то же самое, что и Маркс. Вот, напр., хотя бы следующая цитата из моей книги: «Абсолютная земельная рента обязана своим существованием двум (подчеркнуто в книге Л. Л.) обстоятельствам: во-первых, низкому строению земледельческого капитала, во-вторых, земельной монополии»¹⁾. Всякий знакомый с моей книгой, знает, что я доказываю в ней это положение о необходимости для образования абсолютной ренты двух факторов и очень подробно и неоднократно (и по разным поводам).

* * *

Остановимся теперь (очень бегло) на вопросе о национализации и ренте. Сперва Позняков уверяет, что, согласно моему взгляду, «после национализации земли абсолютная рента останется»²⁾, при чем ссылается на стр. 366 моей книги, а затем всего через несколько строк он, не замечая этого, сам себя опровергает, говоря, что, согласно моему мнению, «абсолютная рента после национализации может (курсив мой. Л. Л.) исчезнуть»³⁾. На самом же деле я говорю ни то, ни другое, а доказываю, что «с национализацией земли... абсолютная рента отпадает»⁴⁾. Ссылка на стр. 366 сделана Позняковым совершенно напрасно. Там сказано только, что, если исходить из недостаточной аргументации, тогда выйдет, что в течение известного срока «абсолютная рента будет иметь место и после национализации земли». Как видим, это очень далеко от признания существования абсолютной ренты после национализации, как хочет представить дело В. Позняков.

Далее, приведя мое мнение, что монополия рента может остаться и после национализации, В. Позняков спрашивает: «Каким образом вообще может существовать монополия рента—это остается совершенной загадкой. Целые страницы своего труда проф. Любимов посвятил доказательству того положения, что хлеб ни в коем случае не может продаваться выше ценности»⁵⁾.

Отгадка очень проста: монополия рента не может существовать для земель, занятых под хлеб, но возможна, напр., с виноградников, на которых выращиваются редкие сорта винограда. Отгадка эта, к слову сказать, дана в моей книге (на стр. 364), так что несомненно понятно, как это В. Позняков может задавать подобные «загадки».

* * *

Перейдем к следующему вопросу: «Можно сказать,—пишет Позняков,—что для него (т.е. для меня. Л. Л.) земледелец лишь случайная фигура для теории «ренты»⁶⁾. Сказать, конечно, все можно, когда нет чувства ответственности за свои слова. Но доказать это Познякову было бы тем более невозможно, что красной нитью через всю мою книгу проходит противопоставление «собственников средств производства, обла-

¹⁾ Учение о ренте, стр. 344.

²⁾ Позняков, назв. статья, стр. 129.

³⁾ Назв. ст., стр. 129.

⁴⁾ Учение о ренте, стр. 317.

⁵⁾ Позняков, назв. ст., стр. 124, прим.

⁶⁾ Назв. ст., стр. 123.

дающим стоимостью» — т.е. капиталистов — собственникам средств производства, не обладающих стоимостью. Ведь всякий экономист должен знать, что под последними подразумеваются именно землевладельцы, водовладельцы и т. д. Мало того, целую и довольно обширную главу (стр. 125—137) я посвятил доказательству того, что всюду в реальном капиталистическом обществе неизбежно существование класса получателей земельной ренты, т.е. опять тех же землевладельцев. Кроме того, у меня в книге не менее нескольких десятков мест, где я пишу, что рента достается землевладельцу. Вот два взятых наудачу: «рента—это добавочная прибавочная стоимость, которая уплачивается владельцу средств производства, не имеющих стоимости, за разрешение пользования ими»¹⁾. «Учение о ренте... вскрывает природу дохода землевладельцев»²⁾ (подчеркнуто для В. Познякова). Последнее в значительной мере повторяет и В. Позняков; так, например, он пишет: «земельная рента есть специальная форма, характеризующая отношения между классом землевладельцев и классом капиталистов. Именно, как таковую, изучает земельную ренту политическая экономия»³⁾.

Интересно, почему это неверное у меня становится верным, когда его повторяют В. Позняков? Или только потому, что он указывает то подчеркиваемое мною обстоятельство, что эта «специальная форма имеет большое значение и для класса рабочих, хотя бы оттого, что получается из неоплаченной части их труда»?

* * *

От землевладельцев перейдем к арендаторам. Приведя мое возражение Сею, что землевладелец не трудится, В. Позняков продолжает: «Итак, заметьте себе, читатель, капиталист тоже трудится и его доход, очевидно, носит такой же трудовой характер, как и доход сельского рабочего»⁴⁾.

Это, однако, вовсе не так «очевидно», как представляется моему критику. Ясно, ведь, что, если я, напр., скажу, что вор много трудился, пока ему удалось взломать кассу, то этим вовсе не утверждается трудовой характер доходов вора.

* * *

От Сея перейду к экономисту еще более старинному, к Андерсону. В. Позняков упрекает⁵⁾ меня в «нелепой полемике» против Андерсона. Упрек более чем нелепый. Всякая полемика есть, конечно, указание ошибок, но не всякое указание ошибки есть полемика. О полемике говорить в данном случае тем более странно, что, как известно всякому, читавшему мою книгу, я Андерсона ценю чрезвычайно высоко. Именно этим и объясняется, почему я отвел ему значительно больше места, чем любому из экономистов, писавших по-русски. Понятно, что при такой подробной трактовке мне пришлось указывать и на некоторые неправильные его положения. Но указать на те или иные ошибки давно почившего автора, которые к тому же при этом объясняются временем, в которое он жил, вовсе не значит полемизировать

¹⁾ Учение о ренте, стр. 142.

²⁾ Там же, стр. 111.

³⁾ Цит. ст. Познякова, стр. 123.

⁴⁾ Там же, стр. 119.

⁵⁾ Там же, стр. 118.

с этим автором. Исходя из странной «терминологии» В. Позняка, пришлось бы указание на то, что «и на солнце есть темные пятна» назвать... «нелепой полемикой» с солнцем.

*
*

Далее В. Позняков порицает меня, что я не экономлю места. «Изложение, — пишет он, — известных иллюстрационных таблиц Маркса занимает у Любимова $3\frac{1}{5}$ печатных листа, т.е. 52 стр. (от 200 до 252 стр.), тогда как в оригинале они занимают лишь 37 стр.»¹⁾ Других примеров В. Позняков не приводит. Остановимся на этом. Во-первых, Позняков «ошибается», уверяя, что таблицы Маркса и Энгельса занимают «в оригинале» 37 стр.; они (и текст к ним) занимает там не 37, а 47 страниц (220—267 стр.)²⁾. Во-вторых, В. Позняков странным образом не заметил, что печатных знаков на странице у Маркса приходится гораздо больше, чем у меня (почти на 25%). Сопоставляя эти два обстоятельства, мы видим, что иллюстрационные таблицы Маркса и Энгельса (и текст к ним) больше, чем у меня. Иначе говоря, действительность опять нелюбезно расходится со словами В. Позняка. В-третьих, я популяризирую и комментирую таблицы (и текст) Маркса-Энгельса, а и популяризирование и комментирование требуют места.

В-четвертых, неужели В. Позняков не знает, что нередко одна глава «Капитала» может дать достаточно материала для целого ряда книг (а ведь таблицам посвящено целых три главы). Таким образом мы видим, что если бы иллюстрационные таблицы были у меня больше, чем у Маркса и Энгельса, в этом тоже не было бы никакой беды, а на самом деле они у меня меньше.

*
*

Что касается изложения таблиц, это, как наиболее яркий пример излишнего «многоглаголия», В. Позняков приводит то обстоятельство, что я останавливаюсь и на таком отличии таблиц Энгельса от таблиц Маркса: «Энгельс вычисляет цену производства в шиллингах, а Маркс в фунтах стерлингов», далее «Маркс вычисляет продукт в квартирах, а Энгельс в бушелях (в одном квартере 8 бушелей)»³⁾.

Плохое знание предмета опять сыграло злую шутку над мной не в меру придирчивым критиком: в данном случае я только повторяю то, что сказано... Энгельсом, при чем последний еще «многоглаголивее», так как указывает, что шиллинг равен марке.

*
*

«Мы, — пишет Позняков, — совершенно лишены возможности подробно остановиться на всех положениях и отдельных местах

¹⁾ Там же, стр. 127.

²⁾ Это отнюдь не единственный случай, когда доводы Позняка основаны просто на арифметической ошибке. Так на странице 98 он уверяет, что у меня фетишизму товаров уделено только две странички, тогда как на самом деле соответствующая глава («Фетишизм товаров») занимает не две, а 6 страниц, т.е. втрое больше, чем говорит Позняков. Если же принять во внимание, что весь отдел «Теория трудовой стоимости» занимает в моем «Курсе политической экономии» всего 91 страницу, то станет ясно, что у меня в «Курсе» фетишизму товаров уделено соответственно вполне достаточно места.

³⁾ Позняков, цит. ст., стр. 127.

«Учения о ренте» проф. Любимова. Для этого пришлось бы написать, пожалуй, втрое более обильную работу, чем само «Учение о ренте»¹⁾.

Когда Кривенко хотел написать книгу против марксизма, В. В. Плеханов, показав, что Кривенко мало понимает в этом вопросе, закончил: «Надо полагать, прелюбопытная выйдет книга! Спой, светик, не стыдись!».

Нам остается только повторить это Крыловско-Плехановское приглашение.

*
*

Мы разобрали все возражения В. Позняка по сколько-нибудь важным пунктам, а также большую половину по пунктам незначительным, напр., «полемика» с Андерсоном, помещение трех «лишних» строк, о фунтах стерлингов и квартирах и т. д., и т. д. Отвечать на остальные еще менее важные пункты, значит только увеличивать размер статьи. Все сколько-нибудь существенное в этой статье я разобрал. И разбор этот приводит к следующим выводам:

1) У Позняка совершенно отсутствует чувство ответственности за свои слова. Это проявляется между прочим и в его, мягко выражаясь, некрасивой слабости к передержкам, «имя же им заною».

2) Он на каждом шагу сам себе противоречит; один из наиболее ярких примеров последнего. Это когда он одновременно уверяет, что, во-первых, я вывожу ренту из земли, а, во-вторых, что я рикардиец, а, в-третьих, что определяю ренту, как прибавочную стоимость.

3) Позняков, хотя любит «с ученым видом знатока» говорить о марксовом методе, о диалектике, совершенно не умеет пользоваться им. Конечно, наиболее ярко это проявляется при рассуждениях по вопросу, который он плохо знает. Этим в значительной степени и объясняется, почему он наделал такую массу таких грубых промахов, когда писал о земельной ренте.

4) Позняков, что часто бывает с людьми, не овладевшими марксовым методом, является безусловным ревизионистом (в вопросе о ренте: других мы здесь не касаемся). Этот ревизионизм ярко проявляется в признании закона убывающей производительности; желании обосновать на нем ренту; в признании Марксо-Рикардовского закона стоимости хлеба; в том, что он видит в абсолютной ренте капиталистически видоизмененное наследие феодализма и т. д., и т. д.

5) Позняков, что часто бывает с ревизионистами, очень плохо знаком с вопросом, о котором берется писать. Примеров его слабой осведомленности мы так много видели выше.

6) В связи с его малой осведомленностью стоит его голословность: как мы видели, многие и многие свои положения В. Позняков не подкрепляет даже и тенью доказательств.

В заключение замечу, что я не за то упрекаю В. Позняка, что он не знает ренты (это, к сожалению, нередкое явление), а за то, что он пишет по предмету, которого не знает.

¹⁾ Там же, стр. 122.

III.

Теперь несколько остановимся на запоздалых замечаниях, которые В. Позняков делает в отношении моего «Курса политической экономии», вышедшего еще в 1923 году. В них нет ничего нового: он, — обычно без указания источника, — просто повторяет (иной раз буквально) те возражения, которые уже приводились другими.

Начнем, понятно, с тех двух цитат из Маркса, которые он приводит «против» меня.

Доказывая беспочвенность моих попыток выяснить стоимость так называемых «невоспроизводимых товаров», В. Позняков приводит следующее место из Маркса («Капитал», т. III, ч. 2, стр. 170, изд. 1907 г.) (курсив мой. Л. Л.). «Необходимо помнить, что цена¹⁾ вещей, которые сами по себе не имеют стоимости, т. е. не суть продукты труда, как, напр., земля, или по крайней мере не могут быть воспроизведены трудом, как, напр., древности, художественные произведения определенных мастеров и т. д., может определяться очень случайными обстоятельствами. Чтобы продать вещь, для этого не требуется ничего иного, как только, чтобы она способна была сделаться объектом монополии и отчуждения».

Но ведь я говорю о стоимости невоспроизводимых благ, а Маркс в данном случае о цене их. Стоимость же и цена — вещи разные, — это известно и приводящему эту цитату В. Познякову. Поскольку же речь идет о разных вещах, никакого противоречия быть не может, так как противоречие означает, что говорят разное об одном и том же предмете.

Мало того. То, что цены таких товаров определяются «очень случайными обстоятельствами», несколько не исключает не только возможности, но даже необходимости попытки выяснить, какой общий закон пробивается сквозь гущу этих «очень случайных обстоятельств». Характерно, что, приведенные выше слова Маркса находятся в отделе о земельной ренте, где Маркс не ограничивается указанием на «очень случайные обстоятельства», влияющие на цену земли, но и показывает, что сквозь всю эту массу случайных обстоятельств пробивается тот закон, что цена земли равняется капитализированной ренте. Ясно, следовательно, что, поступая таким же образом в отношении редких товаров, я только следую указаниям Маркса, а не отхожу в сторону от него. Правда, я не согласен с выводом, который Позняков делает из этих слов Маркса. Но ведь не соглашаться с Позняковым как будто совсем не то, что не соглашаться с Марксом, в чем меня упрекает мой критик.

Впрочем, В. Позняков опроверг сам себя и в данном случае. Как мы только что видели, он приводит из Маркса цитату для доказательства того, что не следует тревожить теорию трудовой стоимости при анализе вопроса о ценах «невоспроизводимых» товаров. «Причину высокой цены их, — уверяет он, — следует искать вовсе не в высокой ценности²⁾, а несколькими страницами раньше он пишет: «В одном прав проф. Любимов: теория ценности Маркса должна дать ответ и на вопрос о ценообразовании так наз. редких или невоспроизводимых благ», словом, по пословице «всякого жита по лопате».

¹⁾ Курсив мой. (Л. Л.).

²⁾ Цит. ст., стр. 112.

Перейдем теперь к другой цитате. Приведя на стр. 111 мои слова, что многие, конечно, неопытные марксисты объясняют большую стоимость старого вина его лучшим вкусовым качеством и т. п., В. Позняков «противопоставляет» им следующее место из Маркса («Капитал», т. III, ч. 2, стр. 304) виноградник, производящий вино, которое вообще может производиться лишь в сравнительно небольшом количестве, дает монопольную цену... Вследствие этой монопольной цены, избыток которой над стоимостью продукта определяется единственно богатством и вкусами знатных потребителей вина, винодел мог бы реализовать значительную добавочную прибыль».

В. Позняков совершенно напрасно пытается уличить меня в противоречии с Марксом. Начнем с мелочей. Во-первых, у Маркса речь идет о «вкусах знатных потребителей вина», у меня — о вкусе самого вина, что, конечно, далеко не то же самое, тем более, что последний является гораздо более неизменным, чем первые и, следовательно, может иметь гораздо меньшее влияние на колебание цен. Во-вторых, Маркс пишет про вино, обладающее совершенно исключительными природными качествами, а я — про старое вино; старым же можно сделать вино и не обладающее исключительными природными качествами, другими словами, Маркс говорит про вино, количество которого нельзя увеличить, по крайней мере при данном состоянии техники, а я — про вино, количество которого после известного промежутка можно увеличить: ведь можно поставить «зреть» большее количество вина, если только это будет выгодно соответствующему капиталисту.

Но главное не в этом, а в том, что Маркс говорит про влияние вкусов на цену, а я — про влияние вкуса на стоимость. Цена же и стоимость — вещи разные, и многое, что влияет на первую, не оказывает никакого влияния на стоимость (обратного быть не может).

В-четвертых, и это также имеет решающее значение в данном случае, Маркс пишет, что эти вкусы влияют на избыток цены над стоимостью. Другими словами, на самое стоимость они не влияют, т. е. эта цитата не опровергает, а вполне подтверждает сказанное мною и, наоборот, бьет в лицо, приведшего ее Познякова. Невольно приходит мысль, что если гоголевская унтер-офицерская вдова не могла сама себя высечь, то только потому, что не брала уроков этого «искусства» у Познякова.

Для предупреждения возможных недоразумений прибавлю еще следующее. Выше я приводил цитаты из Маркса относительно цены хлеба и непосредственно применял их к стоимости его, а теперь указываю Познякову на недопустимость сказанное Марксом про цены «невоспроизводимых благ», старого вина и т. д. относить к стоимости их. Здесь, как это понятно всякому экономисту, нет и тени какого-либо противоречия. Дело в том, что относительно цены хлеба Маркс, как известно, исходит из положения, что она равняется стоимости хлеба и является просто денежным выражением последней, относительно же «невоспроизводимых» товаров, старых вин и т. д. Маркс, наоборот, исходит из положения, что цены их не равняются их стоимости, отличаются от нее. Поэтому в отношении хлеба сказанное про цену можно отнести к стоимости его, а в отношении «невоспроизводимых» товаров, старого вина и т. д. это является грубой ошибкой.

Перейдем теперь непосредственно к вопросу, по поводу которого Позняковым так неудачно для него приведены цитаты, т.-е. к вопросу о стоимости «невоспроизводимых» товаров. В. Позняков уверяет, что я говорю «об определении цены редких товаров непосредственно их стоимостью»¹⁾. Он не приводит ни одной цитаты из моей книги в доказательство такой моей трактовки вопроса и не сможет их привести, потому что здесь у него, в лучшем случае, добросовестное заблуждение, причиной которого является то, что я, следуя примеру Маркса, вначале не подчеркиваю несовпадения стоимостей товаров и цен их, оставляя это до теории цен производства (т.-е. изложения идей III тома «Капитала»). Методологически это целесообразно, так как не надо с самого начала осложнять и без того очень сложный вопрос, а следует начать изучение его при наиболее простых условиях. В таком же случае цена равняется стоимости, и Маркс недаром говорит для таких случаев, что «цена—это денежное выражение стоимости». Как нелепо было бы обвинять на этом основании Маркса, что для него цена «непосредственно» равняется стоимости, так нелепо на таком же основании говорить это самое про любого из учеников Маркса.

Это место из статьи Познякова интересно сопоставить с другим местом отсюда же, где В. Позняков пишет: «правда, дальше проф. Любимов говорит более сообразные вещи, утверждая, что старое вино обладает высокой ценой, более высокой, чем даже его стоимость»²⁾. Итак, В. Позняков в данном случае как будто понимает, что я отнюдь не отождествляю цену и стоимость, но тогда зачем же в других местах своей статьи он говорит иное? Но еще хуже то, что следует непосредственно за только что приведенной цитатой. «Следовательно,—пишет В. Позняков,—эта высокая цена теперь уже не определяется стоимостью? Тогда для чего же было и огорд городить?»³⁾. Просто не верится, что можно написать что-либо подобное. Ну, а в не редких, в «свободно воспроизводимых» благах,—спросим мы,—цена совпадает со стоимостью, определяется ею непосредственно? Выходит значит, что и в этом случае нет необходимости заниматься вопросом о стоимости. Выходит, следовательно, что категорией стоимости нет смысла заниматься ни при исследовании как воспроизводимых, так и невоспроизводимых товаров, т.-е., что ею никогда не следует интересоваться. Вот куда может завести полемический задор, связанный с непродуманностью (или плохой продуманностью).

Далее, В. Позняков, «сокрушая» меня, пишет: «нужно поставить следующий решающий методологический вопрос: действует ли этот механизм конкуренции вполне (курсив мой. Л. Л.) в отношении к «редким», невоспроизводимым вещам? Только в случае утвердительного ответа мы получаем право говорить об определении цены «редких» товаров непосредственно их ценой»⁴⁾.

Но, во-первых, ни о каком непосредственном определении цены стоимостью я и не говорю. Это, как мы видели, понимает, по крайней мере, в иные минуты, и сам В. Позняков.

¹⁾ Назв. статья, стр. 116, 110.

²⁾ Там же, стр. 110.

³⁾ Там же, та же стр.

⁴⁾ Там же, стр. 116.

Во-вторых, он же, как мы видели, признает, что «теория ценности Маркса должна дать ответ и на вопрос о ценообразовании, так наз. «редких» или «невоспроизводимых благ»¹⁾. Стало быть, выходит, что, по его же мнению, на этот вопрос можно дать утвердительный ответ и при отсутствии полного действия механизма конкуренции. Тогда к чему же он ставит этот вопрос, и притом как решающий?

Чтобы не увеличивать размеров статьи, я не стану дальше задерживаться на интересном вопросе о стоимости «редких» благ, тем более, что, надеюсь, еще вернуться к нему в специальной статье.

Перейдем к другому вопросу. В. Позняков уверяет, что для меня Робинзон Крузо (и Петр Великий) «характерная фигура для капиталистического общества»²⁾. Это, разумеется, не соответствует действительности, и недаром В. Позняков не подкрепляет этого своего уверения ни одной цитатой из моей книги; он и не в состоянии этого сделать, так как таких мест в ней нет. Если в ней выступает Робинзон Крузо (и Петр Великий), то не как фигуры, характерные для капиталистического общества, а для того, чтобы по противоположности сильнее подчеркнуть те или иные черты капиталистического общества. Перейдем теперь к следующему пункту. «Любимов без всяких оговорок становится на точку зрения чисто-физиологического толкования (и при том в самом грубом смысле) категории абстрактного труда»³⁾.

То же повторяет он и на стр. 100. И это уверение Познякова, выражаясь мягко, расходится с действительностью.

Когда я пишу, что абстрактный труд представляет затрату человеческого мозга, мускулов, нервов и т. д., то я, как известно всякому марксистски грамотному человеку, только «не мудрствуя лукаво», повторяю неоднократно заявления Маркса. Так, напр., он определяет абстрактный труд, как «производительную затрату человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и т. д.» (как productive Verausgabung von menschlichen Hirn, Muskel, Nerv, Hand u. s. w.). Позняков,—и на этот раз справедливо,—не хочет видеть в Марксе представителя «чисто физиологического толкования (и притом в самом грубом смысле) категории абстрактного труда». Но тогда совершенно очевидно, что простое повторение слов Маркса не дает никакого разумного основания видеть в ком-либо представителе «чисто физиологического направления (и при том в самом грубом смысле) категории абстрактного труда». Ясно?!

Ввиду важности и интереса вопроса прибавим еще следующее: Маркс не является сторонником физиологического истолкования абстрактного труда, отнюдь не по тем причинам, о которых пишет В. Позняков. Дело же в следующем. Маркс в «Капитале» исследует только меновое общество. Поэтому почти все его определения, если даже в них самих нет категорического указания на это, относятся только к меновому обществу. Следовательно, приведенное выше определение Маркса только более краткое выражение такого определения: абстрактный труд с точки зрения экономиста «производительная затрата человеческого мозга, мускулов, нервов, рук и т. д. со стороны членов менового обще-

¹⁾ Там же, стр. 112.

²⁾ Там же, стр. 101.

³⁾ Там же, стр. 98.

ства». Последнее же ярко подчеркивает общественный характер абстрактного труда, его историчность и т. д. Надо ли прибавлять, что на этой же точке зрения стою и я?

Пойдем дальше. Приведа мое мнение, что всякая экономическая школа есть в конце концов не что иное, как известная комбинация фактов, В. Позняков продолжает: «раз каждая школа берет только некоторую «комбинацию» из всего сложного комплекса элементов, то, очевидно, полное объяснение всей сложности мы получим, если произведем комбинацию комбинаций. И выше всего будет та «школа», которая отвлечется от классовой односторонности, от этого классового дальтонизма и, поднявшись над классовой односторонностью, сольет вместе все школы Бама с Марксом и т. д., или же, по крайней мере, попросту начнет собирать «зерна истины» у всех школ»¹⁾.

Этот вывод, выражаясь мягко, не логичен. Если я, напр., скажу, что всякая фамилия это—комбинация букв, то неужели из этого следует, что всего правильнее какая-либо фамилия будет написана тогда, если произвести «комбинацию комбинаций» и вставить в данную фамилию буквы из другой?

В примечании В. Позняков прибавляет: «подчеркиваем, что с точки зрения проф. Любимова маркенистская школа тоже есть не что иное, как односторонняя (курсив мой. Л. Л.) комбинация»²⁾.

Это безусловная передержка. Я нигде не пишу ничего подобного, и недаром В. Позняков опять «осторожно» воздерживается от приведения соответствующей цитаты из моей книги.

И не только я сам не говорю этого, такого вывода нельзя сделать из моих слов. Я говорю, правда, что всякая школа—это комбинация фактов, но вовсе не пишу, что эта комбинация должна быть обязательно «односторонней». В. Позняков и здесь (и почти всюду) чересчур «субъективно» излагает мои взгляды.

Ясно, что эта комбинация должна быть односторонней только тогда, если она защищает тот класс, интересы которого не соответствуют развитию производительных сил. Но ведь к пролетариату последнее не относится, следовательно, нет никаких причин заключать, что марксизм—однородная комбинация фактов. Наоборот, везде и всюду я доказываю, что марксизм соответствует объективной действительности.

Мы не коснулись еще многих вопросов, затронутых В. Позняковым. Да это и невозможно в пределах журнальной статьи. Но и сказанного нами, надеемся, достаточно, чтобы убедиться, какого качества критика В. Познякова, и невольно встают в памяти слова Рабиндраната Тагора: «Как кислый вкус свойственен незрелым плодам, так оскорбительная резкость—незрелой критике».

¹⁾ Назв. ст., стр. 107.

²⁾ Там же, та же стр., прим.

«Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки¹⁾.

(Окончание²⁾.)

А. Неусыхин.

3. Анализ исследования М. Вебера о протестантизме со стороны метода.

Та основная проблема, под углом зрения которой М. Вебер рассматривает соответствие религиозной этики протестантизма и капиталистического духа, есть проблема возникновения современного капитализма. Не следует упускать из виду, что вся его социология религий имеет целью уяснить некоторые стороны этой проблемы. Какие же именно? В процессе изложения историко-социологических построений М. Вебера перед нашим умственным взором все время вырисовывался какой-то знакомый, но несколько неопределенный в своих очертаниях, силуэт мыслителя, как бы видимо руководящего Вебером. Это—несомненно силуэт Маркса. Постараемся понять, почему он казался нам столь неопределенным и как бы неуловимым, попытаемся уловить и фиксировать его очертания и тем самым установить, что идет от Маркса в интересной работе Вебера.

И прежде всего—от Маркса самый интерес к упомянутой основной проблеме и самое представление о капитализме, как об исторически сложившемся, своеобразном строе хозяйства, не имеющем полных аналогий в прошлом. Только это понимание историчности капитализма, как общественной формации, столь ясно обнаружено Вебером в его предварительных замечаниях к «Социологии религий», и сделало возможным постановку вопроса о происхождении капитализма в качестве центральной проблемы всей этой работы. Как известно, и Маркс задавался вопросом о возникновении капитализма. Маркса привел к этому вопросу анализ производственных отношений капиталистического общества. «Мы видели,—пишет он,—каким образом деньги превращаются в капитал, каким образом из капитала образуется прибавочная стоимость и из прибавочной стоимости добавочный капитал. Между тем накопление капитала предполагает прибавочную стоимость, прибавочная стоимость—капиталистическое производство, а это последнее—наличие значительных масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей. Таким образом, все это движение вращается, повидному, в порочном кругу, из которого мы не можем выбраться иначе, как предположив, что капиталистическому накоплению предшествовало накопление первоначальное (previous accumulation А. Смита).—накопление, являющееся не результатом капиталистического способа производства, а его исход-

¹⁾ Статья дискуссионная. *Ред.*

²⁾ См. «П. З. М.» № 9.

ным пунктом¹⁾. В чем видит Маркс сущность этого процесса? В отделении производителей от средств и орудий производства, в создании класса «свободных» рабочих, — «свободных» в двойном смысле: с одной стороны не принадлежащих к числу средств производства (как, например, рабы и крепостные), а, с другой стороны, лишенных средств производства, «освобожденных» от них (стр. 675—676). Этот процесс отделения производителей от средств и орудий производства Маркс и считает основным двигателем капиталистического развития. Вопрос о возникновении капитализма есть для него вопрос о причинах и ходе этого процесса. И так, к чему же сводится первоначальное накопление капитала, т.е. его исторический генезис? — спрашивает Маркс и отвечает: — Поскольку оно не представляет непосредственного превращения рабов или крепостных в наемных рабочих, поскольку оно, следовательно, не ограничивается простой сменой формы, — оно сводится к экспроприации непосредственных производителей, т.е. к разложению частной собственности, покоящейся на собственном труде (там же, стр. 722). Как было указано выше, и М. Вебер считает это наличие класса формально «свободных» рабочих и классовой противоположности «буржуазия — пролетариат» конstitutивным признаком современного капитализма. И для него, следовательно, вопрос о генезисе капитализма мог бы быть вопросом о происхождении этого классового противоречия и о возникновении «свободного» труда, если бы он поставил себе целью проследить генезис социально-экономического содержания капитализма. Но его интересовала другая сторона проблемы; его занимал вопрос о генезисе хозяйственной идеологии господствующего класса капиталистического общества. — той идеологии, которую он считает столь же характерным для этого общества, как и его экономические формы. Так пришел М. Вебер к своему понятию «капиталистического духа» и к вопросу о возникновении этого «духа». В этой постановке вопроса еще нет решительно ничего похожего на философский идеализм. Она была бы идеалистичной, если бы М. Вебер вкладывал в понятие «капиталистического духа» какое-либо мистическое содержание, ничего общего не имеющее с капиталистической хозяйственной действительностью, или если бы он считал капиталистический дух фактором, определяющим всю структуру капиталистического общества и именно по этому стремился бы проследить генезис этого «духа». Но, как мы видели, «капиталистический дух» М. Вебера (в отличие от замбаровского) — в высшей степени реальный исторический феномен, представляющий собою известную совокупность норм хозяйственной этики, приемов и методов хозяйствования; происхождение капиталистического духа М. Вебер отнюдь не склонен отождествлять с происхождением капитализма вообще. Напротив, он неоднократно подчеркивает, что это — лишь одна сторона проблемы; его интересует просто-на-просто именно эта ее сторона, и он исследует ее, сознавая всю неизбежную фрагментарность такого исследования. В главе о первоначальном накоплении Маркс поставил вопрос об объективных предпосылках капитализма, т.е. о предпосылках капиталистического строя хозяйства. **Макс Вебер** занимается вопросом об его субъективных предпосылках.

¹⁾ Капитал, т. I, начало 24 главы: «О первоначальном накоплении», пер. Базарова и Степанова, Киев, Оренштейн, стр. 674.

т.е. о предпосылках капиталистического строя мышления. Но и постановка этого второго вопроса отнюдь не была чужда Марксу; он только не занимался этой стороной проблемы специально, но все же успел бросить ряд намеков и в этом направлении.

«Для общества товаропроизводителей, — читаем мы в I томе «Капитала», — характерное общественно-производственное отношение которого заключается в том, что эти товаропроизводители относятся к своим продуктам, как к товарам, т.е. как к стоимостям и в этой простой и единообразной форме (in dieser schlichten Form) приравнивают свои частные работы, как одинаковый человеческий труд, — для такого общества наиболее соответствующей ему формой религии (entsprechendste Religionsform) является христианство с его культом абстрактного человека, особенно буржуазные модификации христианства (in seiner bürgerlichen Entwicklung), протестантизм, деизм и т. д.»¹⁾.

«Т предназначено для чужого потребления, — говорит Маркс во II томе «Капитала», в главе об обращении денежного капитала. — Но у толкователей меркантилизма (в основе которого лежит формула: $D—T \dots P \dots T'—D'$) мы находим обширные проповеди о том, что отдельный капиталист должен потреблять лишь в качестве работающего (в процессе производства. А. Н.), точно так же, как капиталистическая нация должна предоставлять более глупым нациям дело уничтожения своих собственных товаров и вообще весь процесс потребления, сама же должна сделать своей жизненной задачей производственное потребление (потребление в процессе производства, produktive Konsumtion). Эти проповеди по форме и содержанию часто напоминают аналогичные аскетические предостережения отцов церкви»²⁾. «Протестантизм играет, — по мнению Маркса, — существенную роль в процессе возникновения капитала уже потому, что он превращает все традиционные праздничные дни в рабочие дни»³⁾ (Der Protestantismus spielt schon durch seine Verwandlung fast aller traditioneller Feiertage in Werktage eine wichtige Rolle in der Entstehung des Kapitals). Эта последняя мысль высказана Марксом в примечании; а в тексте, в котором это примечание относится, Маркс цитирует анонимную брошюру конца XVIII ст.; в этой брошюре идет речь о том, что усиленный труд в течение шести дней недели — такое же божеское установление, как и отдых на седьмой день... (An Essay on Trade and Commerce containing Observations on Taxation etc. London 1770).

Характерно, что Маркс говорит: протестантизм сыграл крупную роль в генезисе капитала уже по одному тому, что увеличил число рабочих дней. Значит, он допускал мысль о крупной роли протестантизма в создании других, более существенных сторон капиталистических отношений. И он был совершенно прав,

¹⁾ K. Marx, Das Kapital, I B., I Abschnitt, I Kap., Die «Ware», § 4: Der Fetischcharakter der «Ware und sein Geheimnis» (перевод наш. А. Н.).

²⁾ Das Kapital, II B., hrsg. von Fr. Engels, Hamburg. Otto Meissner, 1885, I Abschnitt, I Kap., § 34 (перевод наш. А. Н.).

³⁾ Das Kapital, I B., III Abschn., VIII Kap., § 5, Anm. 124.

ибо увеличение числа рабочих дней—факт второстепенный сравнительно с той грандиозной ломкой общественных отношений, которая и составляет процесс возникновения капитализма. Но в чем же еще мог усматривать Маркс значение протестантизма для возникновения капитала? Не в создании ли того психологического типа, который нужен был капитализму и который мог сложиться лишь в результате ломки всей традиционной психики? На этот вопрос у Маркса нет прямого ответа; у него есть лишь намек на ответ. Этот намек чувствуется в слове «традиционные праздники»: Маркс как бы хочет подчеркнуть факт ломки бытовой и религиозной традиции и ту роль, которую сыграл протестантизм в этой ломке. Но дальше подобных предположений мы не можем идти за отсутствием точных данных: нам важно было лишь указать, что и Маркс не только высказывал мысль о соответствии протестантской религии буржуазным общественным отношениям, но и подчеркивал роль протестантизма в самом генезисе капитала.

В прочих приведенных нами цитатах Маркс совершенно определенно говорит о протестантизме, как о порождении капитализма. В первой из них он делает ударение на абстрактном характере общественных отношений при капиталистическом строе и на абстрактном характере соответствующей им религиозности. Это замечание не случайно брошено Марксом именно в главе о товарном фетишизме: ибо как раз в этой главе Маркс вскрывает безличность и сверхличность людских отношений в капиталистическом обществе. Вспомним, что говорит М. Вебер о сверхличном характере пуританского индивидуализма в религии и хозяйстве (личное служение сверхличному богу в обществе путем деятельности, носящей сверхличный характер).—и сходство подмеченного Марксом и Вебером основного соответствия покажется разительным! Мы оставляем здесь пока в стороне вопрос о том, как объясняют Маркс и Вебер это соответствие, с какой стороны они к нему подходят, и намеренно фиксируем наше внимание на самом факте совпадения подмеченного ими обоими соответствия. Ибо, как увидим дальше, этот факт важнее всего для уразумения ценного в М. Вебере.

Упомянутое совпадение идет и еще дальше: Маркс ставит аскетизм в связь с «produktive Konsumtion», т. е. с приматом производства над потреблением, он заставляет протестантизм бороться с традиционализмом.—точь в точь, как это делает М. Вебер! И, наконец, самая идея Вебера о безличности накопления на заре капитализма,—разве она не представляет собой модификации идеи Маркса о безличности капитала, как общественной категории? Влияние Маркса на М. Вебера в постановке вопроса о генезисе капитала и о роли протестантизма в этом генезисе совершенно несомненно ¹⁾.

¹⁾ В одном только, впрочем весьма мало существенном, пункте Маркс и Макс Вебер расходятся в своей оценке протестантизма; но и это расхождение несомненно основано на недоразумении, т. е. на том, что Маркс, специально не исследовавший этого вопроса, отождествил хозяйственную идеологию Лютера с хозяйственными учениями протестантизма и пуританства вообще. Маркс совершенно правильно подчеркивает не-капиталистический характер лютеранства, вернее его отсталость, как капиталистической идеологии, и ставит в связь лютерову проповедь умеренной торговли и воздержности не с промышленным капиталом, а с накоплением сокровищ. М. Вебер в своей оценке Лютера, как компромиссного мыслителя, остановившегося на полпути между католицизмом и пуританством, между хозяйственным традиционализмом и капиталистическим духом, идет, как видим, по стопам Маркса. Но Маркс делает в этой связи

Действительное различие между Вебером и Марксом начнется лишь с того момента, как М. Вебер приступает к изображению этой роли протестантизма. Ибо ход мыслей М. Вебера примерно таков: капитализму нужна была в эпоху его возникновения определенная хозяйственная психология и идеология. Но не он создал ее; или точнее: он создал ее из материала, уже существовавшего до возникновения капитализма,—из материала религиозных верований. Эти последние развивались, следуя своей собственной внутренней закономерности, но, конечно, испытывая на себе и влияние окружающей общественной обстановки. Но это не была обстановка капиталистического общества: ибо развивавшиеся по своим собственным законам религиозные учения реформации создали субъективные предпосылки капитализма еще до сложения капиталистического общества. Капитализм лишь заставил служить себе эти уже ранее созревшие предпосылки, эти психические качества и идеологические устремления, которые в значительной мере были порождением протестантизма. Поэтому у М. Вебера нередко можно встретить выражения в роде следующего: «там, где появляется капиталистический дух, он создает себе денежные богатства, как средства и орудия своей деятельности, а не наоборот» («R. S.», 1, S. 53) или: «аскетический протестантизм принялся пропитывать своей методикой повседневную жизнь и преобразовывать ее» («R. S.», 1, S. 163). Конечно, подобные формулировки так же, как и тот ход мыслей, который они выражают, очень далеки от Маркса. Но в большую ошибку впал бы тот, кто пожелал бы усмотреть в них философский идеализм, перенесенный на почву истории. М. Вебер—не идеалист и не материалист; он отвергает всякое философское рассмотрение общественного развития, пренебрежительно называя его «философией истории» или «метафизикой». Его позиция—эмпиризм, но не бессознательный, а умеренный, принципиальный. Единственная философская дисциплина, которую он считает возможным, приводить в связь с эмпирической социологией и историей,—это логика. Но связь между ними остается и должна оставаться чисто-формальной: логика никому не учит, ничего не предписывает, не создает никаких исторических законов, не навязывает историку никаких правил, не предлагает ему никаких методов исследования. Она только изучает структуру тех понятий, при помощи которых эмпирическая наука исследует эмпирическую действительность. Логика истории анализирует те понятия, которыми историки фактически пользуются в своей работе; она может делать открытия, но не ее дело заниматься изобретениями: она лишь уясняет историку методику его собственной работы. М. Вебер всячески стремился изгнать из эмпирических наук об обществе элементы оценки,—политической, историко-куль-

несколько неожиданное заявление: «Der Schatzbildner ist übrigens soweit sein Aethelismus mit tatkräftiger Arbeitsamkeit verbunden ist, von Religion wesentlich Protestant und noch mehr Puritaner». И вслед за тем приводит цитаты из книги Лютера: «Bücher vom Kauffhandel und Wucher», 1524. Это отождествление пуританства с идеологией накопления сокровищ встречается у Маркса только в одном месте в «Zur Kritik der Politischen Oekonomie» (II Kap., § 3a). Schatzbildung, S. 125—129. В «Капитале» пуританство рассматривается именно как идеология накопления сокровищ. Поэтому мы считаем себя в праве скинуть со счетов отождествление пуританства с идеологией образования сокровищ. Принадлежащее замечание Маркса по поводу Лютера интересно лишь тем, что в нем еще раз подчеркнута связь протестантского аскетизма и повышенной работоспособности и что содержащаяся в нем оценка Лютера составляет как бы прообраз оценки у М. Вебера.

турной, религиозной, моральной и эстетической. А во всякой философии, по его мнению, неизбежно содержатся оценочные суждения того или иного порядка, и поэтому попытка поставить ту или иную эмпирическую дисциплину в связь с философией неизбежно вносит в нее чуждые ей черты, нарушающие ее строго-эмпирический характер. Этот интеллектуальный ригоризм М. Вебера, доходящий у него до последних мыслимых пределов, объясняет и его тяготение к формальной логике Риккерта, которое на первый взгляд кажется несколько странным и стоящим в противоречии с его собственной практической методикой. Из этого же ригоризма происходит и принципиальный эмпиризм М. Вебера. С точки зрения этого эмпиризма всякие философские суждения о том, что составляет базис общества и его надстройку, представляются лишь метафизическим гипотезированием логических категорий, которые сами по себе (как, напр., категории базиса и надстройки) могут быть прекрасными орудиями познания до тех пор, пока их применяют, сознавая ограниченность их значимости. Макс Вебер сам удачно сформулировал свою принципиально-эмпирическую точку зрения в следующих словах: «Я отнюдь не намерен,—говорит он на последней странице своей «Протестантской этики»,—поставить на место односторонне-материалистического каузального толкования культуры и истории столь же одностороннее спиритуалистическое каузальное их толкование. И то, и другое толкование одинаково возможно, но оба одинаково мало помогают выяснению исторической истины, когда имеют претензию служить не предварительным, а заключительным этапом исследования» («R. S.», 1, S. 205—206).

Эта последняя оговорка М. Вебера отнюдь не является уступкой ненавистной «метафизике»: Вебер хочет лишь сказать ею, что «односторонне»-материалистическая и «односторонне»-идеалистическая точки зрения могут служить ценными эвристическими орудиями, удобными аспектами рассмотрения эмпирической действительности, но не могут являться целью этого рассмотрения. Методологическая позиция, охарактеризованная самим М. Вебером в цитированной нами формуле, неизбежно привела бы всякого другого, логически менее последовательного и исторически менее чуткого, ученого к теории факторов. Но М. Вебер твердо стоит на почве принципиального эмпиризма. Теория факторов (о которой он прямо нигде ничего не говорит) молчаливо отвергается им, как метафизическая концепция. Ведь принять ее—значило бы для Вебера попеременно возводить в степень метафизических субстанций то материальные, то духовные причины исторических явлений, т.е. постоянно становиться то на точку зрения материализма, то на точку зрения идеализма,—и притом в философском, а не в чисто-методологическом их значении. А это значило бы, что интеллектуальный ригоризм М. Вебера утратил всякий смысл. Поэтому М. Вебер не дает никакой теории взаимодействия факторов; у него нет последовательного философского плюрализма. Он лишь эмпирически, каузально рассматривает взаимодействия конкретных исторических явлений. Когда ему приходится ставить вопрос о связи явлений из различных сторон общественной жизни,—а изучением этой связи он занимается во всех своих конкретно-исторических работах,—то он лишь указывает на соответствие, проследживает его исторические корни, но не дает философского его объяснения. Объяснение, даваемое в этих случаях М. Вебером, исчерпывается обычно тем,

что он указывает, как и почему (т.е. в силу каких причин) складывалось это соответствие, если проследить его генезис под каким-нибудь одним углом зрения,—если предположить, скажем, что религиозные явления послужили на этот раз причиной экономических или наоборот. При этом М. Вебер отнюдь не думает, что так оно и было в действительности. Он лишь задается целью показать, как представится нам исторический процесс, рассмотренный так, «как если бы» он определялся религиозными или экономическими факторами. Но это «как если бы» не «фикция»—не простая «игра ума»: оно—эвристическое орудие, дающее возможность установить, какова на самом деле была в каждом данном случае доля причинного влияния религиозных явлений на экономические и наоборот¹⁾. Поэтому М. Вебер всегда и говорит в таких случаях не о взаимной обусловленности разных сторон общественного целого, принимающей форму закона, а об их адекватности друг другу. «Капиталистическая форма хозяйства,—говорит он, напр.,—и дух, в котором оно ведется, находятся, правда, в отношении постоянной адекватности друг к другу, но не в отношении «закономерной» зависимости друг от друга. И если мы все-таки обозначаем здесь то мировоззрение, которое... стремится к профессионально-систематическому и рационально-законному добыванию прибыли, предварительным термином: «дух (современного) капитализма», то это происходит по той исторической причине, что это мировоззрение нашло самую адекватную себе форму в современном капиталистическом предприятии, а капиталистическое предприятие нашло в этом мировоззрении самую адекватную духовную движущую силу своего развития» («R. S.», 1, S. 49). В некоторых других местах своей социологии религий М. Вебер обозначает связь различных сторон общественной жизни еще более неопределенным словом: «wahlverwandt». Так, он считает нужным исследовать «Wahlverwandtschaften», существующие между известными формами религиозной веры и этикой призвания («R. S.», 1, S. 83); кальвинизм представляется ему «wahlverwandt» психологии буржуазно-капиталистических предпринимателей («R. S.», 1, S. 145); он намечает «Wahlverwandtschaften» между буржуазией и определенными типами религиозности («R. S.», 1, S. 256). Число примеров можно было бы увеличить, но в этом нет надобности: все они свидетельствуют об одном и том же, а именно о том, что М. Вебер опасается говорить о закономерной взаимной обусловленности различных сторон общественной жизни, стараясь заменить прямые указания на наличие такой обусловленности возможно менее определенными высказываниями об «адекватности» и «внутреннем родстве». Правда, как увидим дальше, и эта «адекватность» имеет у Вебера вполне реальный смысл и даже ставится им в тесную связь с причинностью. Но она во всяком случае не тождественна с той зависимостью, которая может быть выражена в форме закона. Мы оставляем пока в стороне анализ категорий «адекватности», «адекватного причинения» и «объективной возможности» у М. Вебера. О них будет еще речь впереди. Здесь мы хотели только подчеркнуть принципиальный эмпиризм М. Вебера и его сознательный отказ от фило-

¹⁾ Отсюда ясно, что этот прием эмпирического рассмотрения исторических явлений ничего общего не имеет с «фикционализмом» в духе Vaihinger'a и его «Philosophie des Als-ob», которая представляет собою в сущности метафизическую концепцию.

софии общества, ибо в этом и заключается собственно самое глубокое,—и, пожалуй, единственное глубокое,—отличие Вебера-социолога от Маркса. Однако оно остается у М. Вебера различием в сфере гносеологической и оказывает сравнительно мало влияния на его конкретную историко-социологическую работу,—во всяком случае меньше, чем можно было бы ожидать. Это происходит от того, что М. Вебер и здесь нередко становится на свою излюбленную позицию: «как если бы». В некоторых местах своей социологии религий он как будто рассуждает, примерно, следующим образом: «допустим, что я—не принципиальный эмпирик, а сторонник исторического материализма; как должен был бы я в таком случае рассматривать соответствия между религиозными и экономическими явлениями? Так-то и так-то (далее идет рассмотрение, по духу очень близкое к материалистическому). Но все это—лишь эвристический прием. Я вовсе не убежден в примате базиса над надстройкой и в прочих постулатах исторического материализма. Я воспользовался ими только для того, чтобы удобнее осветить ряд исторических явлений: я только на время нарядился в философские одеяния материализма. Теперь, когда они сослужили мне ту, весьма ограниченную, хотя и важную службу, которую могли сослужить, я сбрасываю их с себя и вновь заявляю: я не верю в то, что они могут служить какую-нибудь службу, что при помощи этих волшебных одеяний можно проникнуть «и в нищую хату, и в царский чертог». Я эмпирик; чисто-эмпирические цели ставлю я себе, и даже философские средства пускаю в ход только для достижения этих эмпирических целей». — Эта фантастическая, но, как нам кажется, довольно правдоподобная речь, вложенная нами в уста М. Вебера, ясно показывает, что на практике эмпиризм Вебера насквозь пропитан философским влиянием Маркса. И даже тогда, когда Вебер не пользуется философскими средствами, как эвристическим приемом, его практические выводы поражают своей близостью к Марксу, и не будь его методологических заявлений, можно было бы принять его за бессознательного последователя Маркса, не отдающего себе отчета в собственной методике. Но Вебер достаточно часто и вполне сознательно пользуется категориями исторического материализма, как эвристическим приемом, и часто прелмывает охарактеризованное нами временное превращение свое в сторонника исторического материализма. Как объяснить иначе такое, напр., общее суждение Вебера, которое странно звучало бы в устах эмпирика, никогда не прибегающего к философским категориям: «Интересы (материальные и идеальные), а не идеи руководят непосредственно поступкам людей?» (RS, 1, S. 252). Как объяснить иначе то обстоятельство, что М. Вебер рассматривает связь различных сторон общественной жизни всегда под углом зрения «базиса-надстройки»?

Отвергая принципиально исторический материализм, как метафизическую концепцию, называя свою «Протестантскую этику» «положительным преодолением материалистического толкования истории»¹⁾, М. Вебер на практике широко пользовался ка-

¹⁾ По словам Марианны Вебер, М. Вебер читал в Венском университете в 1917—18 гг. лекции по социологии религий под заглавием: «Die positive Überwindung der materialistischen Geschichtsauffassung». Ударение делалось при этом на слове: «позитивный». Негативную критику исторического материализма М. Вебер считал бесплодной и жестоко обрушился на нее на Штаммлера. (Ср. Marianne Weber Max Weber. Ein Lebensbild. 1926).

тегориями Маркса. И сколько бы он ни говорил о том, что это—лишь эвристический прием, факт остается фактом: Вебер, применяя, и методы тоже обязывают. И в них есть своя логика, связывающая того, кто пользуется ими. Сознательно применяя марксистские категории, как средства для своих целей, невольно приходишь к марксистским выводам, ибо между целями и средствами исторического познания существует теснейшая связь. И Макс Вебер в своей конкретной исследовательской работе неоднократно приходил к марксистским выводам. То, что кажется в них немарксистским, относится больше к самой формулировке, чем к содержанию, и нередко легко поддается «переводу на марксистский язык». Мы приведем сейчас несколько примеров, сделаем несколько опытов такого «перевода».

Макс Вебер часто пользуется в своих социологических работах понятиями «харизма» и «повседневность». Харизматическое господство он называет такой тип господства, который психологически основан на каких-либо качествах властителя, выходящих за пределы обычного и повседневного; «харизма» иррациональна и враждебна всякому традиционализму; ее психологический источник—авторитет властителя и авторитетность и неоспоримость его высказываний, а отнюдь не уважение к правовым или политическим нормам. Маг, религиозный пророк, царистский властитель, предводитель охотничьего племени, военный вождь, глава партии,— вот основные разновидности типа харизматического властителя. «Харизме» противостоит «повседневность», т. е. обычный строй жизни, медленно слагавшийся в ходе исторического развития. С этой точки зрения влияние Кальвина в Женеве, напр., имело своим психологическим источником харизматические качества самого Кальвина, как религиозного реформатора, в то время как власть римского папы носила традиционалистский характер и имела свои корни в «повседневности». При поверхностном взгляде на эту классификацию она может показаться бесцельной, причудливой и идеалистичной. И, однако, она имеет очень мало общего с идеализмом и является в руках М. Вебера прекрасным орудием историко-социологического исследования. При более внимательном ознакомлении с этой классификацией обнаруживается, что под «повседневностью» М. Вебер разумеет исторически сложившийся экономический строй данного общества, а под «харизмой»—те явления духовного порядка, которые выражают идеологию и психологию нового хозяйственного строя, идущего на смену старому. В противопоставлении «харизмы» и «повседневности» М. Вебер стремится символизировать борьбу отживающих общественных форм с новыми, вырастающими из них и выслаивающимися, в качестве первых своих предвестников, харизматических властителей этих идеологов нового. Их появление всегда знаменует, по Веберу, эпоху перелома, революции. Но революция по самому существу своему враждебна всякому традиционализму, всему тому что веками отливало в определенные формы и застыло в них. Поэтому-то М. Вебер и обозначает тот старый экономический порядок, с которым борется харизма, словом «повседневность». Ибо это понятие достаточно широко для того, чтобы вместить в себя различные типы этой борьбы; оно дает лишь общие рамки, в которых удобно размещаются конкретные исторические явления. Наше толкование понятий «харизма» и «повседневность» отнюдь не является насилием над М. Вебером;

оно не навязывает ему мыслей, чуждых и несвойственных его социологии. Наоборот: сам М. Вебер называет «повседневностью» именно хозяйственную действительность («R. S.», 1, S. 261) и противопоставляет ей харизму именно в указанном выше смысле. Мало того: он набрасывает даже общие контуры процесса превращения «харизмы» в повседневность. Процесс этот, по Веберу, заключается в следующем: харизматический властитель, резко порывающий с традиционными формами экономического быта, вначале относится отрицательно ко всякой традиции, ко всякому быту, как таковому. Но как только его деятельность находит отклик в массах, так сейчас же в нее начинают просачиваться известные элементы традиционализма. Вначале они мало заметны, но постепенно на место старой традиции создается новая: политический властитель обрастает целым штатом нового чиновничества, военный вождь — штатом новых генералов и командиров, партийный вождь собирает вокруг себя все более многочисленную партию, религиозный пророк создает в конце концов новую церковь. Люди, окружающие харизматического властителя, вербуются из новых общественных слоев, идущих на смену старым; он сам — «homo novus», и новые люди окружают его. Да и самое создание новой традиции возможно лишь путем приспособления к новым потребностям экономического развития; это в сущности и есть содержание процесса «Veralltäglichung der Charisma». Говоря о религиозной харизме, Макс Вебер замечает: «Характер тех уступок, которые представители виртуозной религии спасения вынуждены были делать повседневной религиозности, определяет в первую очередь характер религиозного влияния харизмы на повседневность; а эти уступки делались для того, чтобы завербовать материальные и идеальные интересы масс» («R. S.», 1, S. 261). В переводе на марксистский язык эта формулировка М. Вебера будет звучать примерно так: религиозная харизма вынуждена приспособляться к потребностям повседневности, т.е. религия вынуждена приспособляться к потребностям экономического развития, и чем лучше она к ним приспособляется, тем больше она влияет на экономику. Другими словами: религия может оказывать влияние на экономическую жизнь, лишь приспособляясь к ней: она приспособляется для того, чтобы влиять на нее, и влияет потому, что сумела к ней приспособиться. Блестящий пример такого влияния религии на экономическое развитие через приспособление к его потребностям дает нам историческая судьба пуританизма в изображении М. Вебера. Марксист сказал бы, что здесь перед нами — обратное влияние надстройки на базис; вся работа Вебера о «Протестантской этике» представляет собою с точки зрения марксизма анализ такого обратного влияния. Вот — первый образчик того, как близко иногда подходит к марксизму практическая методика Вебера и как его формулировки о базисе и надстройке иногда лишь терминологически отличаются от марксистских. Другой, еще более яркий пример находим в формулировках Вебера, посвященных связи религии, хоз. этики, хозяйственного строя и жизненного поведения верующих.

«Хозяйственная этика, — говорит М. Вебер, — не есть простая функция форм хозяйственной организации; но она одна отнюдь не создает эти формы из себя. Никакая хозяйственная этика никогда не была детерминирована только религиозно. Само собою разумеется, что она в высшей степени обладает собственной закономер-

ностью, обусловленной хозяйственно-географической и исторической обстановкой... Но во всяком случае: одной из детерминант хозяйственной этики (мы подчеркиваем: одной из них!) является религиозная обусловленность жизненного поведения. Но и характер этой религиозной обусловленности жизненного поведения, конечно, в свою очередь, в сильной степени определяется экономическими и политическими моментами, которые воздействуют на него в рамках данной географической, политической, социальной, национальной обстановки. Стремление изобразить эти зависимости во всех подробностях было бы равносильно плаванью по безбрежному морю. Поэтому в нашем изложении может идти речь только о попытке выделить определяющие элементы жизненного поведения — тех социальных слоев, которые сильнее всего повлияли на практическую этику данной религии» («R. S.», 1, S. 238—239). Здесь Вебер строит большое четырехэтажное здание: «экономическая и историческая обстановка» составляет нижний этаж его; далее идет «жизненное поведение», потом «хозяйственная этика» и, наконец, религия и религиозная этика. Вебер считает невозможным проследить все взаимозависимости этих переплетающихся сфер общественной жизни, усиленно подчеркивает их взаимную обусловленность и как-будто становится практически на точку зрения плюралиста. А между тем, если разобраться в ходе его мыслей, то они приведут нас к уже знакомым выводам. В самом деле. Экономические условия могут по Веберу иногда и непосредственно определять характер хозяйственной этики. Но это далеко не всегда бывает именно так. И даже более того: всегда хозяйственная этика отчасти определяется и религиозными моментами, влияющими на жизненное поведение людей. Но самое влияние религии на жизненное поведение, а через него на хозяйственную этику в свою очередь обусловлено экономически (вспомним приспособление «харизмы» к «повседневности»). Таким образом, экономика может влиять на образ жизни, а через него на хозяйственную этику посредством религии. Или: экономика определяет характер того влияния, которое оказывает религия на жизненное поведение людей, а через него на хозяйственную этику. А отсюда следует: экономика редко влияет на хозяйственную этику непосредственно, а большей частью посредством религии. Таким образом, заявление Вебера: «хозяйственная этика не есть простая функция хозяйственных форм» вовсе не содержит в себе отрицания зависимости «надстройки» от «базиса»; его надо понимать, очевидно, так: «хозяйственная этика есть сложная функция хозяйственных форм»; в отрицательной формуле Вебера логическое ударение надо делать, по видимому, не на слове «функция», а на слове: «простая».

В приведенных суждениях Вебера хозяйственная этика играет роль «надстройки»; «базис» обозначается обще, как экономическая обстановка, а конкретно, как «социальный слой»; между «базисом» и «надстройкой» выдвигается ряд промежуточных звеньев, усложняющих построение и придающих ему предельную историческую определенность; при этом «надстройка» разложена на свои составные части и ближе всего к базису оказывается один из ее элементов: через религиозную обусловленность жизненного поведения влияет тот или иной социальный слой на характер соответствующей ему хозяйственной этики. Вебер как будто склонен относить к числу характерных признаков социального слоя не только экономическое

положение его и жизненное поведение его членов, но и его идеологию. Как не вспомнить здесь тонкого замечания Трельча о том, что в самом базисе у Вебера заключены элементы надстройки?¹⁾

По существу и в этом нет ничего, что решительно противоречило бы пониманию «базиса» и «надстройки» у самого Маркса, — если только не придавать этой особенности Веберова толкования Марксовых категорий того метафизического оттенка, который стремится придать ему Трельч. Маркс, ведь, различал «класс в себе» и «класс для себя» и считал развитым, сложившимся классом лишь тот, который является носителем определенно-выраженной идеологии, т. е. обладает классовым самосознанием. Подобно этому Вебер различает «материальные» и «идеальные» интересы и противопоставляет те и другие идеям (S. 252); эти последние, по его мнению, устанавливают лишь вехи того пути, в пределах которого динамика интересов определяет поступки людей.

Только что охарактеризованный нами ход мыслей, встречаем еще раз в рассуждениях Вебера об отношении рациональных элементов религии спасения души (ее «учения») к иррациональным ее элементам (вере). Рациональные концепции бога (особенно надмирного личного бога) складывались, по Веберу, под влиянием исторических причин; М. Вебер подчеркивает значение социальных моментов в формировании религиозной догмы и влияние этой догмы на эмоциональные элементы религии в противовес некоторым исследователям, которые склонны придавать решающее значение только этим последним. «Рациональные элементы религии, ее учение, — говорит М. Вебер, — имеют тоже свои закономерности (развития), и религиозная прогматика спасения души, вытекающая из тех или иных представлений о боге и мире, тоже имеет иногда очень серьезные последствия в деле формирования практического жизненного поведения» (R. S., 1, S. 258—259). Здесь перед нами, повидимому, опять то же знакомое соотношение разных элементов базиса и надстройки. «Учение» религии, ее догма определяется социальными моментами и в свою очередь оказывает влияние на практическое жизненное поведение. Другими словами: «базис» (т. е. «социальные моменты», под которыми следует разуметь социальных носителей данной религии) определяет характер одной части надстройки (т. е. религиозной догмы), а она оказывает влияние на другие ее части (т. е. на эмоциональное содержание религии, на ее веру), и через это влияние посредственно воздействует на жизненное поведение. Все это опять-таки поддается переводу на марксистский язык.

Но тут неизбежно возникает вопрос: к чему такая сложность? Если построения Вебера действительно так близки к Марксову толкованию «базиса» и «надстройки», как нам это представляется

¹⁾ Впрочем Troeltsch несколько преувеличивает значение подмеченного им нюанса в толковании «базиса» и «надстройки» у Вебера и объясняет его по своему. Вот что говорит Troeltsch: «Великие периоды истории культуры действительно лучше всего характеризовать по отличительным чертам их базиса; и эта характеристика станет еще более обоснованной, когда будет показано, что в самом базисе уже находится нечто своеобразное в духовном отношении, в самом базисе уже находится нечто своеобразное в духовном отношении, и что оно придает особые оттенки и свое направление даже самым элементарным явлениям жизни». В качестве образчиков такого толкования базиса Troeltsch приводит понятие капиталистического духа у Зомбарта и М. Вебера. Нам представляется, что замечание Troeltsch'a в большей мере относится к первому, чем ко второму, — особенно в той формулировке, в которую он его облек (см. Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, S. 350, Anm. 176; ср. так же S. 345).

то почему М. Вебер вводит так много промежуточных звеньев? Почему у него столько перекрещивающихся взаимных влияний, почему надстройка разложена на составные элементы и эти последние поставлены в такие причудливые сочетания друг с другом и с базисом? Почему, наконец, и базис разложен на элементы и вместо привычных для марксиста классовых интересов фигурируют «материальные» интересы (определяемые соц. положением) и интересы «идеальные» (закрывающиеся в заинтересованности известных социальных слоев в обладании некоторыми духовными ценностями, — напр., определенной религиозной квалификацией)? (Ср. R. S., 1, S. 252, 253, 259—260). На все эти вопросы можно дать очень простой ответ. Сложность построений М. Вебера происходит не из его склонности к «гимнастике ума» и не из желания во что бы то ни стало поставить свою терминологию на место терминологии Маркса; она вызывается самими потребностями и задачами историко-социологического исследования. В своем знаменитом предисловии к «Критике политической экономии» Маркс дал гениальную схему взаимоотношений различных сторон общественного целого. Пока речь идет об основных принципах общественного развития, эта схема прекрасно выполняет свое назначение, не нуждаясь ни в какой конкретизации. Но когда исследователь хочет приступить к анализу конкретных исторических процессов, оставаясь на почве марксова учения о «базисе» и «надстройке», ему volens nolens приходится усложнять эту схему, наполняя ее живым содержанием исторической действительности. Так должен поступать не только всякий ученый, близкий к марксизму, но и всякий ортодоксальный марксист: ибо только при такой конкретизации марксовых формул они приобретают всю свойственную им гибкость и диалектичность, ничего не теряя из своего принципиального значения. Для нас неважно в данной связи, признает или не признает это их принципиальное значение М. Вебер. Пусть он не признает его. Но из этого еще не следует, что марксизм должен отвергнуть все его попытки конкретизировать марксовы абстракции и категории, попытки, которые он предпринял, применяя эти категории в процессе исследовательской работы. Наоборот: марксизм должен принять их, сохраняя философское значение марксова учения во всей его неприкосновенности. Ибо попытки М. Вебера представляют собою очень поучительный пример того, как можно соединить широкие социологические обобщения с величайшей конкретностью исторического изложения, как можно материалистически (по методу, по крайней мере) анализировать тончайшие нюансы идеологии, ни на минуту не впадая в схематизм. Этими достоинствами грешат очень немногие марксистские работы. Все это заслуживает величайшего внимания со стороны марксистов, которые могут и должны воспринять конкретную методiku М. Вебера, поставив ее в рамки марксова учения и соответственно видоизменив некоторые ее особенности. Приятие конкретно-исторической методики и методологии (т. е. не логики!) М. Вебера, выросшей в сущности из марксизма, решительно ничем не угрожает чистоте философских одежд марксизма, но зато способно оказать ему большую услугу в области исторического исследования. Ибо в том-то и состоит главная заслуга М. Вебера перед наукой вообще и марксизмом в частности, что он дал образчики удачного исторического анализа взаимоотношений различных сторон общественного целого и сделал это на практике, а не в теории, широко используя при этом учение об обрат-

ном влиянии надстройки на базис. В этом смысле он — по духу, если не по букве — является прямым продолжателем Маркса на почве истории. И еще в одном смысле Вебер испытал на себе сильное влияние Маркса. Несмотря на свою враждебность к Гегелю, он изображает эволюцию религиозных идей пуританства диалектически: доходя в своем развитии до известного пункта, эти идеи, как мы видели, переходят в иное качество: религиозная этика мирского аскетизма превращается в хозяйственную этику капитализма. Troeltsch также подметил диалектичность историко-социологических построений М. Вебера и поместил даже характеристику его работ в главу о марксистской диалектике. Вот что пишет Troeltsch по этому поводу: «Макс Вебер... заявлял, что он методологически примыкает к Риккерт; а это означает отказ от всякого диалектического или органистического понимания развития... Но в его практической исследовательской работе преобладает интеллектуальное воззрение больших социологических комплексов и обширных взаимозависимостей развития. В этом пункте на него оказал, повидимому, глубокое и длительное влияние именно Маркс»¹⁾.

Но помимо этих черт методики М. Вебера, роднящих его с Марксом, в его конкретно-исторических работах — и в частности в «Социологии религий» — встречаются следы методологии Риккерта, а также методические приемы, составляющие особенность самого М. Вебера и резко отличающие его от всех прочих мыслителей и исследователей в области общественных наук. Обратимся теперь к этим, совершенно своеобразным, приемам Вебера.

Мы ограничимся в этой части нашей работы исключительно методологическим и методическим их разбором. Говоря об «историческом индивидууме», «идеальном типе», «адекватной обусловленности» и т. д., мы будем иметь в виду не чисто-логическую структуру этих категорий и не их гносеологическое значение, а исключительно их применение на практике исторической исследовательской работы. Мы сознательно ограничиваем здесь нашу задачу, ибо для установления различия между логикой и эмпирической социологией Вебера необходимо предварительно ясно представить себе сущность методики и методологии Вебера не в ее чисто-теоретическом обосновании, а в практическом ее проявлении.

При первом ознакомлении с социологией религий Вебера может сложиться такое впечатление, что Вебер исходит не из понятий общества, а из риккертова понятия «исторического индивидуума». Именно этот последний, а не общество, как целое, составляет как будто объект исследований Вебера: познание «исторического индивидуума» является как будто главной его целью. Но уже самое сравнение того толкования, которое Вебер придает на практике понятию «исторического индивидуума», с тем его определением, какое мы находим у Риккерта, показывает, что в этом первом впечатлении есть какая-то ошибка. Для Риккерта «исторический индивидуум» — это «многообразие, ценное благодаря своему своеобразию»²⁾. Он становится объектом исторического познания потому, что целью исторического рассмотрения культуры, по Риккерт, является именно уловление неповторяемого, своеобразного и инди-

¹⁾ E. Troeltsch, Der Historismus, S. 368.

²⁾ Г. Риккерт. Границы естественно-научного образования понятий, пер. А. М. Водена, стр. 417.

видуального, как такового, а цель науки определяет ее характер. Субъект формирует объект; он преодолевает интенсивное и экстенсивное многообразие культурной действительности при помощи отнесения явлений к их культурной ценности, которое дает ему возможность строить из материала этой действительности исторические индивидуумы, отличающиеся единством, несмотря на заключенное в них многообразие. Это единство есть в то же время и неповторяемость, ибо именно она и превращает данное многообразие культурных явлений в «исторический индивидуум»; это превращение происходит благодаря тому, что то или иное явление, имеющее непостоянное культурное значение, становится центром данного многообразия путем теоретического отнесения данного явления к общезначимой ценности. В соответствии с этим Риккерт дает следующее определение «исторического индивидуума»: «Endlich konnten wir das historische Individuum als die Wirklichkeit bestimmen, die sich durch bloß theoretische Beziehung auf einen allgemeinen Wert zu einer einzigartigen und einheitlichen Mannigfaltigkeit für jeden zusammenschließt»¹⁾. Историческое познание этого индивидуума Риккерт представляет себе, как разложение его — при помощи все того же теоретического отнесения к ценности — на существенные и несущественные составные части. Итак, главные отличительные признаки «исторического индивидуума» Риккерта это — 1) неповторяемость и своеобразие и 2) единство в многообразии. Как бы ни был сложен по своему составу исторический индивидуум, главное в нем все же остается неповторяемым, и именно это неповторяемое и делает его индивидуумом. Более того: Риккерт склонен считать «историческими индивидуумами» в строгом смысле этого слова (или абсолютно-историческими понятиями) только те индивидуумы, которые своеобразны и неповторяемы во всех своих частях; остальные он относит в особую группу относительно-исторических понятий.

Совсем не то у М. Вебера. Он, правда, воспринял у Риккерта понятие «исторического индивидуума», но сильно модифицировал его. Вебер в своей социологии религий определяет исторический индивидуум, как «комплекс связей в исторической действительности, которые мы в понятии соединяем в одно целое под углом зрения их культурного значения» («R. S.», 1, S. 30). Место «отнесения ко всеобщей ценности» заняло здесь гораздо более неопределенное понятие «культурного значения»; отмечена сложность исторического индивидуума, которую М. Вебер не устает подчеркивать чуть ли не каждый раз, когда о нем заходит речь (Ср. «R. S.», 1, S. 264—265). Какова сложность его состава по представлениям М. Вебера, показывает уже тот факт, что он называет «историческим индивидуумом» объект, к которому им прилагается обозначение: «капиталистический дух». А между тем сложность структуры «капиталистического духа» такова, что в него входят не только своеобразные и неповторяемые элементы, но и некоторые повторяющиеся черты. М. Вебер в своей работе показал, из каких своеобразных модификаций повторяющихся мотивов складывается та идеология, которую он назвал «капиталистическим духом». Такой «исторический индивидуум» Риккерт в лучшем случае поместил бы в группу относительно-исторических понятий, Kollektivbegriffe. Но М. Вебер как раз и интересуется именно они

¹⁾ Rickert, «Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung», 5. Aufl., Tübingen, Mohr, 1921, S. 255.

Он на практике совершенно игнорирует риккертово деление понятий на абсолютно- и относительно-исторические, на Individual- и Kollektivbegriffe и тем самым выходит за пределы учения Риккерта об историческом индивидууме. Это понятие оказывается недостаточным для его основной цели — нахождения повторяющегося в своеобразном, общего в индивидуальном; поэтому он оперирует понятием «идеального типа». Идеально-типическое понятие представляет собою усиление известных черт данной совокупности культурных явлений до степени утопичности; при этом отыскиваются именно те ее черты, которые являются наиболее характерными и существенными для нее и в то же время в различной мере свойственны и другим культурным явлениям. Именно по этой последней причине идеальный тип и является типом; он кроме того представляет собою идеальный тип потому, что указанные черты взяты в их идеальном виде, т.е. в том виде, в котором они никогда не могут существовать ни в какой конкретной действительности, но который они примут, если логически продумать их до последних пределов. Мы пока оставляем в стороне вопрос о том, на каких основаниях производится выбор таких черт и их возведение в идеальность. Здесь важно лишь отметить, что идеально-типическая конструкция представляет собою своего рода масштаб или (как в одном месте выражается М. Вебер) термометр для измерения действительных отношений. Мы уже указывали в начале нашей работы, что вся «социология религий» построена идеально-типически. Теперь мы познакомились с некоторыми отдельными идеально-типическими понятиями М. Вебера. «Харизма», «повседневность», «традиционализм» и проч., — все это понятия идеально-типические: они не совпадают ни с какой действительностью и являются, как мы видели, усилением некоторых черт, присущих различным комплексам культурной действительности одного и того же рода и каждому из них в отдельности (вспомним различные виды харизматического господства). Идеальный тип есть, конечно, общее понятие, особый вид изолирующей абстракции. Но Макс Вебер называет идеальными типами не только общие понятия, приложимые к повторяющимся элементам различных культурных явлений. Он идет еще дальше: для него «идеальными типами» являются сплошь и рядом понятия, приложимые ко вполне определенным и своеобразным историческим феноменам. С его точки зрения идеально-типичны такие понятия, как «капиталистический дух», «протестантская этика» и т.д.; больше того: даже экономические категории буржуазного общества, установленные Марксом, и марксовы эволюционные построения М. Вебер прямо называет идеально-типическими. Для него и «капитализм» — идеально-типическое понятие¹⁾. Начиная с этого пункта М. Вебер окончательно покидает почву риккертовой логики.

Ибо с точки зрения этой последней такое расширительное толкование идеального типа вдвойне неправомерно: во-первых, нельзя прилагать недействительные, утопичные, фантастические категории к живому и реальному целому — историческому индиви-

¹⁾ Вот что он пишет в своей статье об «Объективности познания в области общ. наук»: «Absichtlich ist es vermieden worden an dem für uns weitest wichtigsten Fall idealtypischer Konstruktionen zu demonstrieren: an Marx. Daher hier nur konstatiert, dass natürlich alle spezifisch marxistischen Gesetze und Entwicklungs-konstruktionen — soweit sie theoretisch fehler sind, — idealtypischen Charakter haben» («Wissenschaftslehre», S. 204—205).

дууму; во-вторых, нельзя познать этот индивидуум при помощи общих понятий, каковыми несомненно являются «идеальные типы», а потому их можно прилагать лишь к составным частям исторического индивидуума, заключающим в себе элементы общего, но не к самому индивидууму, как таковому; ибо о нем можно образовать лишь индивидуальное, а не общее понятие. Это расхождение Вебера с Риккертом дало повод Шельтингу упрекнуть Вебера в непоследовательности, заподозрить в двусмысленности его понятия идеального типа¹⁾. Но этот упрек основан на недоразумении. Шельтинг думает, что Вебер во что бы то ни стало хочет остаться на почве риккертовой логики; оставаясь на ее почве, он, конечно, впал бы в противоречие, прилагая идеальные типы к совершенно неповторяемым историческим индивидуумам. Но в том-то и дело, что Вебер, как историк и социолог, преследует свои цели, резко отличные от тех целей, которые ставит себе идеальный историк, нарисованный Риккертом. Вебер вовсе не стремится познавать неповторяемое индивидуальное только в его неповторяемости. Напротив: он ищет в каждом своеобразном историческом целом повторяющихся черт и особенностей, которые в иных комбинациях, в другой форме, в более или менее развитом виде могут войти в состав иного, столь же своеобразного исторического целого. Вот для этой цели ему и нужны идеальные типы: они позволяют находить абстрактно-типическое в индивидуальном, не превращая это последнее в экземпляр родового понятия, т.е. сохраняя в неприкосновенности всю его индивидуальность.

Мы намеренно рассматривали идеальный тип, — говорит М. Вебер, — как конструкцию, которую создает наше мышление для того, чтобы измерять... индивидуальные связи, т.е. связи, имеющие значение в их своеобразии, как, напр., христианство, капитализм и т.д. Мы сделали это для того, чтобы устранить ходячее представление, будто в области культурных явлений абстрактно-типическое тождественно с абстрактно-родовым (abstrakt-gattungsmässig). Такое совпадение не имеет места²⁾. М. Вебер и показывает на практике, как абстрактно-типическое может сочетаться с индивидуальным: его идеально-типическое построение связи протестантской этики и капиталистического духа дает яркое представление об индивидуальных особенностях процесса зарождения современного капитализма; но оно в то же время вскрывает и ряд общих элементов, характерных для связи религиозной и хозяйственной этики вообще, оно уясняет самую структуру этой связи и позволяет использовать ее знание для широких типологических построений социологии религий. Познание общего открывает у Вебера путь к познанию индивидуального и наоборот. Рукою Вебера стерта резкая грань, проведенная Риккертом между индивидуальным и общим. Все индивидуальное и «неповторяемое» состоит из общего, и своеобразие разных индивидуальных констелляций сводится к своеобразию их структуры; их неповторяемость становится таким образом относительной. И с другой стороны: общее дано нам в истории только как индивидуальное, ибо оно никогда не выступает изолированно, а всегда входит в состав какого-нибудь индивидуального исторического целого. Чтобы познать

¹⁾ A. v. Schelling. Die logische Theorie der historischen Kulturwissenschaften von M. Weber etc. «Archiv für Sozialwiss.», 1922, H. 3, S. 732—733 ff.

²⁾ Max Weber, «Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre», Tübingen, 1922, S. 201 («Objektivität der sozialw. Erkenntnis»).

общее, как таковое, необходимо выделить его из целого ряда таких исторических целых, найдя в них то, что обще им всем; для того, чтобы познать индивидуальное, как таковое, надо выделить те его стороны, которые общи различным индивидуальным констелляциям, и затем понять тот принцип их связи друг с другом, который составляет особенность данной констелляции в отличие от других. Все это, как видим, бесконечно далеко от Риккерта.

И еще в одном существенном пункте Вебер отошел от него. У Риккерта самый объект исторической науки формируется познающим субъектом в понятие «исторического индивидуума». Без этого формирования и до него никакого «индивидуума» нет, а есть лишь интенсивное и экстенсивное многообразие действительности. «Идеальный тип» М. Вебера ничего не формирует в том смысле, что он ничего не создает заново. Он лишь ориентирует исследователя в действительности, ничего не предписывая ей. Он — орудие познания исторической действительности, взятое из нее самой. Результаты исследования, предпринятого при помощи этого орудия, могут дать, правда, целую идеально-типическую картину (напр., картину связи пуританской или конфуцианской религии с соответствующей хозяйственной этикой); такое широкое идеально-типическое построение может стать и целью историка. Не следует только принимать за самое действительность. Можно построить и идеально-типическую картину развития. Макс Вебер проделывает такой опыт в одном месте социологии религий, где он строит ряд ступеней религиозного неприятия мира и намечает ряд конфликтов религии спасения души с различными сторонами общественного строя сменяющихся эпох: с родовым бытом, с экономическим и политическим порядком, с эстетической, эротической и интеллектуальной сферой (Ср. «RS», 1, S. 542—565). Каждая из этих ступеней конструирована Вебером идеально-типически, и последовательность их дает представление об общем направлении развития. Это представление, конечно, статично, а не диалектично; но Вебер и рассматривает его в данном случае лишь как схему, служащую ориентирующим средством («R. S.», 1, S. 536). Мы видели на примере «Протестантской этики», что в тех случаях, когда идет речь о цели познания, М. Вебер на практике изображает процесс развития диалектически.

Чаще всего Вебер применяет в своих работах один особый вид идеально-типического понятия: он конструирует идеальный тип рациональных человеческих действий. Такая конструкция исходит из следующих предпосылок: люди вкладывают в свои действия известный смысл, известные представления о цели; поступки, направленные к достижению целей, они рассматривают, как средства. Историка эти субъективные представления людей интересуют, конечно, не с телеологической, а только с каузальной точки зрения. При этом речь идет не о психологии индивидуумов, а о логическом построении субъективного смысла их действий.

Стараясь понять этот субъективный смысл человеческих действий, историк рассматривает их субъективную цель, как то представление о желаемом результате поступков, которое на практике является причиной этих поступков. Люди действуют, однако, в известной общественной обстановке; их деятельность только в том случае может иметь осязаемые результаты, когда она ориентируется на объективных общественных условиях. Поступки, основанные на точном знании и использовании этих условий, М. Вебер на-

зывает «рациональными». Но эта «рациональность» может быть названа объективной только в том случае, если учет общественных условий был сделан правильно, и поэтому поступок имел тот эффект, который и был целью совершившего его лица. Далеко не всегда это бывает так. Весьма часто субъективная рациональность не совпадает с объективной; часто и отдельные лица, и целые общественные группы и классы действуют, учитывая объективную возможность успеха, и все же не достигают его. Это происходит тогда, когда в общественной жизни имеются условия, препятствующие успеху именно этих действий и не поддающиеся учету с точки зрения данных лиц или классов. Им кажется, что они действуют рационально, ибо они ориентировались на «объективную возможность», но в действительности их действия иррациональны. Ведь, категория «объективной возможности» обнимает лишь совокупность тех условий, которые могут — в силу объективных общественных условий — осуществиться в действительности; но они могут и не осуществиться, ибо всегда налицо может оказаться действие причин, мешающих общественной ситуации. В тех случаях, когда совокупность возможных условий, благоприятных данному историческому явлению, перевешивает действие условий, препятствующих ему, М. Вебер говорит об «адекватной обусловленности» этого явления. Но возможен и другой случай: препятствующие данному явлению условия могут быть так сильны, что они модифицируют его характер до неузнаваемости. «Рациональный» идеальный тип может служить орудием ориентировки во всех этих запутанных причинных связях. Он конструируется следующих образом: берется совокупность действий или устремлений лица или общественной группы, рационально направленных к достижению определенных целей; этим действиям и устремлениям историк, на основании познания их субъективного смысла, мысленно сообщает величайшую степень внутренней последовательности и рациональности, какая только возможна в объективной действительности, отвлекаясь от всех условий, могущих нарушить ее. Так поступает Вебер с протестантской этикой: подробно характеризуя внутренний субъективный смысл религиозного движения пуританства, он проследивает ход мыслей и представлений носителей пуританской этики, выделяя основные ее черты и доходя до последних, логически возможных из нее выводов. Так получается «идеальный тип» протестантской этики; по тому же методу конструируется идеальный тип «капиталистического духа». Но это — лишь первая ступень построения. Вслед за тем нужно внести корректив в идеально-типическое понимание протестантской этики, т. е. учесть те общественные условия, которые могли видоизменить ее характер, изображенный только что в его идеально-типической чистоте. Такими условиями оказываются экономические процессы, приведшие к зарождению современного капитализма. На третьей ступени построения дается анализ перерождения протестантской этики и указывается, как она сыграла историческую роль именно благодаря этому перерождению. Переродившаяся протестантская этика вступает в тесную связь с капиталистическим духом, входит в него, как его составная часть и как один из формирующих его элементов. Этой модифицированной протестантской этике, превратившейся в капиталистический дух, условия капиталистического развития стано-

вляясь уже не враждебными, а самыми благоприятными из всех возможных общественных условий; и в то же время их действие так сильно, что перевешивает действие возможных неблагоприятных условий. В этом смысле (в смысле наибольшей степени возможной благоприятности) М. Вебер и говорит об адекватности капиталистического духа строю капиталистического предприятия. В этой адекватности нет, таким образом, решительно ничего метафизического. И еще одно, заключительное, наблюдение позволяет сделать «социология религий» М. Вебера. Та черта исторического явления, которую Вебер кладет в основу идеально-типического понятия и которую он усиливает до абсолютности, избирается отнюдь не произвольно. Ее выбор основан на категориях объективной возможности и причинности: самыми существенными чертами «протестантской этики» М. Вебер считает те, которые имели или могли бы иметь наибольшее культурное значение, т.е., собственно говоря, те, которые сыграли или могли бы сыграть в силу объективных общественных условий наибольшую роль в истории.

4. «Город» М. Вебера.

Если «Протестантская этика и дух капитализма» дает пример идеально-типических построений М. Вебера, то его работа о городе представляет собою образчик сравнительно-исторического исследования. Правда, если рассматривать всю «Социологию религий» М. Вебера в целом, то и она представится в виде сравнительно-исторической типологической работы, в которую «Протестантская этика и дух капитализма» входит составною частью; не даром «Хозяйственная этика мировых религий» имеет следующий подзаголовок: «Опыты по сравнительной социологии религий» (*Vergleichende religionssoziologische Versuche*). С другой стороны и в работе о городе не мало идеально-типических построений. Но ударение в этих двух работах лежит на разных методических примерах Вебера. В «Социологии религий» оно сделано на идеально-типических построениях, в «Городе» — на сравнительно-исторических; в социологии религий Вебер сравнивает различные типы связи хозяйственной этики и религий, предварительно сконструированные им идеально-типически; сравнение идет здесь за идеально-типическим построением. В «Городе» сравниваются не столько идеально-типические типы различных явлений, сколько сами эти явления, причем идеально-типические понятия играют преимущественно ориентирную роль. И в «Социологии религий», и в «Городе» М. Вебер ищет повторяющихся черт в своеобразных исторических явлениях, ищет общего в индивидуальном; но в первом случае его больше занимает анализ индивидуального, во втором — нахождение общих черт различных индивидуальных процессов.

Поэтому мы считаем необходимым дать беглую характеристику методических особенностей работы Вебера «Город». Мы охарактеризуем ее лишь в самых общих чертах и приступим прямо к ее анализу, не излагая содержания самой работы и предполагая его известным.

¹⁾ Еще один образчик рационального или «телеологического» идеального типа М. Вебер дает в «*Zwischenbetrachtung*» («R. S.», I, S. 536—573); в начале этой статьи он формулирует сущность такого идеально-типического построения (S. 536—538).

В этой работе Вебер строит параллельные ряды развития. После за определением самого понятия «город», он набрасывает сначала в общих чертах эволюцию античного полиса и средневекового города, сопоставляя полис с городом средневековой Италии и делая несколько экскурсов в область истории города в переднеазиатских странах. Этот общий сравнительно-исторический обзор приводит Вебера к тому выводу, что, несмотря на все различия, полис и город итальянского средневековья имеют одну, чрезвычайно существенную общую черту, очень многое уясняющую в своеобразном параллелизме их исторического развития. Эта общая черта заключается в том, что и полис, и итальянский средневековый город представляют собою тип города-государства. Но этот общий вывод мало удовлетворяет Вебера. Ему представляется необходимым не только отыскать основное сходство, но и вскрыть основные различия между полисом и итальянским средневековым городом. Кроме того, ему нужно показать сходства и различия в эволюции средневекового города в различных странах Европы: большее или меньшее удаление городской эволюции в данной стране средневековой Европы от итальянского типа даст масштаб для измерения степени ее удаленности от типа городской эволюции античного полиса. Для уловления всей сложности и пестроты этих параллельных эволюционных рядов М. Вебер, начиная с III главы своей работы, сильно усложняет свое построение. Он вводит идеально-типические понятия «*Produzentenstadt*» и «*Konsumentenstadt*», «*Geschlechterstadt*» и «*Plebejerstadt*» и рассматривает при их помощи типические процессы развития города в разных странах и различные отрезки этих эволюционных процессов. «*Konsumentenstadt*», это такой тип города, в котором приобретательские шансы производителей (ремесленников и купцов) определяются наличием на месте крупных и отребителей. Социальный состав этих потребителей может быть весьма различным; это могут быть: сеньеры и их вассалы (*Fürstentum* средневековой Европы); чиновники (Пекин); крупные землевладельцы-рантье, проживающие в городах доходы со своих земельных владений (Москва до 1861 г.); наконец, представители городской знати, получающие городскую земельную ренту в результате монопольного положения принадлежащих им городских земельных участков в процессе обмена, т.е. косвенным образом — в результате развития торговли и ремесла (этот последний вид города распространен был во все времена, особенно в древности; нередко встречается и в средние века). Производительная деятельность ремесленников, населяющих город типа «*Konsumentenstadt*», является лишь средством пропитания, ибо ремесленники такого города живут лишь производством на местных крупных потребителей. Противоположный тип города представляет собою *Produzentenstadt*. Здесь приобретательские шансы производителей (ремесленников) определяются наличием в городе специализированной мелкой промышленности. Эта мелкая промышленность может выступать в разных формах: в форме мануфактурного или фабричного производства, работающего на вне-городских потребителей (тип современного фабричного города; пример — Эссен) или в форме специализированного ремесла, сбывающего свои продукты в самом городе, а отчасти и за его пределами (примером могут служить многие азиатские, античные, сред-

невековые города). В средневековом городе типа «*Produzentenstadt*» потребителями продуктов ремесла являются не столько вотчинники и рантье, сколько ремесленники и других профессий. Благодаря высокому развитию специализации, ремесленники одних цехов живут здесь, главным образом, за счет производства на ремесленников других цехов: их производительная деятельность определяется не потребительными надобностями непроизводящих слоев населения, а главным образом потребительными надобностями производителей же.

К этим двум основным идеально-типическим понятиям города, исходящим из его экономической структуры, Вебер присоединяет два промежуточных типа: «*Händlerstadt*» и «*Gewerbestadt*». Город типа «*Händlerstadt*» представляет собою разновидность «*Konsumentenstadt*», а город типа «*Gewerbestadt*» — разновидность «*Produzentenstadt*». В городах типа «*Händlerstadt*» крупными потребителями и в то же время хозяевами-работодателями являются куницы; производители работают на них. Таким образом приобретательские шансы потребителей-кунцов определяются сбытом на местном рынке чужих продуктов или сбытом на иностранном рынке продуктов, произведенных в городе. *Gewerbestadt* представляет собою такой подвид *Produzentenstadt*, в котором мелкая специализированная промышленность выступает в форме ремесла.

Как видим, та основная черта, которая взята из исторической действительности, усилена до степени абсолютности и положена в основу идеально-типических понятий *Konsumenten-* и *Produzentenstadt*, сводится к характеру приобретательских шансов производителей. Другими словами: критерием образования двух противоположных идеальных типов города послужил Веберу характер производственных отношений. Ибо Вебер прежде всего задается вопросом: кто производители и на кого они производят? И этот критерий положен в основу образования не только «экономических», но и «социальных» идеальных типов города. Ведь, ответ на вопрос «на кого производят?» конкретно каждый раз зависит от своеобразия социальной структуры города. Конечно, во всех городах всех времен и народов имелись и производители, и потребители. Но различные города можно отнести к типу *Konsumentenstadt* или *Produzentenstadt* по тому признаку, какой слой производителей или потребителей имел наибольший удельный вес в жизни города. При преобладании землевладельческой знати имеем *Konsumentenstadt*, при преобладании ремесленников или рабочих — *Produzentenstadt* (или *Gewerbestadt*), торговцев — *Händlerstadt*. А это значит, что «социальные» идеальные типы города вытекают из «экономических», являются, так сказать, идеально-типическими построениями второго порядка. Ибо «*Geschlechterstadt*» — это такой город, в котором господствует городская аристократия, выделившаяся из бюргерства, и таким образом это «идеально-типическое» понятие служит целям конкретизации социальной структуры *Konsumentenstadt*, а *Plebejerstadt* — это такой город, в котором преобладают торговцы или ремесленники: это идеально-типическое понятие конкретизирует социальную структуру *Produzentenstadt*. Но эта вторая пара «идеальных типов» служит не только коррелятом к первой. Она дает кроме того возможность ориентироваться в разных стадиях городского развития: ведь, его движущими силами была борьба

различных социальных слоев внутри города. Изображая эту борьбу, Вебер делит ее на две основные стадии. В первой стадии город находится обычно в руках родовой аристократии, которая приобретает господство в процессе борьбы города с сеньорами; таким образом в тот момент, когда город окончательно складывается в автономную корпорацию, т. е. возникает, как таковой, он носит на себе все характерные черты *Geschlechterstadt*. Во второй стадии город переходит в руках торговцев и ремесленников; *Plebejerstadt* является таким образом результатом борьбы городской знати с торгово-ремесленными слоями. Город эволюционировал от «*Geschlechterstadt*» к «*Plebejerstadt*», и эта эволюция в той или иной форме протекала именно в этом направлении и в античном полисе, и в средневековом городе.

При помощи этих идеально-типических понятий Вебер рассматривает обе стадии развития города в античном мире и разных странах средневековой Европы; при этом рассмотрение конкретных процессов городского развития разных стран и эпох происходит «всего-таки сравнительно-исторически»; однако теперь эти процессы сравниваются уже не только сами по себе, но и по степени приближения их стадий к наметенным выше «идеальным типам»¹⁾. А так как в основу этих «идеальных типов» положено представление о том или ином характере производственных отношений, то естественно, что и самое рассмотрение процессов городского развития и его стадий производится под углом зрения этих отношений. Структура производственных отношений, а следовательно, и социальная структура города в разных странах и в разные эпохи — вот собственно основная тема работы Вебера о городе. «Идеальные типы» служат при этом целям ориентировки в простоте и сложности социальной структуры античного и средневекового города. Но они дают в этом случае лишь путеводную нить; следуя ей, Вебер объясняет ход социальной борьбы внутри города чисто-каузально. Сочетание сравнительно-исторического и идеально-типического способа рассмотрения городского развития позволяет Веберу четко и рельефно выделить и общие, и своеобразные черты эволюции города в разных странах, показывая относительное своеобразие различных процессов, изучая их, как весьма своеобразные вариации сходных мотивов. Идеально-типический метод дает ему возможность избежать при этом всякой вульгаризации и схематизма, резко подчеркнуть именно черты различия в сравниваемых процессах, и в этом различии найти опорные пункты для очень осторожных аналогий. Так, сопоставляя античный полис и средневековый итальянский город, М. Вебер показывает, как, несмотря на сходство основной линии развития (от *Geschlechterstadt* к *Plebejerstadt*) и политической структуры (и тут, и там «город-государство»), в социальной структуре коренились глубокие различия, повлиявшие на весь характер эволюции и сказавшиеся в своеобразии «гор. хоз. политики» полиса и итальянского города. И в древней Греции, и в средневековой Италии аристократия состояла из землевладельцев-рантье, принимавших участие в торговых делах и предприятиях только своими капиталами, но не личной коммерческой деятельностью (Вебер на-

¹⁾ Ср., главу III: *Die Geschlechterstadt im M. A. und in der Antike*; гл. IV: *Die Plebejerstadt (города в разных странах средн. Европы)*; гл. V: *Antike u. mittelalterliche Demokratie*.

зывает их «Gelegenheitsunternehmer»). Но в то время, как городская демократия средневековой Италии состояла из ремесленников или промышленных безработных, демократия полиса рекрутировалась из рядов деклассированного крестьянства. К тому же полис возник, как береговая община воинов, и потому в нем сильны были военные традиции, сложившиеся в борьбе с городскими королями, которая привела в Греции и Риме от городской монархии к магистратуре; средневековый город боролся, правда, со своими городскими сеньорами, но военный момент в этой борьбе даже в средневековой Италии играл гораздо меньшую роль, чем в античной Греции. Поэтому средневековый бюргер — преимущественно «homo oeconomicus», в то время как гражданин полиса «homo politicus»; основное классовое противоречие всякого средневекового (в том числе и итальянского) города — рантье (землевладельцы, предприниматели, купцы) и ремесленники; основное классовое противоречие античного полиса — городские боепригодные патриции (землевладельцы — рантье), выступающие в качестве кредиторов, и крестьяне, являющиеся их должниками и находящиеся под постоянной угрозой обезземеления. Структура аристократии довольно ехонда (отличие заключается лишь в военном могуществе античной городской аристократии); но структура демократии в корне различна.

При помощи тех же приемов М. Вебер сопоставляет городское развитие средневековой Италии, Германии, Франции, Англии, показывая относительное своеобразие возникновения города в каждой из этих стран, его социальной структуры и его эволюции. При этом М. Вебер исходит здесь из итальянского города, как основного типа, сравнивая с ним немецкий, французский, английский город. Итальянский город достиг наибольшей самостоятельности: некоторые итальянские города стали даже и в политическом отношении городами-государствами. Английский город почти никогда не пользовался полной автономией. Между этими двумя полюсами М. Вебер располагает рассмотрение немецких и французских городов, достигавших той или иной степени корпоративной автономии. Для ориентировки в этих сопоставлениях Вебер пользуется еще одной парой идеально-типических понятий: береговой город (Küstenstadt) и континентальный, промышленный (Binnen- und Industriestadt). Сравнение городской эволюции в разных странах средневековой Европы приводит М. Вебера к следующему основному выводу: несмотря на все различия, круг развития средневекового города в одном отношении универсален: «в эпоху Каролингов города были почти исключительно только округами управления с известными особенностями сословной структуры, и в современном патримониальном государстве они вновь сильно приблизились к этому положению и выделяются лишь корпоративными правами; в промежутке между этими двумя эпохами они везде были в той или иной мере коммуна с автономной хозяйственной политикой» (Wirtschaft u. Gesellschaft, S. 574).

Характеризуя импульсы хозяйственной политики средневекового города и античного полиса, Вебер опять пускает в ход обе пары противоположных идеально-типических понятий и прилагает их к разным стадиям развития в разных странах. Городская хозяйственная политика определяется: 1) тем, является ли город преимущественно «Produzentenstadt» или «Konsumentenstadt» или же носит двойственный потребительски-производственный характер (что

редко имело место в средневековьи); 2) своеобразием социальной структуры города и 3) его отношением к округе. Учитывая все эти условия и прилагая к хозяйственной политике на разных стадиях развития полиса и средневекового города обе пары идеально-типических понятий, получим: хозяйственная политика средневекового города ранней и поздней поры (т.-е. политика средневекового Konsumenten—Geschlechterstadt'a на первой стадии и средневекового Produzenten и Plebejerstadt'a на второй стадии); хозяйственная политика античного полиса ранней поры (эпохи Konsumenten—Geschlechterstadt'a) и поздней поры (эпохи Plebejer-Produzentenstadt'a).

Но сказанным еще недостаточно выяснены причины той исключительной исторической насыщенности, которой отличается работа М. Вебера о городе, несмотря на ее типологический характер. Выше нами было подчеркнуто сочетание сравнительно-исторического и идеально-типического метода в этой работе и попутно было указано, что социальную борьбу внутри города Вебер рассматривает чисто-каузально. Но мало того: он рассматривает ее совершенно так же, как это делается в самом специальном историческом исследовании. Каждый конкретный процесс развития итальянского, немецкого, античного и т. д. города изображен каузально и рассмотрен конкретно-исторически со всем тем вниманием к индивидуальному и своеобразному, какого оно заслуживает. И это конкретно-историческое, каузальное рассмотрение отдельных процессов вставлено в рамки сравнительно-исторических параллелей, освещенных идеально-типически: оно — не простой материал для этих параллелей, а наоборот — их живое историческое содержание. Картина вставлена в известные рамки, написана на известном фоне, но от этого она не только не теряет ни одного из своих оттенков, но напротив, выигрывает в яркости и выразительности. В этом сочетании каузального, типологического и идеально-типического рассмотрения конкретных процессов и заключается весь секрет исторической насыщенности «эмпирической социологии» М. Вебера и широты ее социологического кругозора. Этим объясняется и то обстоятельство, что, взявшись за такую скользкую тему, как «город вообще», Вебер не впал в вульгарный социологизм и не стал, напр., сравнивать современные города с античными по какому-либо чисто-формальному признаку, как это любят делать представители так наз. «социальной психологии», «социальной статистики», «демографии» и прочих специфически-социологических дисциплин. Вебер с самого начала строго ограничил самое понятие города, о котором идет речь в его работе: он изучает «город», как явление своеобразное, чем-то отличающееся от прочих общественных явлений данной эпохи и страны. Поэтому он рассматривает город, как автономную корпорацию, как коммуну с самостоятельной хозяйственной политикой, и по этой причине оставляет в стороне города современности и эпохи Каролингов, а также римские города и города азиатского Востока. Самый характер задачи, самая постановка вопроса в работе М. Вебера уже обуславливает необходимость изучения города в контексте всего общественного строя данной эпохи и страны. Таким образом М. Вебер изучает не «город вообще», а сравнивает города вполне определенных, исторически сложившихся общественных формаций, рассматривая городское развитие, как одну из сторон общего процесса эволюции этих формаций.

5. Заключительные замечания.

Нам остается оглянуться на пройденный путь и наметить задачи дальнейшего изучения М. Вебера.

Анализ двух его социологических работ обнаружил своеобразие его методики. Изучение общественных явлений и исторических процессов под углом зрения «базиса-надстройки» осложнено у Вебера «идеально-типическими» построениями и сравнительно-историческими параллелями. Те промежуточные звенья, которые он вводит между «базисом» и «надстройкой», дают ему возможность конкретно изобразить посредственное влияние первого на вторую во всей его сложности. А «идеальные типы» служат ориентирующей нитью, при помощи которой можно разобраться в этой сложности. Благодаря их умелому применению, Вебер не только улавливает сложные взаимоотношения общественных явлений, но и отыскивает в них основные линии развития, служащие ему для широких типологических построений. Эти основные линии выступают сквозь пеструю ткань конкретных причинных связей, но так, что эта ткань видна во всей ее наглядности и во всем ее историческом своеобразии. Схема не поглощает без остатка историческую действительность (как это обычно бывает со схемами и как это случилось, напр., со схемами Зомбарта и Бюхера), и конкретное изображение этой действительности не нарушает стройности схемы. Тем самым практически разрешен вековой спор социологии с историей и показано, что с одной стороны нет и не может быть никакой научной социологии, которая не строилась бы на фундаменте истории, а с другой стороны всякая научная история не может удовлетвориться одним только изображением неповторяемого и своеобразного. Его изображение входит, конечно, в задачи истории, но отнюдь не является единственной ее целью, ибо история стремится не только изображать индивидуальное само по себе, но и отыскивать общее в индивидуальном и индивидуальное в общем. Таким образом можно было бы сказать, перефразируя слова Марриана Вебер, что Макс Вебер в своей методической практике преодолел не исторический материализм, а риккертову логику наук о культуре. Заимствовав логические предпосылки своей исследовательской работы у Риккерта, М. Вебер в течение всей своей жизни все более и более удалялся от изображения неповторяемого, как самоцели; он шел к социологическому освещению исторических явлений, и на этом новом пути его руководителем оказался Маркс, «категорий которого он умел применять, как редко кто иной»¹⁾. Объявив их, правда, лишь эвристическим приемом. Это преодоление Риккерта на практике удалось Веберу в значительной мере благодаря применению «идеально-типических» понятий. Кроме того, «идеально-типический» характер схем М. Вебера и каузальный контроль этих схем позволили ему сочетать их с точным изображением конкретных процессов во всей их индивидуальности. Таким образом «идеально-типические» понятия в двух отношениях сыграли существенную роль в методической практике Вебера. Как же мыслил себе сам Вебер логическую структуру «идеально-типиче-

ских» понятий? Являются ли эти понятия изобретением М. Вебера или только его открытием, которое дало ему возможность сознательно применять их благодаря точному анализу их логической структуры, заменившему бессознательное пользование ими у его предшественников? Как представлял себе Вебер теоретически связь «идеально-типического» и каузального рассмотрения исторических явлений? И, наконец, какие особенности логической структуры «идеальных типов» дали ему возможность преодолеть логику Риккерта на практике и избежать схематизма?

Ответа на эти вопросы мы будем искать в логике М. Вебера. Ее разбор составит содержание II части нашей работы.

¹⁾ Ср. Käthe Leichter, M. Weber als Lehrer und Politiker, — *Der Kampf*, 1926, № 9, S. 378, а также A. Salomon, M. Weber, — *Die Gesellschaft* 1926, № 2, S. 142—143; «ja man kann sagen dass er die Arbeit von Marx auf neue Gebiete übertragen u. dessen Werk fortgesetzt hat».

Методологические проблемы марксистского искусствознания.

А. Андруцкий.

I.

Не так давно акад. Ф. И. Шмит напечатал свою работу: «Искусство; проблемы методологии искусствознания»¹⁾. Ф. И. Шмит является в настоящее время одним из самых серьезных и оригинальных искусствоведов. И уже одно это заставляет нас отнестись со вниманием к названной работе, которая является конечным результатом многолетних научных занятий и содержит в себе ряд очень интересных мыслей²⁾. Но помимо этого особенный интерес она вызывает тем, что представляет из себя, по мнению Ф. И. Шмита, последовательное развитие и углубление тех научно-материалистических принципов, которые сформулировал и применил к исследованию искусства Г. В. Плеханов. «Мне все время приходится, — говорит Ф. И. Шмит, — так сказать, полемизировать с Плехановым. Но на самом деле я только договариваюсь то, что Плеханов, займись он вплотную вопросами искусства, должен был сказать сам, и что непосредственно вытекает из именно им, Плехановым, точно сформулированных и примененных к исследованию искусства принципов. Мои поправки имеют целью не опровергнуть Плехановскую теорию искусства, а сделать ее пригодною для объяснения всех фактов, изучаемых научным искусствознанием»³⁾.

Эти слова обязывают нас отнестись особенно внимательно к вышеназванной работе, так как каждый последовательный марксист должен быть хорошо осведомлен о том, «что Плеханов, займись он вплотную вопросами искусства, должен был сказать...».

В данной статье я делаю попытку выяснить основной вопрос: сказал бы Плеханов то, что говорит за него Ф. И. Шмит? Иначе говоря, вытекает ли теория Ф. И. Шмита непосредственно из основных принципов марксизма?

¹⁾ См. Ф. Ш м и т, Искусство, проблемы методологии искусствознания, Ленинград, изд. «Академия», 1926 г., отдельный оттиск из Сборника комитета социологического изучения искусства ГИИИ «Проблемы социологии искусства».

²⁾ См. Ф. Ш м и т, Законы истории, Харьков 1917 г. (Его же, Искусство, его психология, его стилистика, его эволюция, Харьков 1919 г. Его же, Искусство, основные проблемы теории и истории, Ленинград 1925 г., и др.).

³⁾ См. «Пробл. методол. искусств.», стр. 44.

II.

Определение искусства.

Прежде всего рассмотрим определение искусства, предложенное Ф. И. Шмитом. Тщательно изучив разбросанные в разных местах работы определения искусства, мы сможем их свести в следующую формулу: Искусство есть совокупность произвольных движений, нарочитых сокращений тех или иных групп мускулов, сознательных действий, имеющих в сознании действующего, кто бы он ни был, исключительной целью выявить во вне, безразлично какими средствами, в доступной пониманию других живых существ форме, мир образов одного живого существа, и, через посредство образов, его переживания (волю, мысли, эмоции), так, чтобы эти свидетели заразились теми же самыми переживаниями¹⁾.

Эта формула является основным положением и исходной точкой теории Ф. И. Шмита. Но если искусство есть средство воздействия одного живого существа на психику, на сознание другого; если оно есть, таким образом, средство общения, то отсюда необходимо следует, по мнению автора, что искусство есть общественная деятельность, есть средство организации общественного сознания (там же, стр. 22, 26).

Далее, «всякий коллектив возможен лишь при наличии средств общения между его членами» (там же, стр. 41). Средства общения имеются всего три:

1. Непосредственное излучение энергии.
2. Органическое формотворчество.
3. Выразительные телодвижения (там же, стр. 22).

Но первых двух явно недостаточно, поэтому единственным средством общения остаются «нарочитые движения, нарочитые сокращения тех или иных групп мускулов, нарочитые действия — т.е. искусство» (там же, стр. 41).

Из этого вытекает, что искусство есть единственное средство воздействия одного индивидуума на сознание ему подобных; — единственное средство организации общественного сознания; — единственное средство общения.

Если это так, то совершенно прав проф. Шмит, утверждая: Искусство, как средство общения, есть предпосылка всякой коллективной борьбы за существование» (там же, стр. 19). Искусство есть «единственное средство, пригодное для того, чтобы организовать отдельные особи в социальный организм» (там же, стр. 38).

Все это должно убеждать нас в том, что искусство есть фактор общественности. Поэтому Плеханов был односторонен, когда рассматривал искусство не как фактор, а только как продукт общественности, только как выражение общественной психологии, т.е. относил искусство «к той идеологии, которая является в результате экономики, социально-политического строя, общественной психики» (там же, стр. 18).

¹⁾ Стр. 23, 25—26, 34, 41, 48—50.

В особенности же неправы те, кто непоследовательно последователи, которые, «основываясь на слишком буквальном понимании недостаточно точно сформулированных отдельных мест из писаний Плеханова, ...объявляют не содержание искусства «идеологической надстройкой», а учат, что самое искусство есть «надстройка» над общественностью...» (там же, стр. 18).

Но это, по мнению Ф. И. Шмита, глубоко ошибочно. «Искусство есть производство ценностей—явление не идеологического, а общественно-организационного характера» (там же, стр. 19). Другими словами: произведения искусства суть ценности идеологические, ... но самое искусство есть деятельность, организующая коллективное сотрудничество. Но раз «искусство есть деятельность, а не вещь» (там же, стр. 26); раз искусство есть «творческий процесс художника и его сограждан» (стр. 26), то ясно, «что не исходить искусствоведам от готовых произведений искусства—к ним он должен притти. А исходить он должен от изучения того трудового процесса, благодаря которому становятся возможными художественные произведения» (стр. 19).

В конечном итоге Ф. И. Шмит утверждает следующее: «Где есть общественная организация—там есть искусство: без искусства—нет общественной организации! Искусство, как деятельность,—и по Плеханову!—есть не надстройка, а средство организации коллективного труда, коллективной борьбы за существование. Это—основной постулат марксистского искусствоведения...» (там же, стр. 18).

Теперь, когда Ф. И. Шмит выложил нам «основной постулат марксистского искусствоведения», попробуем сами несколько разобраться во всем изложенном. На первый взгляд определение искусства, предложенное проф. Шмитом, как будто вполне марксистское. Но это только на первый взгляд. В самом деле, Ф. И. Шмит предлагает следующую схему художественного акта: переживание—образ—действие—образ—переживание. Эта схема охватывает не только художественное, но и всякое другое общение как между людьми, так и между животными. Остановимся прежде всего на том обстоятельстве, что рассматриваемое определение относится ко всем живым существам. Автор не делает различия в данном случае между человеком и животным. Уже это одно явно указывает на расхождение данного определения с марксистскими принципами. Искусствование есть общественная наука, так как искусство—социальное явление. Но ведь марксизм считает, что социальные явления специфичны. Ф. Энгельс в статье «Труд как фактор эволюции в процессе развития от обезьяны к человеку» ясно показал, что человек представляет собою новую ступень в биологическом ряду, качественно отличную от всех других ступеней органических форм. Качественным отличием, отделяющим общибиологические явления от социальных, является способность человека производить орудия и средства существования.

Таким образом, человек есть не только «общественное животное», но и «животное, делающее орудия».

Путем производства искусственных органов—орудий труда человек создает искусственную среду. В связи с этим чисто-биологическое существование животных, в лице человека, превращается в общественно-историческое существование.

«Процесс труда,—говорит А. Деборин,—и изготовление орудий открывает новую страницу в истории органического мира.

Человек переходит к общественно-исторической жизни, подчиненной специфическим законам»¹⁾. Поэтому-то Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм» и указывает, что перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза. Но ведь именно это перенесение и совершает Ф. И. Шмит, когда говорит о человеке, как о живом существе вообще.

Из этого следует, что рассматриваемое определение скорее биологическое, чем социологическое. Дело социологии начинается только лишь с производственных отношений. Всякое определение, которое, сваливая в кучу качественно-разнородные явления, пытается охватить чисто-биологическое существование вкупе с культурно-историческим, является необоснованной биологизацией и вульгаризацией социологии. Подобно этому и в теории Ф. И. Шмита биологическая фраза поглощает всю социологию, всю методологию исследования искусства, в его конкретности, в его своеобразии и специфической закономерности. И, конечно, ничего общего с методологией марксистского искусствоведения не имеет, например, следующее утверждение Ф. И. Шмита: «методы искусствоведения должны быть таковы, чтобы охватить вовсе не только творчество аристократической верхушки человеческого рода, а всего человечества, и вовсе не только человечества, но и всех животных, ибо все это—явления одного порядка» (там же, стр. 20).

Но даже, оставив в стороне указанный недостаток рассматриваемого определения, следует указать на его неопределенность и противоречивость. Единственным средством общения являются выразительные телодвижения. Искусство есть совокупность нарочитых движений, сознательных действий. Эти три положения противоречат друг другу. Во-первых, сам Ф. И. Шмит делает из них следующий логический вывод: выразительные телодвижения = (суть) нарочитые, сознательные действия (там же, стр. 22, 41).

Это опровергается и рефлексологией и бихевиоризмом: «выразительные телодвижения» включают в себя и условные рефлексы и безусловные; они могут быть и сознательными и бессознательными. Во-вторых, из вышеуказанных положений следует, что невыразительные, ненарочитые, бессознательные действия не служат средствами общения. И это также опровергается рядом совершенно неоспоримых фактов, которых множество приводит и рефлексология и бихевиоризм. Средства общения могут служить: безусловные рефлексы и инстинктивные и автоматические действия, наследственные эмоциональные реакции. В таком случае искусство не является единственным средством общения. Кроме того, не совсем ясно, какой смысл вкладывает проф. Шмит в понятие: «сознательность». В общем это понятие следует, конечно, относить к приобретенному виду реакции (к навыку по терминологии Джона Б. Уотсона (Watson)—см. его «Психология как науки о поведении», 1926 г.).

¹⁾ См. «Под Знаменем Марксизма» № 9—10, 1926 г.: А. Деборин, Энгельс и диалектика в биологии.

Но ведь навыки бывают видимые и скрытые. Существуют заторможенные в своем внешнем проявлении или «субвокальные» рефлексы. Следует также думать, что приобретенные реакции качественно различны у животных и у человека, так как в настоящее время доказано, что физиологические и первые процессы протекают диалектично. Так, например, по акад. Бехтереву, «сознание» есть результат качественного изменения простого нервного тока, Бехтерев полагает также, что сочетательные или условные рефлексы различаются между собой не только количественно, но и качественно¹⁾. Проф. Цур-Штрассен утверждает, основываясь на современных научных достижениях, что человеческий разум филогенетически возник путем длительного преобразования и уточнения физико-химического нервного процесса²⁾. Но вместе с тем он полагает, что основы целесообразного поведения могут быть усовершенствованы не только количественно: нервно-рефлекторные процессы изменяются также и качественно (там же, стр. 63—64). Наконец, человек подвергается воздействию социальных раздражителей, что не имеет места у животных. В настоящее время рефлексологи определенно подчеркивают доминирующее значение социального фактора. «В окончательном итоге, — говорят они, — личность является более социальным, чем биологическим существом». «Неорганический и органический мир влияет на человека, лишь преломившись через призму социальной среды»³⁾. И так как Ф. И. Шмит не принимает во внимание все указанные нами моменты, то нет ничего удивительного в том, что он признает существование искусства у животных. «Совершенно ясно, — говорит автор, — что между художественными достижениями животных, детей и дикарей и достижениями самых высококвалифицированных художников-специалистов, с социологической точки зрения, никакого различия по существу не имеется, а имеются различия количественные (курсив наш. А. А.), которые требуется только точно определить»⁴⁾.

Решение проблемы об искусстве у животных в ту или другую сторону является весьма существенным для методологии искусствоведения. Ф. И. Шмит решает указанную проблему в положительном смысле и полагает, повидимому, что подобное решение вытекает из принципов, сформулированных Г. В. Плехановым. Но так ли это на самом деле?

Основное положение диалектического материализма гласит, что бытие определяет собою сознание. Из этого необходимо вытекает, что если бытие изменяется диалектически, то и сознание также изменяется диалектически. Но мы уже показали выше, что «бытие» человека качественно отличается от «бытия» животного. Именно, человеку присуще «общественное бытие» в отличие от биологического бытия «животных». Но в таком случае и сознание человека будет «качественно» отличаться от «сознания» животных. Именно, «общественное бытие» человека

¹⁾ См. акад. Бехтерев и д-р Дубровский, Диалектический материализм и рефлексология. — «Под Знаменем Марксизма» № 7—8, 1926 г.

²⁾ См. проф. Цур-Штрассен, Поведение человека и животных в новом освещении 1925 г., стр. 65.

³⁾ Бехтерев и Дубровский, Диалектический материализм и рефлексология, стр. 86.

⁴⁾ См. «Пробл. методологии и т. д.», стр. 49.

предопределяет собою его «общественное сознание». Ленин очень резко различает сознание человека и его общественное сознание. Первое он ставит в связь и зависимость от природы, т. е. от «бытия»; второе — от экономической структуры, т. е. от «общественного бытия»¹⁾. Итак, «бытие» и «общественное бытие» не одно и то же. Первым занимается философско-диалектический материализм, вторым — исторический материализм. «Бытие» есть предпосылка «общественного бытия». Так же обстоит дело и с отношением «сознания» к «общественному сознанию». И только «общественное сознание» относится в область марксистской социологии. Эти азбучные истины марксизма следует твердо помнить, чего мы не замечаем у Ф. И. Шмита. Не различая «бытие» от «общественного бытия»; «сознание» от «общественного сознания», он растворяет исторический материализм в плохом понятии философского материализма. Общее правило, что бытие определяет собою сознание, по его мнению, «полностью приложимо вовсе не только ко всему человеческому бытию, но и к бытию животных»²⁾.

Современные научные исследования очень убедительно показывают, что «бытие» качественно отличается от «общественного бытия». Достаточно указать, например, на прекрасные исследования известного ученого акад. А. Н. Северцова³⁾. Точно так же обстоит дело и в отношении «психики» животных и людей. В отношении мыслительных способностей, конечно, нет абсолютной, непреходимой границы между высшими породами животных и человеком, но имеется, и на это следует обратить особое внимание, диалектическая граница; есть разрыв постепенности, — есть ~~скачок~~; есть качественное различие! И неправ поэтому Ф. И. Шмит, когда он говорит, что религиозно-верующие люди привыкли целой пропастью отделять человека от животных, тогда как тут нет не только никакой пропасти, но нет даже четкой грани... (Проб. метод. иск., стр. 32). Абсолютной пропасти нет, но диалектическая пропасть есть. Только исходя из этого основного методологического принципа, мы сможем разрешить противоречия, которые так затрудняют сравнительное исследование человека и животных. И именно так подошел, вопреки обычному мнению, Чарльз Дарвин к решению проблемы взаимоотношения «психики» людей и животных. В своей знаменитой книге «Происхождение человека и половой подбор»⁴⁾ Дарвин указывает, что «различие между душевными способностями высшей обезьяны и низшего дикаря огромно». Настолько огромно, что это различие осталось бы чрезвычайно большим и в том случае, если бы какая-либо из высших обезьян усовершенствовалась или цивилизовалась настолько, как, напр., собака по сравнению с волком (примечание проф. Ф. Ю. Шмита указывает на «резкую грань» между человекообразными обезьянами и даже самыми первобытными и наименее духовно одаренными челове-

¹⁾ См. В. Ленин. Собр. соч., т. XII, ч. 2, стр. 56.

²⁾ Пробл. метод. искусства, стр. 30; ср. также стр. 43 и 47.

³⁾ См. его: 1) Этюды по теории эволюции, 1922 г., 2) Эволюция и психика, 1922 г., 3) Главные направления эволюц. процесса, 1925 г., и др.

⁴⁾ См. Ч. Дарвин, Происхождение человека и половой подбор, 3 изд., пер. Филиппова, гл. III (Сравнение душевных способностей человека и низших животных), стр. 56—57.

ческими расами»¹⁾. На этой точке зрения стоят все наиболее серьезные и авторитетные современные исследователи обезьян²⁾. Но, с другой стороны, способности человека не могут быть совсем различными по природе от тех, которыми обладают низшие животные, так как иначе мы никогда не могли бы убедиться в том, что наши высшие способности развились постепенно. «Можно доказать, — говорит Дарвин, — что такого основного различия не существует». Итак, налицо противоречие: с одной стороны, различие между психикой человека и животных огромно и даже непреходимо; с другой стороны, основного различия нет (по своей природе и то и другое одинаково). Но это противоречие диалектическое и Дарвин в разрешении его показывает себя блестящим диалектиком. Во-первых, расстояние, разделяющее душевные способности низших организмов от таковых же высших обезьян, гораздо значительнее того, которое отделяет обезьяну от человека; «однако расстояние между рыбой и обезьяной заполнено бесчисленными переходными формами». Во-вторых, очень велико расстояние в умственном отношении между дикарем и Ньютоном и Шекспиром. Однако «различия этого рода между величайшими людьми самых высших рас и грубейшими дикарями связаны тончайшими переходами». Из всего этого Дарвин делает диалектический вывод: «поэтому возможно, что одни свойства (животных. А. А.) могли перейти и развиться в другие» (человеческие. А. А.). Поистине еще многому в методологическом отношении можно и должно поучиться современным биологам у Ч. Дарвина. И как раз именно те исследователи чаще всего бросают Дарвину упрек в антропоморфизме, которые сами грешат этим. Его критики из-за деревьев не видели леса. Его последователи, развивая слабые стороны Дарвиновского учения, прошли мимо его гениальных методологических принципов³⁾. Прошли мимо диалектической стороны Дарвиновского учения именно потому, что сами мысляли формально-логически. И тот исследователь, который мыслит формально-логически, хотя бы он и был ревностным материалистом, неминуемо отходит от материализма к идеализму, от объективизма к субъективизму. Укажем, напр., на акад. В. М. Бехтерева. В статье «О зоорефлексологии, как научной дисциплине, и о разговоре попугая с точки зрения объективного resp. рефлексологического исследования»⁴⁾, акад. В. М. Бехтерев твердо стоит на формально-логической точке зрения и поэтому не признает возможности диалектических скачков в процессе развития сознания от животных к человеку⁵⁾.

В результате, хотя В. М. Бехтерев и осуждает резко и энергично субъективную точку зрения в зоопсихологии, сам он преблагополучно скатывается в болото субъективизма и приходит к глубоко спорным, неопределенным и внутренне противоре-

¹⁾ См. П. Ю. Шмит, *Душевная жизнь животных*, 1925 г., стр. 133—134.

²⁾ См., напр.: 1) R. Jerkes, *The mental life of monkeys and apes*, — *Behav. Monograph*, 1916; 2) D-r Köhler, *Intelligenzprüfungen an Antropoiden* Berlin 1917; 3) Н. Н. Ладыгина Котс, *Исследование познавательных способностей шимпанзе* (труды зоопсихологич. лаборатории Дарвиновского музея), 1923 г.

³⁾ Э. Геккель говорит, например: «Сознание высокоразвитых обезьян, собак и т. д. отличается от сознания человека только степенью, а не родом». (См. Э. Геккель, *Мировые загадки*, 2 изд., М. 1922 г., стр. 174).

⁴⁾ См. сборн. «Вопросы изучения и воспитания личности» № 3, 1921 г., № 4—5, 1922 г., Петербург.

⁵⁾ См., напр., стр. 763, № 4—5 в ук. сборн.

чивым выводам»¹⁾. Не говоря уже о том, что акад. В. М. Бехтерев признает вместе с д-ром Гарнером существование языка обезьян²⁾, он склонен к признанию языка даже у муравьев³⁾. По его мнению, попугай может употреблять слова «с полным знанием грамматических форм» (стр. 782 и 803).

Одним словом, между речью животных и человеческой речью существенной, качественной разницы нет, есть только некоторые количественные различия⁴⁾. К такому же выводу приходит и А. Богданов, который находит возможным говорить о языке животных и в частности о «галочьем языке»⁵⁾. И так как Ф. И. Шмит также мыслит в данном случае формально-логически, то и он признает наличие речи у животных. Для него «нет никакой пропасти между животными и человеком». Звуки, издаваемые курицей, в сущности не отличаются от человеческой речи. «Словесное искусство» есть и у человека и у животных⁶⁾.

Все перечисленные исследователи, конечно, глубоко ошибаются. Уже наш известный ученый А. Л. Погодин, отнюдь не марксист, пришел в своем капитальном труде «Язык как творчество» к следующему замечательному выводу: «Возникновение языка подготовлено длительным процессом психического развития расы, но оно восходит не к незаметному постепенному усвоению средств взаимного понимания, а к моментальному изобретению»⁷⁾ (курсив наш. А. А.). Иначе говоря, человеческий язык возникает скачкообразно!

Крупнейший языковед настоящего времени акад. Н. Я. Марр также самым решительным образом отвергает взгляды А. А. Богданова и иже с ним. Звуки, издаваемые животными, и звуки человеческой речи суть явления разного порядка, т. е. качественно разнородные явления. Поэтому не следует исходить только из учения о рефлексах, независимо от общественности, ибо в этом случае «сущность речи, общественный стимул ее зарождения ускользает» от исследователя⁸⁾.

Подобным же образом, т. е. диалектически, следует подходить и к вопросу о происхождении искусства. Нет никакого сомнения в том, что способность воспринимать известные качества вещей, как красоту, свойственна не только человеку. Некоторый зародыш этой способности есть и у животных. «Рудиментарный первоисточник представления о красоте, — говорит Генриэтта Ролланд-Гольст, — совпадает несомненно с чувствами, сопровождающими такие чувственные ощущения, которые хороши, полезны и благоприятны как для отдельного организма, так и для всего вида». Но если, с одной стороны, эмбриональная форма представления о красоте присуща высшим животным, то, с другой сто-

¹⁾ См. Ладыгина-Котс, *Исследование познавательных способностей шимпанзе*, стр. 24—27; ср. Н. А. Иванов, *Рефлексология и зоопсихология*, журн. «Наука и Искусство» № 1, 1926 г., стр. 111.

²⁾ См. Р. Гарнер, *Язык обезьян*, русск. пер., изд. «Научн. обзор».

³⁾ См. в ук. соч., стр. 777.

⁴⁾ См. стр. 303—304.

⁵⁾ См. его «Учение о рефлексах и загадки первобытно о мышления», — *Вестник Коммунистич. Академии* № 10, 1925 г., стр. 74.

⁶⁾ См. «Пробл. метод. иск.» стр. 24, 25.

⁷⁾ См. А. Погодин, *Язык как творчество*, Харьков 1913 г., стр. 551.

⁸⁾ См. ак. Н. Я. Марр, К вопросу о первобытном мышлении в связи с языком в освещении А. А. Богданова, — *Вестн. Комм. Акад.* № 16, 1926 г., стр. 133—134.

роны, «красота (как понятие, созревшее в человеческом сознании) не существует вне человека, а человек не существует вне общества»¹⁾. И. Гирн, автор исследования наиболее серьезного, наиболее ценного из всего того, что имеется в мировой литературе по вопросу о происхождении искусства, стоит также на этой глубоко правильной точке зрения и отрицает существование «животного искусства»²⁾. Наконец, и основоположник марксистского искусствознания Г. В. Плеханов признает человеческое искусство качественно отличным от «животного искусства». Он считает себя в праве утверждать, что ощущения красоты «даже у первобытных народов ассоциируются с весьма сложными идеями». И даже более того, эстетические ощущения возникают большей частью «только благодаря такой ассоциации»³⁾. Но это обстоятельство отсылает нас от биологии к социологии.

Нам важно еще отметить, что, отвечая подобным образом на возражения своих противников, Г. В. Плеханов подчеркивает, что он тем самым отвечает «на целый ряд подобных возражений, которые можно заимствовать из области психической жизни животных» (там же, стр. 5). Иными словами, Г. В. Плеханов утверждает, что общее положение: «между человеком и животными... различия только количественны»⁴⁾ (курсив наш. А. А.) — не соответствует действительности. Но Ф. И. Шмит, как мы видим, упорно защищает это положение. Отсюда следует, что он, повидимому, не совсем удачно договаривает за Плеханова.

Уже из сказанного выясняется, что, определяя искусство, как общественную деятельность, Ф. И. Шмит вкладывает в это определение совершенно иное содержание, чем Плеханов. Для Плеханова и вообще для всех марксистов искусство является общественной деятельностью прежде всего потому, что художественным деятелем является общественный человек; художественная деятельность обусловлена и протекает в человеческом обществе; она есть функция общественной деятельности и вне общества не может существовать. Для Ф. И. Шмита искусство есть общественная деятельность исключительно потому, что оно есть средство общения. Ведь ни один коллектив, ни одно общество не может организоваться и существовать без средств общения, а так как искусство — единственное средство общения (между прочим, для Плеханова искусство есть только одно из средств общения)⁵⁾, то ясно, что искусство есть фактор общности и вместе с тем общественная деятельность. Подобная точка зрения, конечно, не имеет ничего общего с марксизмом.

Подойдем теперь к рассматриваемому определению искусства с другой стороны.

По Ф. И. Шмиту художественная деятельность не выделяется из других видов человеческой деятельности ни специфич-

¹⁾ См. Г. Роланд-Гольст, Этюды о социалистической эстетике, М. 1907 г., стр. 11 и 12.

²⁾ См. И. Гирн, Происхождение искусства, 1923 г., стр. 141—152.

³⁾ См. Г. В. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 9: «Письма без адреса», письмо первое.

⁴⁾ См. проф. Д. Кашкарова, Рефлексы у человека и животных, 1925 г., стр. 6.

⁵⁾ «Искусство есть одно из средств духовного общения между людьми» (Курсив наш. А. А.). См. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 138.

ностью переживаний, ни особенностью образов, ни специфичностью действий. Тем не менее совершенно ясно, что искусство есть не просто способ общения между людьми, а особый способ общения, именно посредством художественных образов. Так смотрит на искусство Маркс,梅林, Плеханов, Лю-Мертен, Роланд-Гольст и вообще все марксисты¹⁾.

И с этой стороны проф. Шмит также расходится с марксистами. Где же находятся истоки рассматриваемого определения искусства? Как пришел к нему Ф. И. Шмит. Л. Н. Толстой в книге: «Что такое искусство?» выдвигает мысль, что деятельность искусства основана на способности человека заражаться чувством другого. В теории «заражения» Толстого много правильного, но она незакончена и не верна, ибо совершенно не освещает особое качество, особую сторону вызванного искусством чувства. Без передачи чувств, конечно, не было бы возможно никакое искусство, но она сама по себе еще не составляет искусства. Передача чувств со стороны одного индивидуума многим может произойти и весьма часто происходит в действительности без того, чтобы в этом играло какую бы то ни было роль искусство. «Толстой, — как проходит мимо настоящей сущности искусства»²⁾. Эти же слова можно отнести и к Ф. И. Шмиту, который воспользовался именно этой теорией «заражения». «Искусство — единственное средство общения». Это неверно, хотя бы уже потому, что общение осуществляется и в религиозной, и в научной, и в практической деятельности. Мало того, общение посредством искусства может осуществляться только тогда, когда уже имеет место социально-трудовое общение.

С другой стороны, художественная деятельность есть не только способ общения, но и средство познания действительности; есть организующая сила; есть переформление действительности; есть способ удовлетворения эстетических потребностей; есть воспроизведение и выявление красоты; есть средство эмоционального заражения; есть систематизация чувств в образах; есть своеобразное мышление в образах; есть отражение общественного бытия; есть одна из идеологий; есть прикладной материал для науки; есть орудие самопознания классов; есть средство украшения; есть средство развлечения и отдыха; есть средство агитации и пропаганды и т. д. и т. д. Все эти определения, отчасти повторяя друг друга, все же указывают на множественность

¹⁾ Г. В. Плеханов думает, «что искусство начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности и придает им известное образное выражение» (т. XIV, стр. 2). Ф. И. Шмит с этим не согласен.

По его мнению, совершенно излишне подчеркивать, что искусство не только выражает, но и непосредственно переживаемые эмоции, а лишь вторично, намеренно вновь вызываемые или воображаемые (Пробл. метод. и т. д., стр. 14). Во-вторых, искусство, по мнению Ф. И. Шмита, есть деятельность, которая выявляет переживания во-вне, безразлично, какими средствами (там же, стр. 26). Этими замечаниями Ф. И. Шмит стирает какую бы то ни было границу между искусством и другими видами общественной деятельности. Он совершенно игнорирует особое качество искусства, тогда как Г. В. Плеханов всегда это подчеркивал (см., напр., т. XIV, стр. 137, 179, замечание); т. V, стр. 314—315, прим. и др.

²⁾ См. «Этюды о социалистической эстетике», стр. 16 (Г. В. Плеханов также отвергает определение искусства, даваемое Л. Толстым — см. Соч., т. XIV, стр. 2).

единство формы и содержания. И отрывать форму от содержания или наоборот, значит уничтожить художественное произведение.—отрицать искусство, как таковое. Если трансцендентальная эстетика провозгласила сущностью искусства форму, то Ф. И. Шмит провозгласил сущностью искусства передачу переживаний, передачу содержания, т.е. в конечном итоге содержание. Эту сторону автор превратил в абсолютную сущность, все же остальное выбросил. Там созерцание и непосредственное наслаждение формой, здесь передача переживаний «заражение» содержанием. И Кант и Шмит рассматривают отличительное свойство искусства—вызывать эстетическую реакцию, как абсолютную противоположность ко всем непосредственно утилитарным свойствам. И Кант и Шмит выступают здесь, как метафизики, но не как диалектики. Об этом мы еще будем говорить далее. Теперь же остановимся на вопросе: есть ли искусство «надстройка» или нет. Посмотрим, как решает этот вопрос Ф. И. Шмит. «Искусство есть производство ценностей—явление не идеологического, а общественно-организационного характера»—«Искусство, как организующая общественная сила, старше человеческой идеологии».—«Первичным повсюду является трудовой производственный процесс», с него и должен начинать искусствовед» (стр. 19). В конечном итоге, «искусство, как деятельность—и по Плеханову!—есть не надстройка (курсив наш. А. А.), а средство организации коллективного труда...» (стр. 18).

Не искусство, а содержание произведений искусства есть «идеология». Искусство—деятельность, а не вещи. Вещи—продукт искусства. Содержание вещей—«идеологическая надстройка» (стр. 26).

Если мы понимаем, дело обстоит у Ф. И. Шмита так. Искусство—деятельность. Под деятельностью следует понимать «совокупность целесообразных действий». Значит, искусство есть «совокупность действий», передающих переживание. Короче. Искусство—передача переживаний, передача содержания, передача идеологии. По Шмиту «совокупность действий», передача сама по себе, способ или форма передачи не есть «надстройка». То, что передается, содержание передачи—есть «надстройка». Выходит, что форма передачи переживаний не зависит от содержания. Мы видим здесь, отмеченный выше, отрыв формы от содержания. Если, обыкновенно, одна метафизическая точка зрения влечет за собой ряд других, то в разбираемой теории это выступает особенно ясно.

Искусство есть не просто деятельность, а общественная деятельность. Но каждая общественная категория имеет свою «естественную» и свою «общественную» сторону. Что касается общественно-художественной деятельности, то эта «совокупность действий» обуславливается, во-первых, физиологическим аппаратом, нервно-рефлекторным механизмом, биологической конституцией; во-вторых, способом производства материальной жизни, совокупностью производственных отношений, техникой и экономикой, иначе говоря, «базисом». Социолог должен всегда рассматривать иначе говоря, «базисом». Социолог должен всегда рассматривать «общественную» сторону, так как деятельность сама по себе связана с природой (хотя в обществе и через общество). Совокупность действий, передающих содержание, непрерывно эволюционирует. Форма передачи все время видоизме-

няется. И это изменение формы обусловлено изменением содержания, а это последнее зависит в конечном итоге от развития производительных сил, т.е. от «базиса». Плеханов всегда утверждал, что искусство, т.е. «общественное сознание» определяется техникой и экономикой, т.е. «общественным бытием»¹⁾. К. Маркс, рассматривая производство искусства, как материальную вещь и как о материализованную идеологию, также относит искусство к «надстройкам» и указывает, что люди в художественно-идеологической форме осознают экономическую сущность. Одним словом, для всех марксистов искусство есть всегда «идеология» и есть всегда «надстройка». Тогда как для Ф. И. Шмита, вследствие того, что с его точки зрения искусство старше идеологии, конечно не всегда²⁾.

Если искусство, как деятельность (как совокупность действий), не есть «надстройка», то, очевидно, оно должно быть «базисом». Но ведь «надстройка» определяется «базисом», поэтому «содержание» искусства, очевидно, обуславливается «совокупностью действий», передающих это «содержание». Форма определяет содержание. Это неизбежный вывод из положений Ф. И. Шмита.

Сказать: искусство—деятельность, значит ничего не сказать, значит дать совершенно формальное, совершенно бессодержательное определение. Ведь и труд есть деятельность. Значит, либо искусство—особый вид деятельности и в таком случае отлится от труда, либо понятие «искусство» охватывает всю человеческую деятельность. Но определение: искусство есть человеческая деятельность в целом—слишком отвлеченно, ибо всеобъемлюще. Содержание подобного определения обратно пропорционально его объему. Как учил Гегель, абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Положение: «искусство—производство»—есть бесплодная и пустая отвлеченность. Если же сказать: «искусство—производство идеологических ценностей» — это будет конкретное определение. Но тогда сразу выясняется, что искусство—идеологическая деятельность, тогда как труд есть производство материальных ценностей, есть материальная деятельность³⁾. Тогда возникает вопрос: что старше, труд или искусство, какая деятельность тут является причиной и какая продуктом, что от чего зависит—этот чрезвычайно важный вопрос Ф. И. Шмит разрешает в своем роде «диалектически». Он приравнивает труд, т.е. производство материальных ценностей, к искусству, т.е. к производству идеологических ценностей. «Искусство есть тот же труд»,—говорит Ф. И. Шмит (см. стр. 41).

¹⁾ Ср. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 183, предисловие к третьему изд. сб. «За двадцать лет».

²⁾ Н. Бухарин совершенно правильно отделяет понятия идеологии и надстройки, взяв «надстройку», как понятие более широкое и общее (См. Н. Бухарин, К постановке проблем теории исторического материализма,—«Вестник Коммунистической Академии» кн. 3, стр. 10).

На этой же точке зрения стоит А. В. Луначарский, когда он указывает, что искусство является в отношении к экономическому базису надстройкой в двух отношениях: «Во-первых, как часть самой промышленности, самого производства, во-вторых, как идеология» (См. А. В. Луначарский, Беседы по марксистскому миросозерцанию, 1924 г., стр. 35).

Если бы Ф. И. Шмит следовал в данном случае за Бухариным, Луначарским и др. марксистами, то его теория значительно бы выиграла в ясности.

³⁾ Бухарин говорит о производстве «материальном» и о производстве «интеллектуальном» (См. Бухарин, в ук. соч., стр. 11).

Он не различает общественно-полезный труд от производительного труда¹⁾. Он смешивает воедино труд и «отдифференцированный труд» (как выражается Н. Бухарин в «Теории исторического материализма»). Но об этом мы еще будем иметь случай говорить.

Итак, говорить «о деятельности вообще», значит рассуждать *in abstracto*. Деятельность не следует отрывать от ее объективных результатов. Деятельность можно понять и характеризовать только в связи с ее конкретным содержанием. Но если это справедливо, то не следует отрывать художественное творчество от его продуктов. По мнению Ф. И. Шмита, «ученый искусствовед должен, главным образом, выяснять художественно-творческие процессы...» (стр. 20). Искусствоведение должно «прежде всего, на основании изучения всего механизма человеческих рефлексов, понять совокупность тех специфических действий, какие имеют целью из разрозненных индивидов создать коллектив» (стр. 26). В конечном итоге: «искусство есть факт индивидуально-психологический и, одновременно, социологический (коллективно-психологический)» (стр. 50).

Прежде всего отметим, что искусство имеет субъективную и объективную стороны, так как оно есть и художественное творчество и мир произведений искусства. Искусство, понимаемое в «субъективном смысле», — есть художественная деятельность или творчество художника. Искусство в «объективном смысле» — совокупность предстоящих нашим чувствам художественных произведений — создавать между тем и другим искусственную границу не следует. И тем более не следует игнорировать объективную часть искусства. А это как раз и делает Ф. И. Шмит, когда говорит, что искусство есть единственно «творческий процесс художника и его сограждан». Это ведет неминуемо к субъективизму и психологизму. Нам кажется, что с марксистской точки зрения искусство следует понимать, как художественную деятельность вместе с ее продуктом — художественным произведением. Между прочим, на этой точке зрения стоит современная объективная эстетика. Так Э. Мейман указывает, что художник не только стремится выразить пережитое им, но и изобразить его в чувственно-конкретной форме, как непреходящее произведение²⁾. Есть два мотива: мотив выражения и мотив произведения (мотив формы). И второй мотив настолько важен, что его, по мнению Э. Меймана, необходимо включить в определение искусства (там же, стр. 78).

В конечном итоге, произведение искусства есть объективное выражение человеческих переживаний, оно есть материализация и объективация художественного процесса. Современная рефлексология учит нас, что какое бы «сознательное» действие мы ни взяли, например, движение рук скульптора, высекающего из мрамора фигуру, — это будет не что иное, как заключительная часть рефлекса³⁾. В таком случае, мраморная фигура будет объективным выражением заключительной части эстетической реакции. Но как можем мы охарактеризовать эстетическую реакцию? Во-первых, эстетическая реакция представляет собой особый вид эмоциональной реакции:

¹⁾ См. Н. Бухарин, К постановке проблем и т. д., стр. 10—11.

²⁾ См. Э. Мейман, Эстетика, т. II, 1920 г., стр. 65.

³⁾ См. проф. А. И. Арямов, Общие основы рефлексологии, 1926 г., стр. 313.

во-вторых, эстетический процесс развивается безусловно по типу условного или сочетательного рефлекса, в основе своей, связанного с безусловными, иными словами, связанного с инстинктивными реакциями. Видоизменив соответственным образом определение эмоции, предложенное проф. В. П. Осиновым, мы можем дать следующее общее определение эстетического процесса: эстетическая эмоция есть субъективное переживание, связанное с рядом объективных выражений, обусловленное внешними или внутренними раздражителями, рефлекторно-влияющими на поперечно-полосатые мышцы, на органы непроизвольного движения и на сосудистую систему; восприятие этих изменений с их отражением на психической деятельности и составляет сущность эстетического процесса¹⁾.

Схему течения и развития эстетических реакций можно представить следующим образом: 1) эстетический внешний или внутренний (эндоцеребральный) раздражитель. Эстетическое значение раздражителя запечатлелось из прежнего опыта из сочетания с инстинктивными реакциями [безусловный стимул + условный (социальный стимул)]; 2) проведение возбуждения к коре головного мозга; возбуждение соответствующих энграмм; 3) распространение (иррадиация) возбуждения; 4) восприятие и переживание суммы изменений и последствия этих изменений. Итак, с одной стороны, эстетический процесс развивается в организме вследствие примененного внешнего эстетического раздражителя, вызывающего ряд рефлекторных реакций. Но, с другой стороны, толчком к развитию эстетической эмоции может явиться и действительно является воспоминание об эстетическом явлении. «В таких случаях физиологическими возбудителями соответствующего рефлекторного процесса служат активировавшиеся энграммы, лежащие в основе возникших воспроизведений» (там же, стр. 111). Иначе говоря, эстетический процесс обуславливают в данном случае оживившиеся в связи с соответствующим возбудителем энграммы («Sémon»), которые лежат в основе эстетических представлений.

В конечном итоге, объективным стимулом эстетической реакции являются произведения искусства, в которых выражаются эстетические понятия людей²⁾. Отсюда следует, что художественные произведения являются не только объективным выражением последней части эстетической реакции, но и объективным выражением ее первой части. Но современная наука (биохемиоризм, рефлексология, реактология) утверждает, что в научном исследовании идти необходимо от объективного к субъективному, поэтому при изучении эстетических реакций необходимо исходить из произведений искусства. Кроме того, произведения искусства представляют собою о материализованную, образно выражаясь, уплотненную до степени материального, общественную психологию и идеологию. Н. Бухарин, указывая на этот своеобразный процесс аккумуляции культуры, когда общественная психология и идеология уплотняются и оседают в виде вещей, имеющих оригинальное общественное бытие, утверждает следующее: «если материализация общественных явлений есть один из основных законов развивающегося общества,

¹⁾ См. В. П. Осинов, О физиологич. происхождении эмоций, сб., посвящ. акад. И. П. Павлову, 1925 г., стр. 112—113.

²⁾ Ср. Э. Мейман, Эстетика, т. II, стр. 36.

то ясно, что в соответствующих областях (т.-е. надстройках) анализ нужно начинать отсюда. Материалистическая точка зрения и здесь получает свое новое подтверждение¹⁾. Ф. И. Шмит идет противоположным путем и в результате отходит от материализма к идеализму и метафизике. Совершенно прав один из его критиков, который говорит, что для Ф. И. Шмита «существуют, в конечном итоге, лишь психо-физиологические процессы, протекающие в изолированном человеке»²⁾. Но, как совершенно правильно указывает Э. Мейман: «Искусство — объективный предмет, а не психологический процесс»³⁾. По мнению Ф. И. Шмита, «вещи» не имеют общественной динамики, а вот художественные процессы динамичны. Так как марксизм изучает именно процессы, то поэтому следует исходить из художественных процессов. Если рассматривать вещи метафизически, изолированно, то, конечно, в них не будет движения, динамики, но если взять их в совокупности, в диалектической связи, то в них мы несомненно усмотрим своеобразное движение и развитие, которые, как мы говорили выше, являются следствием общественно-экономической динамики. С другой стороны, если подойти к художественному процессу так, как подходит к нему Ф. И. Шмит, то окажется, что он изолирован, индивидуален; что в нем отсутствует общественная динамика.

Остановимся еще на одном моменте. Ф. И. Шмит бросает Г. В. Плеханову упрек в том, что тот будто бы смотрел на искусство, не как на фактор общности, а только как на ее продукт. Из сказанного нами выше видно, что Г. В. Плеханов только и мог смотреть на искусство, как на продукт общности. Иначе не могло быть, потому что Плеханов в корне отвергает «теорию факторов». Он не мог рассматривать искусство, как отдельный, самодовлеющий «фактор»⁴⁾. Для этого он был слишком диалектичен. Только метафизик может изолировать ту или иную форму деятельности общественного человека. «Социально-исторический фактор, — для Плеханова, — есть абстракция, представление о нем возникает путем отвлечения (абстрагирования)». Плеханов неоднократно указывал, что теория факторов, этот плод общественного анализа, должна быть заменена «синтетическим взглядом на жизнь»⁵⁾. Он усматривает только различные стороны общественного целого. Для него общественная деятельность есть нечто целое. Метафизические «факторы» являются только функциями одной и той же общественной действительности. Поэтому следует говорить о различном характере функций той или иной стороны общественной деятельности. По отношению ко всей совокупности общественной жизни разница между искусством и, например, областью материального производства коренится в разнице функций. Поэтому

¹⁾ См. Н. Бухарин, К постановке проблем теории историч. материализма, стр. 13 (ук. статья, прил. к «Теории историч. материализма», изд. 4, 1925 г., стр. 369).

²⁾ См. И. Корницкий, Проблемы теории и истории искусства, стр. 12; аналог. указание см. Федоров-Давыдов: Новая теория искусства, стр. 206—207.

³⁾ См. Э. Мейман, Эстетика, т. II, стр. 34.

⁴⁾ Плеханов отвергает взгляд, что искусство «фактор» общности, как совершенно несерьезный и ненаучный (См., напр., т. XIV, стр. 30).

⁵⁾ См. Н. Бельтов, О материалистич. понимании истории (Сб. «Критика наших критиков»), стр. 313.

первой задачей марксиста-искусствоведа и является определение «особенности функции, которая присуща искусству. Как совершенно правильно указывает Л. И. Аксельрод¹⁾ — искусствовед-диалектик должен определить отличное свойство искусства, т.-е. свойство, составляющее его главное, преобладающее назначение²⁾. Как говорил Спиноза: «Omnis determinatio est negatio», — всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание. Определение предмета прежде всего подчеркивает несходство его, а отличие от других предметов. Это единственно правильная, диалектическая точка зрения. Только она может привести нас к объективно-научному, к марксистскому определению искусства.

III.

Труд и искусство.

Что старше: человеческое общество или искусство? Для марксиста этот вопрос покажется странным, парадоксальным, короче, бессмысленным! Ведь если искусство есть общественный продукт, продукт человеческого общества, то совершенно ясно, что оно не могло существовать ранее человеческого общества. Однако для Ф. И. Шмита это вовсе не так уж просто. Для него, наоборот, совершенно ясно, что человек «вместе с элементами социальной организации унаследовал от своих предков-животных и искусство»³⁾. Выходит, что искусство старше человеческого общества. А если так, значит оно не есть продукт именно человеческого общества. «Как общественность — старше человечества, — говорит Ф. И. Шмит, — так и искусство, как организующая общественная сила, старше человеческой идеологии» (там же, стр. 19). Мы уже имели случай указать, что Ф. И. Шмит и Г. В. Плеханов вкладывают различное содержание в определение: искусство — общественное явление. Теперь мы можем к этому добавить, что указанная разница коренится в их различном отношении к понятию: общество, общественность. По Ф. И. Шмиту: общество предшествует человеку (стр. 30—31). По Г. В. Плеханову: общество не может предшествовать человеку! Какая из этих двух точек зрения соответствует действительности? В виду чрезвычайной важности этого вопроса, мы рассмотрим его несколько подробнее. Что такое «общество» в понимании Ф. И. Шмита. П. Кропоткин в книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» понимает под общественностью чувство видовой солидарности и взаимную поддержку, — взаимную помощь, взаимную защиту. Исходя из этого и ссылаясь как на обширный фактический материал, так и на ряд исследований, напр., на книгу Эспинаса: «Социальная жизнь животных», 1882; Перье: «Жизнь животных» и др., П. Кропоткин в конечном итоге утверждает: «Общество не было создано человеком — оно предшествовало человеку». Ф. И. Шмит целиком присоединяется к этому, по его словам, «совершенно точному выводу», ибо он, основываясь на работе П. Кропоткина, также понимает общественность, как взаимную помощь. Но Ф. И. Шмит идет значительно дальше П. Кро-

¹⁾ См. «Вопросы искусства», стр. 150.

²⁾ Ср. Э. Мейман, Эстетика, т. I, 1919 г., стр. 133. Э. Мейман стоит на подобной же точке зрения.

³⁾ См. «Пробл. методол. искусства», стр. 38.

поткина. «Выведенный Кропоткиным закон общественности,—говорит он,—вовсе не есть специфически-биологический закон, а есть частная формула мирового закона, давным-давно по кусочкам известного под самыми разнообразными названиями—то «всемирного тяготения», то «химического сродства», то «категорического императива», то нашего боевого клича: «Пролетарии всех стран, соединитесь!» (стр. 33).

По мнению Ф. И. Шмита, существует взаимопомощь «между всеми цветковыми растениями и насекомыми» (стр. 31). Электроны стремятся к объединению и «учатся общественности» (32). Атомы соединяются по «семейно-родовому принципу» (33). Есть элементы «не общественные» и есть «общественные» (33). Клетки «организуются» в организмы (33) и т. д., и т. д. Одним словом, закон общественности имеет такое же мировое и всеобъемлющее значение, как и другой закон, что бытие определяет собою сознание» (стр. 33).

Итак, Ф. И. Шмит открыл новый мировой закон. К сожалению, мы принуждены его в этом несколько разочаровать. Этот закон уже давным-давно известен под другим названием. В самом деле, Ф. И. Шмит понимает под «мировым законом общественности» усложнение и накопление количественных изменений—понимает непрерывное восхождение от низшего к высшему. Что Ф. И. Шмит понимает закон общественности, в данном случае, именно так, а не иначе, доказывается всем ходом его рассуждений, всеми приводимыми им примерами и иллюстрациями (стр. 32—33). Если бы он понимал всеобъемлющий закон общественности в буквальном смысле, то ему пришлось бы говорить, в полном соответствии с основными положениями своей теории, об искусстве у электронов! Но, если дело обстоит так, как мы указали, тогда «мировой и всеобъемлющий закон общественности» оказывается только одним из основных принципов диалектики. Энгельс в «Людвиге Фейербахе» учил, что диалектический процесс есть непрерывный процесс «возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему». А усложнение и накопление количественных изменений связано с переходом «количества» в «качество». Таким образом, «закон общественности», в этом последнем понимании, действительно является «мировым и всеобъемлющим». Но дело в том, что Ф. И. Шмит употребляет этот «закон» то в одном смысле, то в другом—понимает то буквально, то иносказательно. И, что еще важнее, этот «всеобъемлющий закон» дает Ф. И. Шмиту возможность как бы упразднить, игнорировать частные законы. Он забывает при этом, что частные законы суть выражения общих законов в особой специфической форме.

«Эволюция не остановилась ни на атоме водорода, ни на живой клетке, ни на организме,—говорит автор.—Закон общественности продолжает оставаться в силе—вся жизнь животных и вся история человечества это доказывают». Вместо того, чтобы исследовать исторические проявления закона общественности: вместо того, чтобы на основе изучения конкретных форм общественности устанавливать конкретные, специфические частные законы—наш автор выдвигает повсюду всеобъемлющую фразу «закон общественности». Не удивительно поэтому, что «взаимная помощь» является для Ф. И. Шмита синонимом «общественности»

(стр. 33). Точно так же обстоит у него дело и с фразой «борьба за существование». Вместо анализа исторических проявлений ее, имеет место превращение всякой конкретной борьбы в фразу «борьба за существование» (стр. 38). В результате этого биологическая фраза поглощает социологию, поглощает специфическую методологию исследования общественной жизни (стр. 49, 24, 20).

Но уже давно (в 1870 г.) писал Маркс Кугельману по поводу кантрианца Ф. А. Ланге: «Дело в том, что г. Ланге сделал великое открытие. Вся историю можно-де подвести под единственный великий естественный закон. Этот естественный закон заключается во фразе Struggle for life—борьба за существование. Выражение Дарвина в этом его употреблении становится пустой фразой...»¹⁾. Это целиком относится и к Ф. И. Шмиту. В конечном итоге у Ф. И. Шмита получается винегрет из качественно совершенно разнообразных явлений: объединение электронов; фитоценоциология или взаимная помощь между растениями и насекомыми; жизнь организма; стадное существование животных; человеческое общество и пр.—все это подводится под понятие «закон общественности».

Стремление осциологизировать биологию или оббиологизировать социологию живуче, как заблуждение, и надоедливо, как старый друг! И в настоящее время мы имеем длинный ряд примеров этому. Не так давно, напр., т. Енчмен пытался дать «полное научное обобщение биологических явлений с явлениями социальными»²⁾. Профессор Н. А. Гредескул, на которого, между прочим, ссылается Ф. И. Шмит, считает «коммунизм» фактором борьбы за существование у растений, и у животных, и у людей³⁾. Проф. М. Мензбир утверждает, что «под социологией мы должны разуместь отдел биологии и т. д.»⁴⁾. А. Богданов прямо заявляет: «Для биологизации общественных наук время пришло»⁵⁾. Между прочим, исходя из этого, А. Богданов считает, что решение вопроса о происхождении «двух главных форм производства» (земледелия и скотоводства) связано с муравьиным (!?) хозяйством. Ибо у муравьев существует земледелие, скотоводство и «даже парниковое огородничество» (!?) (стр. 94). Наконец, недавно М. Бубликов вознамерился «дать социологии биологическую основу»⁶⁾ и т. д., и т. д. Все эти и им подобные исследования служат образчиком того, как не следует обращаться с диалектическим материализмом. Нам думается, что многочисленные ошибки перечисленных авторов вытекают, главным образом, из того, что все они стоят на механической точке зрения. Их материализм—механистический материализм! Их подход к изучаемым явлениям—чисто количественный подход! Они забывают о качестве; забывают о переходе количества в качество и наоборот.

Забывает об этом и Ф. И. Шмит. В подтверждение этого можно привести большое количество фактов. Напр., вопрос о «количе-

¹⁾ См. Карл Маркс, Письма к Кугельману, от 27 июня 1870 г.

²⁾ См. Н. Бухарин, Енчмениада, — «Кр. Новь» № 6, 1923 г., стр. 150.

³⁾ См. его «Происхождение и развитие общественной жизни», т. I, 1925 г.

⁴⁾ См. проф. Мензбир, Формы общественн. строя у животных, 1922 г., стр. 61.

⁵⁾ См. А. Богданов, Учение о рефlekсах и т. д., стр. 95.

⁶⁾ См. Бубликов, Борьба за существование и общественность, 1926 г., стр. 73.

ственности» или «качественности» искусства. Мы полагаем, что искусство не только количественно отличается от других сторон общественной деятельности, но есть и качественное различие. По мнению Ф. И. Шмита, «качественность» искусства, как и любая иная «качественность», вовсе не поддается точному определению. Поэтому-то именно современная наука и стремится повсюду свести качество к досконально измеряемому количеству...» (стр. 50—51). «В разговорах о «качественности» искусства сказываются лишь беспомощность мысли и дурные привычки тех, кто такие разговоры ведет» (51). Одним словом, только количественное объяснение подлежащих изучению феноменов делает действительно научным исследование искусства (стр. 51). Эта точка зрения, не имеющая ничего общего с диалектическим материализмом, и является главным источником заблуждений Ф. И. Шмита ¹⁾.

Эта точка зрения проявляется и тогда, когда автор смешивает биологические закономерности с социальными. Для него «общественность» животных и «общественность» людей явления одного порядка. Между ними разница только количественная (стр. 33). «Общественность» повсюду есть «солидарность и взаимная помощь». Но это совершенно не соответствует действительности и, как мы уже указывали выше, опровергается рядом современных научных исследований.

Понятие о человеке, как члене общества, является основным понятием учения Маркса. Одновременно оно является и основным понятием социологии. Поэтому нам необходимо совершенно отчетливо уяснить себе, что означает понятие людей, как членов общества. Учение о том, что человек—существо общественное, создано было очень давно. С точки зрения этого учения люди уже от природы—существа общественные. Своего рода инстинкт заставляет людей стремиться к братству, вынуждает их солидаризироваться и помогать друг другу. Короче говоря, «общественность» повсюду есть «солидарность и взаимопомощь». В противовес этому старому понятию «общественность человека» Маркс выдвигает новое понятие «обобществление человека». Отличие этого нового Марксова понятия обобществления заключается в том, что идея обобществления не совпадает с идеей общественности и единодушия людей. Как правильно подчеркивает Макс Адлер: «Обобществление может быть также весьма необщественным и несогласным (внутренне-противоречивым)» (См. Макс Адлер: «Марксизм как пролетарское мировоззрение», 1923 г., стр. 16). Достаточно указать на рабство, крепостничество, наемный труд—которые являются именно формами обобществления, связанности человека. Таким образом, понятие обобществления шире и глубже понятия общественности, ибо оно охватывает и социальную солидарность и социальную борьбу. Но тут возникает вопрос о том, каково в действительности отношение между «борьбой за существование» в широком смысле, и «взаимопомощью» (общественностью). Дополнение к общественной борьбе (борьба за существование, борьба за способ существования, социальная конкуренция) внутри обще-

¹⁾ Ср., напр., предлагаемое Ф. И. Шмитом «количественное» построение мировой истории (стр. 34), которое В. Фриче справедливо называет «арифметической социологией» (См. В. Фриче, Арифметическая социология искусства.—«Вестн. Ком. Ак.» № 13, 1925)

ства образует общественная солидарность: взаимопомощь,—дополнение в двойном смысле:

а) она (общественная солидарность или взаимопомощь) служит целям борьбы за существование, потому что, целесообразно соединяя раздробленные силы человеческих индивидуумов, делает борьбу более активной и более организованной;

б) она прекращает или во всяком случае ослабляет борьбу в определенном отношении и в определенных границах между человеческими индивидуумами, которых она объединяет или охватывает.

Социальная солидарность или взаимопомощь есть, таким образом, одновременно средство для борьбы и против борьбы. «Проявляясь как средство против борьбы,—говорит К. Либкнехт,—она может осуществляться только лишь как средство для борьбы» (См. Karl Liebknecht: «Studien über die Bewegungsgesetze der Gesellschaftlichen Entwicklung», 1922 г., гл. 6, § 5, Soziale Solidarität. Vgl. Kropotkin: «Gegenseitige Hilfe bei Menschen und Tieren», стр. 230).

Таким образом, речь идет о двух различных, но не противоположных, включающих друг друга понятиях и принципах, которые охватывают все человеческое общество и которые, исключая друг друга с ограниченной точки зрения, с более широкой точки зрения, наоборот, друг друга дополняют. Короче говоря, отношение между «борьбой за существование» в широком смысле и «солидарностью» в процессе общественного развития может быть понято только с диалектической точки зрения. «Как борьба, так и солидарность в диалектическом процессе являются попеременно тезисами, антитезисами и синтезисами» (Karl Liebknecht, в ук. соч., § 6, стр. 232).

На основании всех этих соображений мы считаем, что с методологической точки зрения наиболее правильным и научно точным будет утверждение: искусство не есть продукт общественности, а есть продукт обобществления человека. Положение: «искусство есть продукт общественности»—может быть допущено только в том случае, если понимать «общественность» не так узко, как это, например, имеет место у Ф. И. Шмита, т. е., если вкладывать в это понятие такое же диалектическое содержание, какое Маркс вкладывает в понятие «обобществление». Одним словом, и в данном случае, как всегда и всюду, необходимо быть не только материалистом, но и диалектиком.

Происхождение человека (наиболее общественного из всех животных), конечно, можно выводить только от общественных животных (обезьян). «В пресловутой «природе человека» нет ни одной черты, которая бы не встречалась у того или иного вида животных...—говорит Г. Плеханов,—но не надо забывать, что количественные различия переходят в качественные. То, что существует, как зачаток, у одного животного вида, может стать отличительным признаком другого вида животных» ¹⁾. Стадная, чисто-биологическая «общественность» животных переходит в культурно-историческую «общественность» людей. «Зачаток» становится «отличительным признаком»! Количество переходит в качество! В чем же заключается

¹⁾ Г. В. Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, стр. 104.

характерный признак человеческого общества, отличающий его от стаи обезьян? На это Энгельс отвечает вполне определенно: в труде! Процесс же труда начинается только при изготовлении орудий. Именно превращение «естественных орудий» в «искусственное» и послужило основанием для перехода внешнего животного человека к общественному состоянию¹⁾. Как указывает Ф. Энгельс, ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого кремневого ножа. Таким образом, качественное отличие человека от животных составляет употребление и производство орудий.

Развитие труда, по необходимости, способствовало более тесному сближению и сплочению членов общества. «Коротко говоря, ближайшие предшественники людей пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу»²⁾. Отсюда можно вывести, что социально-трудовое общение старше всякого другого человеческого общения, в том числе и общения посредством искусства.

В конечном итоге, одновременно, с появлением сформировавшегося человека возникает новый элемент, общество, которое, с одной стороны, мощно толкает вперед развитие труда и речи, а с другой — дает им определенное направление³⁾.

Все изложенное приводит нас к тому чисто-историческому определению общества, которое дал нам К. Маркс: «Производительные отношения в их совокупности образуют то, что называется общественными отношениями, обществом...» (К. Маркс: «Наемный труд и капитал»).

Но если общество есть совокупность отношений, в которые люди вступают друг с другом в целях производства своей материальной жизни, то ясно, что подлинным объектом социологии являются постоянно меняющиеся производственные отношения.

Общий итог всех этих рассуждений таков: 1) труд создал самого человека, а вместе с ним и общество; 2) как не существует человека без общества, так не существует общества без человека; 3) общество не может предшествовать человеку; 4) у животных не существует труд.

Эти выводы опровергают полностью основные предпосылки теории Ф. И. Шмита. Вместе с тем становится ясно, что если искусство есть общественный продукт, то оно не может предшествовать человеческому обществу. Если же искусство предшествует человеческому обществу, то оно ни в коем случае не может быть общественным продуктом.

Теперь мы имеем возможность перейти к разрешению основного вопроса марксистского искусствознания: что старше, труд или искусство?

Г. В. Плеханов в своих сочинениях неоднократно обращает наше внимание на то, как важно понятие игры для материалистического объяснения искусства⁴⁾, он утверждает, что «решение

¹⁾ См. Деборин. Энгельс и диалектика в биологии.

²⁾ См. Ф. Энгельс, Труд как фактор эволюции в процессе развития от обезьяны к человеку.

³⁾ См. Энгельс, Труд как фактор и т. д.

⁴⁾ См., напр., Плеханов, Соч., т. V, стр. 317.

вопроса об отношении труда к игре, — или, если хотите, игры к труду, — в высшей степени важно для выяснения генезиса искусства»¹⁾. Но это положение имеет смысл только в том случае, если считать игру и искусство явлениями одного порядка. В этом случае мы имеем полное право противопоставлять игру и искусство труду. Если же искусство и игра не имеют между собой ничего общего, тогда вопрос об отношении труда к игре не имеет никакого отношения к проблеме происхождения искусства. Плеханов, как это мы покажем, стоял на той точке зрения, что, во-первых, искусство безусловно родственно игре, и, во-вторых, искусство и игра между собою тесно связаны в плоскости противопоставления труду.

Здесь следует обратить внимание на то важное обстоятельство, что, по мнению некоторых исследователей, Плеханов считал, что искусство есть то же самое, что и игра. Ф. И. Шмит, напр., упрекает Плеханова в том, что тот «не ставит резко и четко вопрос о том, то ли самое искусство, что и игра, или не то же самое...»²⁾. Согласно мнению Ф. И. Шмита, для Плеханова искусство и игра — одно и то же (см. стр. 41). Против этого Ф. И. Шмит резко протестует, так как, по его мнению, искусство есть серьезное занятие, есть труд, а не забава или пустяки (там же, стр. 41, 44).

Между прочим, С. Вольфсон в одной из своих статей рассуждает так: «Искусство — игра, — материалистам совершенно не за чем возражать против этого положения, выдвигаемого идеалистической эстетикой. Но им надлежит показать, что игра это отнюдь не «праздная забава»... взгляд на искусство, как на игру, надо дополнить взглядом на игру, как на дитя труда, — это дополнение и осуществил Плеханов...»³⁾. Из этих рассуждений следует, что для Плеханова, повидимому, искусство есть игра. Мы позволяем себе думать, что это не так! Для Плеханова искусство и игра не одно и то же! И материалистам необходимо возражать против идеалистического положения: искусство — игра.

Вундт говорил: «Мать искусства — игра», и эту точку зрения в новейшее время развивал Ф. Ракич⁴⁾. Но взгляд, что искусство — игра, следует отличать от генетической теории Вундта, что оно произошло из игры. Последнее могло иметь место и в том случае, если бы искусство было чем-то совершенно отличным от «игры». Мы же сейчас рассматриваем взгляд, что искусство тождественно с игрой.

Уже Платон высказал мысль, что игра родственна искусству или даже одинакова с ним. Эта точка зрения Платона была обусловлена тем, что он видел в искусстве только забаву, хотя бы благородную и прекрасную, но все-таки забаву. Впоследствии этот взгляд был воспринят И. Кантом, который также называет искусство игрою (Das Spiel). Эта точка зрения вытекает из основ-

¹⁾ См. Соч., т. XIV, 54.

²⁾ См. «Пробл. метод. искусств.», стр. 40.

³⁾ См. С. Вольфсон, Г. В. Плеханов и вопросы искусства — «Кр. Новь» 1923 г., № 5, стр. 156. Подобной же точки зрения придерживается и И. Аксельрод в статье: «Г. Плеханов об искусстве», журн. «Возрожд.» 1909 г., № 9—12, стр. 95—99.

⁴⁾ См. V. Rakic, Gedanken über die Erziehung durch Spiel und Kunst, Leipzig, W. Engelmann, 1911 г.

ного положения теории Канта («Критика способности суждения»), согласно которому истинное искусство заключает свою цель в себе и исключает всякую иную. Идеалист Шиллер, следуя в данном случае за Кантом, усматривал происхождение искусства в свойстве, присущем человеку от рождения, в стремлении к игре. Он называл это свойство «*der Spieltrieb*». Против этой, усвоенной Шиллером, идеи Канта, что искусство есть игра, решительно выступил Н. Г. Чернышевский. Не трудно понять, почему именно Н. Г. Чернышевский отвергает эту идею. Для него, как указывает Плеханов, понятие «игры» покрывается понятием пустой забавы¹⁾. С другой стороны, Н. Г. Чернышевский утверждает, что искусство «должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие» (цит. по Плеханову, т. V, стр. 309). Он в корне отвергает ту мысль, что искусство вообще не должно быть полезным, что оно существует для себя. Но раз искусство не есть пустое и праздное занятие, то совершенно ясно для него, что оно не является игрой.

Подобным же образом рассуждает и Ф. И. Шмит. Плеханов забывает, — говорит он, — что сам же признает искусство «средством общения между людьми», т. е. чем-то совершенно иным, чем «расстрата неизрасходованной на производительный труд энергии». Так как искусство есть серьезная, напряженная работа, а не пустая забава, то этим доказывается, что искусство не есть игра (стр. 39—43). Очевидно, что для Ф. И. Шмита, также как и для Н. Г. Чернышевского, понятие игры покрывается понятием пустой забавы (стр. 39—40).

И Н. Г. Чернышевский и Ф. И. Шмит стоят в данном случае на метафизической точке зрения. Они оба рассуждают по формуле: или—или. Либо искусство есть игра, либо искусство не есть игра. Дialeктик рассуждает иначе. Он рассуждает по формуле: и да, и нет. Искусство есть игра, и в то же время искусство не есть игра. Плеханов совершенно справедливо упрекает Н. Г. Чернышевского в недиалектичности. «На исторических взглядах Чернышевского, — говорит Плеханов, — отразился основной недостаток философии Фейербаха: неразработанность исторической или, точнее сказать, диалектической стороны. И только потому, что не разработана была эта сторона в усвоенной им философии, Чернышевский мог не обратить внимания на то, как важно понятие игры для материалистического объяснения искусства»²⁾. Это относится также и ко взглядам Ф. И. Шмита. Но как же подходил сам Г. В. Плеханов к рассматриваемому нами вопросу? Прежде всего он считает необходимым отчетливо различать хозяйственную деятельность от нехозяйственной. После этого Плеханов, как последовательный материалист, ставит себе целью решение вопроса об отношении хозяйственной деятельности к нехозяйственной. Если стать на эту точку зрения, тогда становится ясным, что по отношению к хозяйственной деятельности искусство и игра, вопреки Ф. И. Шмиту, суть явления одного порядка: и то и другое относится к нехозяйственной деятельности. Именно так, как к отрицательному разграничению, подходил Г. В. Плеханов к понятию «игры». Только в этом отношении он и был солидарен с теорией

¹⁾ См. Плеханов, Соч., т. V, стр. 316.

²⁾ См. Плеханов, Н. Г. Чернышевский, — Соч., т. V, стр. 317.

Канта—Шиллера—Спенсера. Как у Шиллера, так и у Спенсера, понятие «игры» имеет значение, главным образом, как отрицательное разграничение, хотя и тот и другой вносили в нее положительный фактор. Понятие «игры» или, как выражается И. Гирн, «понятие спортивной деятельности» заключает в себе как раз ту независимость от внешних сознательно полезных мотивов, которая и требуется каждым настоящим произведением искусства. Шиллер старался отличить произведения искусства от всех «несвободных» форм деятельности указанием на присутствие в первых «инстинкта игры»¹⁾. По Спенсеру, главным отличительным признаком игры является то, что она непосредственно не служит жизненно-необходимым процессам. Деятельность играющего не направлена к достижению определенной утилитарной цели²⁾. И для Г. В. Плеханова, так же как для Шиллера—Спенсера, игра характеризуется именно отсутствием определенной практической цели³⁾. Но вместе с тем Плеханов, как мы это увидим дальше, прекрасно понимал, что теория Канта—Шиллера—Спенсера, определяя отрицательный признак искусства, не дает нам положительного знания природы искусства⁴⁾.

Из всего сказанного, конечно, не следует, что игра или искусство есть бесполезная деятельность, пустяки, «пустая забава». Например, игра, по мнению Плеханова, является утилитарной функцией, выявляющейся в процессе общественного хозяйствования. Игра служит в первобытном обществе для подготовки молодых особей к исполнению их будущих жизненных задач (т. XIV, стр. 62, 65). Выходит, таким образом, что понятие «игры» вовсе не покрывается понятием пустой забавы. В действительности игра становится пустой забавой только при известных условиях. Подобно этому и искусство, с точки зрения Плеханова, есть «функция утилитарной деятельности». Художественное творчество, конечно, не является бесполезной деятельностью, так как служит удовлетворению эстетических потребностей (см. т. XIV, стр. 71), корни которых лежат в биологии. Искусство выполняет большую биологическую и социальную задачу и развивается, служа борьбе за существование. Одновременно с этим оно выступает и как одно из средств общения. Отсюда видно, что для Плеханова искусство есть деятельность, направленная к удовлетворению эстетических потребностей, — есть художественная деятельность (т. XIV, стр. 70). В то же время игра для Плеханова является деятельностью совершенно иного рода, и в этом смысле не имеет ничего общего с художественной деятельностью. Все это, на наш взгляд, совершенно ясно и четко показывает, что Плеханов мыслит в данном случае строго диалектически.

У первобытных народов игра и искусство тесно переплетались между собой, как и вообще все виды деятельности. Инстинкт

¹⁾ См. Шиллер, Об эстетическом воспитании, письмо 15.

²⁾ Ср. «Основания психологии», 1876 г., т. IV, стр. 330 и след.

³⁾ См. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 58.

⁴⁾ А. Лежнев прав, по нашему мнению, только отчасти, когда указывает, что Плеханов считал идею Шиллера—Канта правильной. Утверждение подобного рода, не сопровождаемое соответствующими оговорками и ограничениями, может породить совершенно неправильное представление о Плехановской теории искусства (Ср. А. Лежнев, Плеханов как теоретик искусства, — «Печать и революция» кн. 2, 1925 г., стр. 23—24).

игры и художественный инстинкт были первоначально между собой связаны тесно. Инстинкт игры был, по мнению И. Гирна, чрезвычайно полезен для развития художественного инстинкта¹⁾. Но из этого вовсе не следует, что можно, подобно Э. Гроссе, считать сущность искусства тождественной с игрой²⁾. Ради тех или иных признаков сходства между игрой и художественной деятельностью не следует все же забывать различий между ними. Игра и искусство действительно имеют много общих важных черт. Ни то, ни другое не служат непосредственной, практической полезности и тем не менее они служат многим из глубочайших потребностей жизни. Обе деятельности предпринимаются не ради лежащей вне их, ради посторонней цели, а только ради чистого удовольствия от игры и художественного творчества³⁾. Наконец, искусство «безусловно должно быть признано родственным игре» еще потому, что игра воспроизводит жизнь. Но воспроизведение жизни, по утверждению Чернышевского, является существенным признаком искусства⁴⁾. С этим совершенно согласен Плеханов. «Воспроизведение жизни в игре или в искусстве,—говорит он,—имеет большое социологическое значение. Воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для своей общественной жизни, приспособляют себя к ней» (т. V, стр. 316). В конце концов, «все искусство может в известном смысле быть названо игрой,—говорит И. Гирн.—Но искусство более, чем это...»⁵⁾.

И на эту точку зрения становится Эрнст Гроссе в своем лучшем исследовании: «Kunstwissenschaftliche Studien» (Tübingen I, 1900). В этой работе он ясно подчеркивает различие обеих деятельностей. Искусство приводит в действие другие силы, чем игра. Во-первых, искусство имеет всегда некоторый объективный результат: произведение, которого совершенно нет в игре. Во-вторых, игра имеет значение преходящего развлечения, тогда как художественная деятельность для художника является серьезной жизненной задачей. И. Гирн указывает, во-первых, на отсутствие в игре цели (примеч. игра есть бесцельная деятельность, ср. Плеханов, т. XIV, стр. 56), тогда как в искусстве—цель в привлечении других путем удовольствия; во-вторых, на то, что художественные ценности, как красота, симметрия и ритм, не могут быть объяснены, как результат инстинкта игры⁶⁾. В конечном итоге можно сказать, что искусству присуща особая функция, поэтому не следует игнорировать своеобразные элементы мира искусств, не следует растворять искусство в других родах деятельности, но, наоборот, в известных случаях следует подчеркивать своеобразие художественной деятельности. И все это было совершенно ясно Плеханову и, наоборот, не было ясно Н. Г. Чернышевскому и Ф. И. Шмиту⁷⁾.

¹⁾ См. И. Гирн, Происхождение искусства.

²⁾ См. Э. Гроссе, Происхождение искусства М. 1899 г.

³⁾ См. И. Гирн, Происхождение искусства, стр. 24; Э. Мейман, т. I, стр. 158; Г. Роланд-Гольст, Этюды о социал. эстетике, стр. 31.

⁴⁾ См. Чернышевский, Соч., т. X, ч. 2, отд. I, стр. 164.

⁵⁾ См. И. Гирн, в ук. соч. стр. 24.

⁶⁾ См. И. Гирн, в указ. соч., стр. 23—24.

⁷⁾ См., напр., Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 55, где Плеханов совершенно «ясно и четко» отделяет игру от искусства.

Бюхер приходит в своем исследовании к следующему выводу: «Игра старше труда, а искусство старше производства полезных предметов»¹⁾.

Если это так, говорит Плеханов, то материалистическое объяснение истории «не выдерживает критики фактов»: тогда следует рассуждать о зависимости экономики от искусства. Иначе говоря, тогда хозяйственная деятельность человека будет зависеть от нехозяйственной. В этом и заключается центральный пункт всей проблемы происхождения искусства. В данном случае нет нужды отделять искусство от игры, а необходимо доказать, что и игра, и искусство, и вообще нехозяйственная деятельность всецело обусловлена хозяйственной! Под хозяйственной деятельностью вообще Плеханов понимает в данном случае: труд; производство полезных предметов; деятельность, преследующую определенные утилитарные цели; деятельность, утилитарную непосредственно; деятельность, необходимую для поддержания жизни отдельных лиц и всего общества.

Под нехозяйственной деятельностью Плеханов понимает противоположное: деятельность, не служащую непосредственно процессам, поддерживающим жизнь; деятельность, не производящую предметы, полезные, например, для питания; деятельность, не преследующую определенную утилитарную цель,—одним словом, деятельность, не утилитарную непосредственно.

Но в таком случае и игра, и искусство охватываются понятием «нехозяйственная деятельность». В этом смысле можно сказать, что искусство и игра—одно и то же.

Ведь, в самом деле, художественная деятельность не служит практической цели, как средство, ради которого оно возникает. Скорее, как говорит Гроссе, «она является самодеятельностью». По мнению Гирна, произведение или действие, доказанным образом служащее какой-нибудь полезной вне-эстетической цели, не может быть рассматриваемо, как истинное произведение искусства. Эта отличительная независимость и кажется нам подходящей исходной точкой для изучения искусства²⁾.

Точно также и игра не есть непосредственно утилитарная деятельность, не есть производство полезных предметов. Значит, мы имеем полное право противопоставлять труд, с одной стороны, игре и искусству, с другой стороны³⁾. Но тогда возникает существенный вопрос, что старше: труд или искусство и игра? Что тут является причиной и что продуктом, что от чего зависит?

Прежде всего остановимся на вопросе, что старше: труд или игра? Здесь следует сделать два предварительных замечания. Во-первых, понятие «игры» в данном его употреблении значи-

¹⁾ Цит. по Плеханову, Соч., т. XIV, стр. 55; следует отметить, что, между прочим, и Бюхер не считал искусство и игру абсолютно тождественными (см. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 54 и 71). Бюхер смотрел на игру, как на первоначальное свойство, не имеющее ничего общего с пользой.

²⁾ См. И. Гирн, в ук. соч., стр. 8.

³⁾ Как правильно указывает В. Фриче: «Искусство было в своем первоначале не чем иным, как практически-бесцельным повторением работы—работой, превращенной в игру» (См. В. Фриче, Социология искусства, 1926 г., стр. 17).

тельно шире понятия «искусства», т.-е. иными словами охватывает его. Во-вторых, искусство безусловно родственно игре. Если это принять во внимание, то сразу становится ясным, что поставленный выше вопрос чрезвычайно важен для генезиса искусства.

Г. В. Плеханов, опровергая физиологическую точку зрения Г. Спенсера и биологическую точку зрения Э. Гросса, решает вышепоставленную проблему с социологической точки зрения.

Свои рассуждения по этому поводу он резюмирует следующим образом: «у людей деятельность, преследующая утилитарные цели, иначе сказать, деятельность, необходимая для поддержания жизни отдельных лиц и всего общества, предшествует игре и определяет собой ее содержание» (т. XIV, стр. 57).

«Игра есть дитя труда, который необходимо предшествует ей во времени» (там же, 57). Но именно потому, что она есть дитя труда, она далеко не всегда является пустой забавой. Она становится ею только у тех общественных классов или слоев, которые живут без всякого труда и которые поэтому даже в своей «деятельности» являются бездельными. Однако, даже и в таких случаях игра есть в некотором роде побочное «дитя труда», потому что только при наличии известных отношений производства возможно существование в обществе класса или слоя, предающегося безделью» (т. V, стр. 316).

Также обстоит дело и с искусством. Различные общественные классы имеют неодинаковые эстетические вкусы, потому что живут неодинаковой жизнью и имеют неодинаковые потребности. «Классы, предающиеся безделью, выражают пустоту своей жизни и в своих произведениях искусства. Их искусство есть в самом деле не более как пустая забава; но оно является пустою забавою не потому, что оно есть совершенно подобное игре воспроизведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь» (стр. 316, т. V). Эти чрезвычайно глубокие и замечательные мысли, являющиеся результатом двадцатилетнего изучения искусства Плехановым, самым решительным образом опровергают метафизико-догматическое утверждение, что искусство—труд, а игра—забава! Эти же мысли указывают на единственно правильный, именно на диалектический, путь решения рассматриваемой нами проблемы. Дело не в «игре», а в том, каково содержание игры» (там же, 316). Отбрасывая метафизическую формулу: или — или, Плеханов выступает здесь перед нами, как блестящий диалектик. И только с диалектической точки зрения мы сможем должным образом оценить также и следующий, в высшей степени содержательный вывод: «Взгляд на искусство, как на игру, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает чрезвычайно яркий свет на сущность и историю искусства. Он впервые позволяет взглянуть на них с материалистической точки зрения» (там же, стр. 316—317).

Это безусловно правильное положение дает возможность удовлетворительно решить второй вопрос, что старше: труд или искусство? Плеханов отвечает на этот вопрос так, как только и может ответить на него последовательный марксист: «Изучение искусства первобытных племен показало, что общественный че-

ловек сначала смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии переходит в своем отношении к некоторым из них на точку зрения эстетическую» (т. XIV, стр. 118). Короче говоря: труд старше искусства. Ф. И. Шмит с этим в корне не согласен. Прежде всего самый вопрос: «Что же чему предшествовало: труд искусству или искусство труду?» не имеет, по мнению Ф. И. Шмита, никакого смысла. «Подробное исследование первобытного искусства,—говорит он,—показало бы, что нельзя противопоставлять искусство труду. Ибо искусство есть тот же труд»¹⁾. Мы уже говорили выше, что противопоставить искусство труду не только возможно, но даже в некоторых случаях необходимо. Мы уже показали, что приравнивать труд, который является производством материальных ценностей, к искусству, которое есть производство идеологических (эстетических) ценностей, ненаучно. Ведь необходимо же различать производительный труд от общественно-полезного. Ведь и сам Ф. И. Шмит в одном месте оговаривается, что искусство есть труд, высоко полезный, хотя непосредственно и не ведущий к цели» (стр. 44). Очевидно, что есть труд непосредственно ведущий к цели. Таким образом и сам Ф. И. Шмит признает существование двух видов труда. Если Ф. И. Шмиту не нравится в Плехановском вопросе слово «искусство», то мы можем упомянутый вопрос поставить иначе: какой из двух названных видов труда старше? Плеханов пишет: «Сначала человек стал к животным в определенные отношения (начал охотиться за ними), а потом уже и именно потому, что он стал к ним в такие отношения—у него родилось стремление рисовать этих животных» (т. XIV, стр. 73)...

Тут мы имеем, таким образом, два вида труда: охота и рисование. Спрашивается, в каком же взаимоотношении они находятся? Какой вид труда предшествует другому? Какой из этих двух видов труда причина, и какой—следствие? Ясно, что охота—причина, а рисование—следствие. Это настолько твердо установлено рядом исследований первобытной культуры и искусства, что Ф. И. Шмит не может, конечно, с этим не согласиться (стр. 42—43). Но что такое эти рисунки животных? Это ведь и есть искусство. «Первобытное искусство—вовсе не миф»²⁾. С этим Ф. И. Шмит также не может не согласиться. Он называет изображения животных «изобразительным искусством». В другом месте он говорит о «палеолитическом искусстве». Но тогда зачем же спорить против вопроса: что же чему предшествовало: труд искусству или искусство труду? Нет никакого сомнения в том, что труд предшествовал искусству³⁾.

Прецитируем еще раз Плеханова: «Характер художественной деятельности первобытного охотника совершенно недвусмысленно

¹⁾ См. «Пробл. метод. искусства», стр. 41.

²⁾ См. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 70.

³⁾ См. наприм., обстоятельное исследование Lu-Märten, *Wesen und Veränderung der Formen (Künste)*,—«Rezeutate historisch-materialistisch. Untersuchungen», 1924 г.

Лю-Мертен чрезвычайно убедительно обнаруживает всюду—и в живописи, и в скульпт., и в музыке, и в танце, и в поэзии, и в архитект.—одни и те же истоки хоз.-трудов, порядка вне какой-либо самостоят. существ. категории искусства. Путем анализа громадн. этнограф. матер. и эволюц. историч. искусств., на примере всех област., иск. Лю-Мертен доказывает, что труд старше искусства!

свидетельствует о том, что производство полезных предметов и вообще хозяйственная деятельность предшествовала у него возникновению искусства и наложила на него самую яркую печать» (т. XIV, стр. 73). Как мы показали, с этим принужден был, вопреки самому себе, согласиться и проф. Шмит. Мы говорим «вопреки самому себе», потому что в другом месте Ф. И. Шмит категорически утверждает, «что у животных уже есть искусство, и что, следовательно, искусство старше человека, старше человеческого организованного труда» (в ук. соч., стр. 46). Ф. И. Шмит мог бы, пожалуй, возразить, что искусство старше труда, но только человеческого, а не труда вообще. Так как, по его мнению, и у животных есть труд. «Искусство человеческое отличается от искусства животного также и тем же, чем отличается человеческий труд от труда животных» (стр. 41—42). Разница же между человеческим трудом и трудом животных, с точки зрения проф. Шмита, только в большей или меньшей степени организованности, т.е. только количественная разница (стр. 39, 44, 45, 47).

Но и ссылаясь на труд вообще, на труд животных он не может по следующим мотивам. Так как, согласно Ф. И. Шмиту, искусство есть предпосылка всякого коллективного труда (18, 19), то очевидно, что искусство старше труда вообще, не только человеческого, но и животного. Это вполне последовательный и логичный вывод из теории Ф. И. Шмита. Правда, он пытается смягчить его следующим образом: «Труд старше искусства лишь в том смысле, что он... определяет собой... содержание произведений искусства» (стр. 41). Но ведь Плеханов совершенно недвусмысленно доказывает не только то, что труд обуславливает собой содержание художественных произведений, но и главным образом то, что труд определяет собой художественную деятельность в целом¹⁾. Иной подход в данном вопросе, с марксистской точки зрения, недопустим!

Мы можем теперь суммировать выводы Ф. И. Шмита следующим образом: 1) общество предшествует человеку; 2) у животных существует труд; 3) искусство старше человека; 4) искусство старше труда. Эти выводы, во-первых, противоположны основным положениям марксизма; во-вторых, совершенно не соответствуют действительности. Но в одном отношении Ф. И. Шмит действительно прав: его «поправки» в самом деле не опровергают Плехановской теории искусств. Но вот зато Плехановская теория искусства во многом опровергает теорию Ф. И. Шмита.

Теперь еще необходимо остановиться на следующем неясном моменте. Мы установили у Ф. И. Шмита наличие противоречия и противоречия, в слову сказать, далеко не диалектического. Если, с одной стороны, автор признает, что искусство старше труда, то, с другой стороны, он же признает, что труд старше искусства. Но даже когда он признает, что «труд старше искусства», и этим как бы становится на точку зрения Плеханова, то и тогда он остается метафизиком. Как это происходит, мы сейчас покажем. Ф. И. Шмит в одном месте своей работы как-будто бы согла-

¹⁾ Наприм., Лю-Мертен утверждает [см. *Wesen und Veränderung der Formen (Künste)*], что формы труда старше всякого искусства—их создание и бытие опережает всякое представление об искусстве (Ср. В. Фриче, «Социология искусства» стр. 15—25).

шается с тем, что «у австралийцев, бушменов, эскимосов или у современников мамонта» производство предметов, непосредственно полезных для пропитания и вообще для жизни, предшествовало художественной деятельности; что у них труд был «старше» искусства. Но когда Г. В. Плеханов выражает это же самое, не только другими словами, именно, говоря, что утилитарная точка зрения старше эстетической точки зрения, то Ф. И. Шмит тотчас же протестует против этого самым энергичным образом. «Эстетические потребности» и «эстетическая точка зрения» тут совершенно ни при чем (стр. 40, 41). В искусстве палеолита «ни эстетики», ни «забавы»—ничего не было, кроме жестокой необходимости. Ничего, кроме напряженного труда» (стр. 42). «Тут дело не в идеале красоты, не в установлении своего эстетического отношения к внешнему миру», а в «магии», в «привороте».—«Какая тут эстетика!»

Эта полемика направлена против Плеханова. Он-де уematрирует в палеолитическом искусстве «эстетику», «забаву», а на самом деле это напряженный труд. Изображения зверей, например, ни в коем случае не могут служить удовлетворению эстетических потребностей, ибо они служат «жесткой необходимости»; удовлетворяют житейские нужды.

Мы покажем ниже, что подобная точка зрения всецело обусловлена эстетикой Канта. Пока же заметим, что указанное расхождение Ф. И. Шмита с Г. В. Плехановым связано с их расхождением в понимании искусства. Отличительным свойством и целью искусства для Плеханова, как мы показали выше, является удовлетворение эстетических потребностей человека¹⁾. Сущностью искусства для Ф. И. Шмита является то, что оно служит «средством общения между живыми существами» (см. стр. 40). Искусство есть совокупность сознательных действий, единственная цель которых—служить средством общения (стр. 48). Но по определению искусства сразу же обнаруживает свою несостоятельность, если его применить к тому же палеолитическому искусству. Ведь совершенно неоспоримо, что первобытный дикарь, изображая животных, вовсе не ставит себе сознательную и единственную цель выразить этими рисунками свои переживания, чтобы «заразить» ими себе подобных. Конечно, эти рисунки могут служить и служат средством общения, но ведь вообще всякое человеческое произведение говорит не что о его творце. Все же дикарь, рисуя зверей, преследует определенную цель, в данном случае «магическую», как на это указывает и сам Ф. И. Шмит. И эта цель не имеет ничего общего с той целью, которая, по мнению Ф. И. Шмита, присуща искусству. В таком случае, палеолитическое искусство, напр., рисунки Альтамиры, согласно теории проф. Шмита, не могут быть названы искусством. Это все, что можно, но только не искусство,—таков последовательный и неизбежный вывод из определения искусства Ф. И. Шмита. Но ведь было бы нелепо отрицать существование первобытного искусства, искусства палеолита: И Ф. И. Шмит принужден поэтому говорить о «палеолитическом искусстве», о первобытном изобразительном искусстве. Но этим он вновь противоречит сам себе: И все это—результат метафизического подхода к искусству.

¹⁾ См. Плеханов. Соч., т. XIV, стр. 71 и др.; ср. Л. Аксельрод, *Вопросы искусства*, статья I, стр. 150.

Плеханов же, для которого искусство служит главным образом удовлетворению эстетических потребностей человека, подходит к искусству диалектически. И это мы постараемся сейчас доказать.

Прежде всего, Ф. И. Шмит совершенно несправедливо думает, что будто бы Плеханов усматривал в первобытном искусстве, напр., в изобразительном палеолитическом искусстве, исключительно «эстетику». Подобный взгляд был бы, конечно, глубоко ошибочным! Но Плеханов лучше чем кто бы то ни было понимал, какое огромное практическое значение имело искусство для первобытных народов в борьбе за существование и социальной жизни вообще¹⁾. Так, например, «пляска бизонов», по мнению Плеханова, ни в коем случае не может быть рассматриваема, как забава. «Здесь сама пляска оказывается деятельностью, преследующей утилитарную цель и тесно связанной с главной жизненной деятельностью краснокожего» (т. XIV, стр. 63). Точно так же соглашается Плеханов и со Скулькрафтом в том, что когти серого медведя носились не только как украшение, но и как амулет, т. е. имели «магическое» значение. Несомненно, ясно было для Плеханова и то, что палеолитическое искусство было «магическим» искусством, как это установил Соломон Рейнак; что происхождение его было обусловлено, между прочим, и «магией», «приворотом». Плеханов очень часто указывает на «утилитарное» происхождение искусства. «Разумеется, говорит он,—не всякий полезный предмет кажется общественному человеку красивым; но несомненно, что красивым может ему казаться только то, что ему полезно, т. е., что имеет значение в его борьбе за существование с природой или с другим общественным человеком» (т. XIV, 118). Польза «лежит в основе эстетического наслаждения (напоминаем, что речь идет не об отдельном лице, а об общественном человеке); если бы ее не было, то предмет²⁾ не казался бы прекрасным» (там же, 119). Но, с другой стороны, если бы полезный предмет не доставлял нам эстетического наслаждения, не казался бы нам прекрасным, то он не был бы художественным произведением, не имел бы ничего общего с искусством,—он так бы и остался просто полезным предметом. Это забывает Ф. И. Шмит. И в этом его главная ошибка и причина расхождения с Плехановым.

Как мы видим, в основе суждений о прекрасном всегда лежит то, что можно назвать пользой целого, общественной пользой. Но общественная польза вовсе не исключает бесполезности эстетического предмета или явления для психологии отдельного лица, для индивидуально-эстетического восприятия. Напротив, первое является источником второго. В данном случае следует становиться на точку зрения развития и выводить индивидуально-психологическую бесполезность из общественной пользы. Но этот процесс—есть диалектический процесс и он ускользнул от внимания Канта и Шмита, которые в данном случае стоят на метафизической точке зрения. С точки зрения Канта, ощущения эстетического удовольствия, которые сопровождают созерцание изображений животных

¹⁾ См. И. Аксельрод. Г. Плеханов об искусстве «Возрождение» 1909 г., № 9—12, стр. 98.

²⁾ Под предметом здесь необходимо понимать не только материальные вещи, но и явления природы, человеческие чувства и отношения между людьми.

первобытным человеком, не только различны от представления практической, в данном случае «магической» цели их, но и вообще не имеют с этим представлением абсолютно ничего общего. Но ведь эта точка зрения и есть в сущности точка зрения Ф. И. Шмита. Ведь, по его мнению, «эстетическая точка зрения тут совершенно (курсив наш. А. А.) ни при чем». Эстетические ощущения стоят, таким образом, совершенно в стороне, вполне независимо, не будучи связаны с прочей психической жизнью и с непосредственным чувством жизни. Метафизик Кант и его школа рассуждает по формуле: «или — или»: либо польза, либо эстетические ценности. Одно исключает другое. Ф. И. Шмит рассуждает аналогичным образом. Разница между Ф. И. Шмитом и И. Кантом в данном случае только в том, что Ф. И. Шмит строит свою эстетику на первой части формулы: или польза, или эстетическое наслаждение. А Кант строит свою эстетику на ее второй части.

«Диалектик противопоставляет этому метафизическому принципу свой диалектический принцип, ...гласящий: и польза и эстетическая ценность»¹⁾.

Выходит, что в первобытном искусстве имеет место и «идеал красоты», и «эстетическая точка зрения», и «эстетические потребности». Утилитаризм Ф. И. Шмита—утилитаризм в узком смысле слова. Раз—«красота», «эстетика»—значит «забава», «пустяки», «пустые пользы». Плеханов же говорит: «не человек для красоты, а красота для человека. А это уже утилитаризм в его настоящем, т. е. широком, смысле, т. е. в смысле полезного не для отдельного человека, а для общества, рода, класса» (т. XIV, стр. 119).

Для общества желательно, чтобы полезное для него художественное творчество было продиктовано внутренним влечением художника, а не соображениями его о своей собственной пользе. Поэтому общественное воспитание человека и состоит именно в том, что, например, эстетические реакции, полезные обществу, становятся для него инстинктивной потребностью. Так как иное дело действие, основанное на сознании его полезности, а иное дело то действие, последствия которого так же благоприятны для лица его совершившего, как и последствия такого действия, которое было бы основано исключительно на расчете²⁾. Здесь нам необходимо отметить то важное обстоятельство, что для общественного человека утилитарная точка зрения отнюдь не совпадает с эстетической. «Польза познается рассудком; красота—созерцательной способностью. Область первой—расчет; область второй—инстинкт. При том же и это необходимо помнить—область, принадлежащая созерцательной способности, несравненно шире области рассудка: наслаждаясь тем, что кажется ему прекрасным, общественный человек почти никогда не отдает себе отчета в той пользе, с представлением о которой связывается у него представление об этом предмете. Главная отличительная черта эстетического наслаждения—его непосредственность» (см. т. XIV, 118—119).

¹⁾ Аксельрод (Ортодокс). Вопросы искусства, статья первая, стр. 16.

²⁾ Ср. Г. Роланд-Гольст, в указ. сочин., стр. 31, которая говорит, что художник творит «не с какой-нибудь целью, но по внутреннему побуждению—а это совершенно другое».

Итак, первоначальным мотивом художественного творчества является экономическая, практическая потребность. Но этим вовсе не исключается «эстетическая точка зрения». Эти выводы, к которым пришел Плеханов, вполне согласуются со взглядами авторитетнейших исследователей первобытного искусства. Общий вывод, что на художественное произведение в его развитии сильно влияют неэстетические интересы, проходит красной нитью через все сравнительно-этнологическое исследование искусства (Гири, Гроссе, Гёрнес, Лушан, Ферворн, Фробениус, Люке, Лю-Мертен и др.).

«Большая часть художественных произведений первобытных народов,—пишет Э. Гроссе,—возникает вовсе не из чисто-эстетических стремлений, но вместе с тем служат какой-нибудь практической цели; и часто эта последняя является, несомненно, первоначальным мотивом, в то время, как эстетические потребности удовлетворяются лишь попутно, на втором плане»¹⁾.

В общем внеэстетические мотивы художественного творчества создают массу художественно-формальных «мотивов» и художественных приемов. Э. Мейман думает, что из практических интересов прежде всего возникают, некоторым образом—чисто фактически, простые художественные произведения. Эти последние вызывают чистое, относительно независимое от практических интересов, удовольствие, пока постепенно не вырабатывается чисто-эстетическое удовольствие. Но как раз на этой точке зрения и стоял Г. В. Плеханов, когда говорил, что некоторые украшения и предметы «сначала носились лишь как вывеска храбрости, ловкости и силы и только потом, и именно вследствие того, что они были вывеской храбрости, ловкости и силы, они начали вызывать эстетические ощущения и попали в разряд украшений» (т. XIV, стр. 7). И. Гири также склоняется к тому выводу, что произведения искусства, хотя бы они и служили первоначально известным утилитарным целям, все же постепенно доставляли такое же удовольствие, как и наше искусство. «Если бы мы стали отрицать роль субъективной независимости при создании и восприятии искусства, мы были бы так же повинны в односторонности, как и исследователи, отрицающие возможность для истинного искусства когда-либо подчиниться влиянию «посторонних целей» (И. Гири, стр. 12). Острие этого очень содержательного замечания направлено прямо против теории Ф. И. Шмита. Кантовский взгляд на искусство в известных границах справедлив. Совершенно отрицать его было бы ненаучно. Достаточно указать, например, на Гюйо, который в сочинении «Les problèmes de l'Esthétique contemporaine» (Paris 1904) выступает не совсем удачно против Канта. Опровергая целиком Канта, он впадает в другую крайность. Именно, он уничтожает различие эстетической деятельности людей

¹⁾ См. Э. Гроссе. Происхождение искусства, стр. 284; ср. его же Kunstwissenschaftliche Studien, стр. 16; Макс Ферворн, Зачатки искусства и психология первобытного искусства (см. «Речи и статьи», М. 1910, изд. «Современные проблемы»); Лю-Мертен, Wesen und Veränderung der Formen (Künste); М. Гёрнес, Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa Wien, 1898, стр. 38; Г. Осборн, Человек древнего каменного века (жизнь, среда, искусство) 1924, стр. 276—277, 318—320, 324—325; Э. Мейман, Эстетика, т. II, стр. 193; И. Гири, Происхождение искусства (на стр. 12 он указывает, что «невозможно разграничить, где кончаются внеэстетические мотивы и где начинаются чистоэстетические» и ряд других работ).

от всякого рода другой деятельности. Гюйо отрицает несомненное своеобразие художественного и эстетического удовольствия. Поэтому совершенно прав Плеханов, когда отводит кантовскому взгляду известное место в искусствознании «потому, что мы имели в виду не отдельное лицо, а общество (племя, народ, класс), у нас остается место и для кантовского взгляда на этот вопрос: суждение вкуса, несомненно, предполагает отсутствие всяких утилитарных соображений у индивидуума, его высказывающего» (т. XIV, стр. 119 и 176).

Все наши рассуждения по данному вопросу мы можем суммировать следующим образом: танцы, музыка, поэзия, изобразительные искусства первобытных племен, обладая практическим значением, безусловно имеют и эстетическую ценность.

Поэтому, если даже допустить вместе с А. Богдановым, что «магические» рисунки и скульптуры были «вполне реальной технической силой» (в ук. соч., стр. 87), то и тогда не упраздняется возможность их эстетического воздействия. Для Ф. И. Шмита это почему-то кажется страшным. Но ведь еще более непонятно было бы, если бы некультурный человек понимал прекрасное вне связи с своими материальными интересами. Напр., возьмем некультурных или, во всяком случае, малокультурных крестьян, в которых еще преобладают примитивные инстинкты и ощущения. «Для них красота явлений и предметов тесно связана с мыслями о хорошем урожае; красивая лошадь для них лишь сильная рабочая лошадь, красивый скот — убойный скот»¹⁾. Но это опять-таки не отвергает того, что эстетическое удовольствие свободно от личного интереса²⁾. В этом смысле, говоря об отдельном человеке, Кант совершенно прав. Но так как мы в данном случае занимаемся общественной наукой, то мы должны стоять на точке зрения общества. Мы должны говорить и говорили об общественном человеке, а не об изолированном индивидууме. И тогда эстетические воззрения Канта, а вместе с ними и взгляды Ф. И. Шмита, становятся непригодными, неприменимыми.

«История не знает произведений искусства,—говорит Чернышевский,—которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного»³⁾. Это совершенно справедливо, и Плеханов с этим соглашается (т. V, 313—314). Но следует ли отсюда, что произведение искусства выражает известные практические стремления рядом с идеей прекрасного, т. е. независимо от нее? Следует ли отсюда, что искусство, с одной стороны, воплощает нашу идею прекрасного, а с другой—и даже главным образом—выражает наши утилитарные стремления, например, к улучшению своего быта и т. д.? Нет,—утверждает Плеханов,—чаще всего бывает наоборот. Наше понятие о прекрасном само проникается этими стремлениями и само выражает их» (т. V, стр. 314). Поэтому разлагать на составные элементы то, что представляет собой в действительности нечто органическое целое, ни в коем случае

¹⁾ См. Роланд-Гольст, в указ. соч. стр. 29.

²⁾ Там же, стр. 25, «Своекорыстие не имеет ничего общего с эстетикой,—говорит Г. Плеханов,—суждение вкуса всегда предполагает отсутствие соображений личной пользы у лица, его высказывающего. Но иное дело личная польза, а иное дело польза общества» (Соч., т. XIV, стр. 176).

³⁾ См. Чернышевский, Собр. соч., т. II, стр. 213—214.

не следует. Но как раз Ф. Н. Шмит и разлагает это целое на его отдельные элементы. И в этом корень всех его промахов. «Задача научной эстетики», — утверждает Г. В. Плеханов, — не ограничивается констатированием того факта, что искусство всегда выражает не только «идею» прекрасного, но также и другие стремления человека (к правде, любви и т. д.). Ее задача состоит, главным образом, в обнаружении того, каким образом эти другие стремления человека находят свое выражение в его понятии о прекрасном, и каким образом они, сами видоизменяясь в процессе общественного развития, видоизменяют также «идею» прекрасного»¹⁾.

В этих немногих словах скрыто исключительно богатое и глубокое содержание! Без большого преувеличения можно сказать, что в них заключен весь эстетический кодекс Г. В. Плеханова, и что они содержат в себе все основные методологические принципы марксистского искусствознания!

Пограничные об'екты биологических и социологических наук¹⁾.

(Дискреционный метод).

Н. Перлин.

Discernit sapiens res quas confunxit asellus.

Постановка вопроса.

Задача № 1. Биографы Ленина не могут обойти трагической даты 8 мая 1887 года, когда был повешен брат Ленина Александр Ильич Ульянов. Смерть брата была для Ленина ударом. Узнав о казни, едва семнадцатилетний Ленин, как передают, сказал:

— Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти.

Биографы утверждают, что в этот день будущий вождь сделал выбор главной цели своей жизни; что он наметил и путь к достижению цели, — план оконной борьбы с силами самодержавия; что он дал клятву Ганнибала посвятить свою жизнь и свои силы борьбе с чудовищем, против которого оказалась бессильной вооруженная бомбой рука брата... И биографы указывают на то, что среди книг, перешедших к Владимиру Ильичу от народовольца Александра, был «Капитал» Карла Маркса, — намекая на скрытое значение этого факта.

Но биографы, с другой стороны, понимают, что можно охватить и объяснить появление на исторической арене личности Ленина лишь тогда, когда будет приведена социальная история, в крайней мере, России и Запада. И хотя научное объяснение требует, чтобы причины индивидуального развития были сведены к законам общественного развития, чтобы Ленин, как индивидуальность, был объяснен из истории масс, где индивидуальности определяются; чтобы история жизни и деятельности человека была объяснена из бездушного механизма общественной формации, — мы все-таки скажем, что едва ли нужно и едва ли можно осмыслить значение события 8 мая 1887 года. Нельзя сомневаться в том, что среди причин, определивших революционную деятельность Ленина, есть и эта, — казнь Александра Ильича. И мы должны, повидимому, заключить, что среди причин, охватыва-

¹⁾ Статья дискуссионная. Ред.

²⁾ Доклад, читанный в философско-социологической секции Марксо-Ленинской кафедры при ВУДК в Киев в июле с. г.

¹⁾ См. Г. В. Плеханов. Соч., т. V: «Н. Г. Чернышевский», стр. 313—314.

ющих историю десятков миллионов людей в России, охватывающих историю экономических, политических и теоретических движений Запада, застрял в качестве причины индивидуальный факт. Но ни один научно-мыслящий марксист не согласится с тем, что можно ставить, так сказать, индивидуальную причину в один теоретический причинный ряд с великими законами исторического процесса. И хотя не сразу, быть может, мы отдадим себе отчет, почему именно, но нам будет казаться бессмыслицей утверждение: Ленин создан соотношением классов в дореволюционной России, мировой борьбой пролетариата и... казнью Александра Ульянова.

Тогда мысль исследователя ищет выхода из затруднения.

Может быть, «индивидуальную» причину нужно все-таки, в интересах научного объяснения, отвести с поля зрения?—Но мы ведь согласились с биографами в том, что трагическая смерть брата оказала действительное воздействие на Ленина! Или это, может быть, старый (и ненаучный) вопрос о роли личности в истории?—Но ведь мы теперь не о роли Ленина собираемся говорить, а о причинах, создавших Ленина! Тогда, может быть, все затруднение носит лишь призрачный характер: может быть, оно возникло оттого, что был приведен неполный ряд причин, обусловивших и определивших жизнь и деятельность Владимира Ильича? Ведь биографы-де в действительности не встречают затруднений, когда подробно рассказывают и о фактах личной и семейной жизни, и о событиях мирового значения, и о влиянии марксизма... И мысль охотно устремляется по обманчивому пути.

В самом деле. Личность вождя, теоретиков, революционеров и преобразователей в историческом процессе призвана к жизни классовыми, национальными, семейными и личными причинами. Смерть брата сама по себе не может объяснить всю деятельность Ленина; с другой стороны, борьба классов не может выдвинуть вождя без индивидуальности, и никто никогда не видел и не увидит вождя без индивидуальной истории. Поэтому личность Ленина может быть исчерпывающе объяснена, когда будет приведен длинный ряд причин как индивидуального, так и социального характера. Тогда обозначим: а, б, с—причины, заложенные в психофизической структуре, причины биологические; d, e, f—условия жизни или влияния среды; k, l, m—двигатели эпохи. Весь ряд причин а, б, с, d, e, f, k, l, m может дать ответ на проблему в истинно-научном освещении. Однако мы легко убеждаемся в том, что этот ответ вовсе не вывел нас из затруднения.

Дело в том, что действительным достижением каждой науки является установление повторяемости изучаемого явления. В социологической науке понятие общественной формации дало критерий повторяемости общественных явлений; и в этом заключается одно из основных завоеваний совершенной Марксом революции в методах изучения общественного развития. В генетике это основное достижение науки сделано Менделем, который открыл законы наследования признаков. Учение об условных рефлексах дало критерий повторяемости и, следовательно, закономерности в поведении животных; это учение ведет свою историю, бесспорно, от Павлова, который именно так, именно с этой точки зрения подошел к рефлексам. О повторяемости физических явлений нет надобности и говорить, ибо она ясна сама собой.

Но та совокупность причин, которую нам только что предложили в ответ на проблему индивидуальной истории, бесспорно, неповторима. Никто и не станет утверждать, что может еще раз возникнуть то же сочетание биологических, национальных, классовых, семейных и проч. условий, наличие которых дано в деятельности Ленина. Никогда больше не будет хотя бы восьмидесятих годов прошлого века.

Что же может сделать с этим фактом научное познание? Оно подходит к изучаемому факту с поисками его повторимости. Но оно убеждается в том, что совокупность причин неповторима. Тогда оно предполагает, что повторимы могут быть отдельные причины с их следствиями. И это верно. Отдельные причины повторимы. Но тогда немедленно возникает вопрос: что относится к их следствиям? В том, напр., факте, что Ленин стал изучать сочинения Маркса, сказалось ли влияние смерти брата?—Повидимому, да! А влияние существования марксизма сказалось?—Бесспорно, да! Стало быть, это изучение сочинений Маркса было следствием разных причин! Что же относится к следствиям социальных и что—индивидуальных причин? Или, может быть, этот факт—изучение сочинений Маркса—можно расчленить так, чтобы показать, что относится к социальному и что к индивидуальному ряду? Если нельзя расчленить, то где повторяемость причин и следствий? Если можно расчленить, то как это сделать?

Итак, каково соотношение причин и следствий социального ряда с причинами и следствиями индивидуального ряда,—с точки зрения повторяемости и закономерности явлений?

Задача № 2. Гений Зигмунда Фрейда совершил переворот в психологической науке, величайший со времени ее возникновения; и он же создал почву для возникновения реакционной-лих, лженаучных социологических концепций.

Фрейд открыл доступ для категорий причинности и закономерности в далекие сферы, куда дотоле не ступало человеческое познание. Метод психологический,—и, след., в некотором смысле субъективный,—сам по себе лишен устойчивой опоры и надежных исходных пунктов. Но строгий монизм, которого держался Фрейд, постоянная связь с практикой, возникновение познания из практики и проверка его в практике, тщательное следование за реальностью, лишенное догматизма, изощренность мысли, не дугающаяся противоречий в объекте познания, не сглаживающая их в угоду логике, а смело констатирующая их объективную реальность,—все это является образцом применения диалектического метода и компенсирует ненадежный психологизм.

Одним из следствий соприкосновения психики индивида с социальной средой является образование «цензуры», т.-е. пентенсивной психической деятельности, которая удаляет из сознания мотивы, противоречащие требованиям культуры, вытесняет их и лишает их выраженной направленности. Борьба вытесненных, бессознательных влечений между собой и бои этих бессознательных мотивов с цензурой, бои *a quo Marte*, с переменным успехом, составляют содержание психической жизни индивида. Цензура сторожит бессознательное, как Цербер сторожит титанов при выходе из Тартара.

Так называемое общественное мнение увидело и услышало в учении Фрейда голос бессознательного. Гонение на фрейдизм

соответствует в общественных рамках попытке «вытеснить» Фрейда из сознания как путем забвения, так и путем реактивных образований. То, о чем учит Фрейд, гонители этого учения отождествили со своим бессознательным, но вместе с тем они отождествили себя с цензурой: они увидели в провозвестнике этого учения титана, но вместе с тем отождествили себя с Цербером у выхода из Тартара.

К сожалению, марксистская критика в значительной части присоединила свой голос к голосу гонителей Фрейда. Поэтому более проникательные в этом отношении марксисты должны были открыто заявить, что считают учение Фрейда примиримым с положениями марксизма.

Но никому из марксистов не придет на мысль защищать те социологические выводы, которые непосредственно вытекают из учения Фрейда, никому не придет на мысль защищать фрейдизм в целом, как таковой. Однако как разграничить те сферы, где кончается правомочность психоаналитических концепций и начинается территория других наук? Где кончается индивидуальная психология и начинается социальная?

Если фрейдизм с сокрушающей проникательностью разоблачает сущность эстетического наслаждения, то не следует ли отсюда, что каждое художественное произведение должно быть объяснено психоаналитическим методом? Если фрейдизм вскрывает перенесение libido на религиозные авторитеты, то учение о религии вообще не должно ли сделаться достоянием психоанализа? Если психоанализ обнаруживает, что любовь к деньгам представляет собою одно из возможных проявлений анальной эротики, то не следует ли и политическую экономию перевести в лоно психоанализа, как это делают наиболее смелые, безнадежно смелые—по слепой ограниченности—фрейдисты? Тогда, может быть, учение Фрейда знаменует собой печальный конец социологической науки и гибель марксизма?

Одно из двух: либо следует со всей решительностью сказать, что так как фрейдизм приводит к лженаучным социологическим выводам, то его нужно отбросить целиком,—вплоть до учения о психоневрозах; либо точно и ясно указать, где граница между индивидуальной и социальной психологией. Но отбросить значение психоанализа в лечении психоневрозов—значит беззастенчиво перед лицом истины говорить заведомую неправду. Тогда остается вторая задача—провести ясную границу между сферами индивидуальной и социальной психологии.

Задача № 3. Нервное расстройство поэта X (воображаемый случай) требует своего объяснения. Прежде всего к нему можно подойти с социальной стороны. Можно рассмотреть, в каких отношениях он находился с окружающей обстановкой, выяснить, каковы противоречия между ним и социальной средой, и самую его психику объяснить социальными условиями. Ему самому ясно, что если бы ему удалось «вырваться из этой страны», пожить «в условиях европейской жизни», «подышать воздухом современной культуры», то он очень скоро оправился бы и забыл бы о своем недомогании. А в этой обстановке он «задыхается». Сознание угнетено, бывают странные припадки, о которых ничего не помнит, иногда лишается способности говорить и двигаться, бросил писать, потому что уже не надеется написать что-либо путное.

Но, собственно говоря, в этом ничего удивительного нет. Он выходец из буржуазной семьи, изнежен, избалован, выхолон. Если бы он был не поэтом, а практиком, то хорошо ужился бы с новыми требованиями жизни. Так как он привык в детстве и юности видеть у окружающих его людей широкую инициативу и энергию, то он и сам мог бы проявить такую же инициативу и энергию. Замечательно, что ему даже кажется, что с политической стороны его ничего не отделяет от окружающего строя. Его не смущает и ему понятен большой масштаб работы. Он возмущен, когда слышит мелкобуржуазную критику, жалобы на политический режим и недовольство. Да, он невосприимчив к настроениям мелкой буржуазии—больше, чем любой пролетарий! Но он поэт, и в этом его трагедия. Мистицизм, стремление к первобытности, эротизм представляют собой закономерно обусловленное содержание современных буржуазных настроений. В своих поэмах он хочет видеть—и безуспешно—не что вроде первобытных лесов Африки, спяние с «волей в природе» и любовь, исполненную жертв. Но всякая попытка облечь эти замыслы в художественную форму, заканчивается жалкой неудачей. Да разве кругом есть читатель, есть художественный вкус, есть атмосфера эстетизма?! Жестоким разлад с обстановкой в том, что составляет его призвание, постепенно подрывая его силы и, наконец, довел до болезни и потери трудоспособности. Единственной причиной болезни является несоответствие его классовой сущности с требованиями новой эпохи, обусловленной новыми классовыми соотношениями. Пусть же утешается, если может, тем, что все поэты его класса обречены в Советском Союзе на бесплодие и дегенерацию так же, как он сам!

Но, впрочем, может быть, это объяснение лишено научного значения и к вопросу надо подойти совсем с другой стороны?

Дело в том, что этот субъект X астеник: у него длинная, плоская узкая грудная клетка; тонкий, лишенный жира живот; худосочная кожа; округлость черепа мала; скелет лица нежен, нос узкий, тонкий и длинный... Еще у его прадедушки была легкая форма шизофрении. Признак этот передается по наследству как рецессивный, представляя собою, может быть, явление дигибридного характера. В скрытом состоянии он, очевидно, пришел и по другой линии. Правда, его болезнь шизофренией назвать нельзя, но он проявляет шизоидные задатки. Следует обратить внимание на то, как его раздражимость в одних отношениях сочетается с полной тупостью в других, т.е. на то, что называется психэстетической пропорцией. Его угрюмость и необщительность—вполне обычное явление для шизоидов, его аутизм—замыкание в себе самом—подтверждает общую картину. Лишение способности двигаться—тоже характерное явление для шизоидных темпераментов. Богатый материал нам показывает, что писатели шизотимики проявляют склонность к лирике и драме, тогда как шизотимики—к прозе. Но связь астенического строения тела со шизоидным темпераментом—явление закономерное. Такова его конституция, понимаемая как генотип, т.е. совокупность факторов, переданных по наследству.

Однако метод Фрейда живо выступает против такого подхода к делу. Не следует спешить с поисками причин в наследственности, когда их можно найти в условиях жизни больного! История жизни больного, раскрытая психоанализом, показывает нам совсем иную этиологию болезни. Больной остался сиротой, когда ему

было полтора года. Его взяла к себе девица-тетка, которая окружила его бурным вниманием, ласками и изнеживающей обстановкой. До тринадцати лет он жил, не ведая огорчений, пока вдруг тетка не вышла замуж. В бессознательном нашего больного засела вытесненная любовь к тетке, вытесненная ревность и ненависть к сопернику. Вытесненное влечение пустило такие глубокие корни и проявило такую интенсивность, что при переходе в половую зрелость наш больной обнаружил, что женщины его не интересуют и ему ненужны. Он пошел по пути изживания своего комплекса в творчестве, вследствие чего питал замыслы изобразить любовь, полную жертв. Но сублимация не удалась. Столкновение «я» и «оно» не было изжито, отчего и развилась картина истерии. Да разве другие объяснения могут раскрыть механизм образования всех его симптомов? А психоанализ, если его провести надлежащим образом, может раскрыть истинный смысл каждого припадка...

Однако, с точки зрения Бехтерева, такое объяснение болезни содержит в себе, к сожалению, сильное преувеличение. Мы имеем здесь явления *flexibilitas cerea* (восковая гибкость) при каталепсии, характеризующей истерию. Хотя нет паралича мышц, мы наблюдаем периодически атактическую афазию, т.е. расстройство речи. Локализация этого поражения относится к двигательному центру речи, заложенному в задней части третьей лобной извилины левого полушария. Причина этих явлений заключается в образовании доминанты, т.е. очага возбудимости, который, так сказать, перетягивает к себе нервную энергию из других очагов. Хотя принцип доминанты выдвинут в последнее время проф. Ухтомским, но он, Бехтерев, еще в 1911 году выяснил этот принцип в своей «Объективной психологии»...

Однако дает ли подобное объяснение охват всего явления в целом?

Дело в том, что по Юнгу — наш больной есть в интеллектуальном отношении интровертированный (т.е. углубленный в себя) тип, а в эмоциональном отношении — экстравертированный. Его бессознательное имеет противоположную направленность. Такова форма его биологического приспособления. Однако условия его жизни привели к тому, что эмоциональная экстравертированность вынуждена была смениться интровертированностью, вследствие чего у него развился невроз. Вообще, если биологическая установка под влиянием среды сдвигается, то последствием является невроз.

Можно подойти к характеристике больного еще с других точек зрения... Но не достаточно ли различных объяснений? Наша задача № 3 заключается в том, чтобы отвести всем объяснениям свое место, не впадая в релятивизм и скептицизм по отношению к науке.

Методологические предпосылки.

Две ступени знания противопоставляются друг другу в философии. Ощущения противопоставляются мышлению, чувственное — рациональному, непосредственное — опосредствованному, индивидуально-ограниченное — общезначимому, индивидуально-бедное — коллективно-богатому. Это противопоставление сглаживается и

исчезает в абстрактной истории человеческого сознания, но оно выявляется в развернутом виде, когда сознание рассматривается, как научное знание. Это противопоставление составляет начало нашего рассуждения. Его нужно удерживать в сознании для последующего развития мысли.

Человек познает бытие сначала в узкой раме своих ощущений. Тогда бытие напоминает собой великий божий мир, впервые открывшийся улитам, которые только что вылупились из яиц. Оно уже объект, но объект еще не понятый; объект, страдающий от того, что он не может открыть своих возможностей субъекту, которому он дан. Он может, как большинство людей, жаловаться на то, что его не понимают. Это «простая чувственная данность». Человек не разложил еще ее на разнообразные отношения, и объект сохранил свою конкретность; объект не проявил себя, зато сохранил целостность; его не понимают, но и не критикуют; он мал, но зато достоверен.

Бытие, как простая чувственная данность, имеет много особенностей, из которых здесь должно быть отмечено четыре. Во-первых, непосредственное знание об объекте ограничено чрезвычайно малым объемом. Если сравнить то, что мы знаем непосредственно, чувственно, с тем, что мы вообще можем знать, то процент чувственного знания оказывается весьма низким. Поэтому чувственное знание охватывает лишь небольшую часть реальности, оно вырывает из книги бытия одну случайную страницу, ничего не зная о последовательности и связи с остальным содержанием бытия. За счет чувственного выявления объекта остальное бытие тонет в мраке. И потому связь между объектами, обусловленность в пространстве и времени, количественное распределение энергии, все это не может быть раскрыто чувственным знанием. Объект не выявляет реальных отношений с иными объектами, — и в этом первая особенность чувственного знания.

Во-вторых, об этом бытии ничего не может быть рассказано другим людям. То, что люди в нем увидели, остается при них. Знание, которое родилось от встречи людей, как субъекта, с бытием, как объектом, поскольку оно есть простое чувственное знание, исчезает, когда погибнут эти люди. Связанное с людьми, в которых оно возникло, оно имеет кратковременное существование и смертно, как они.

В-третьих, на этой ступени знания объект не может показать, что действительно, ему принадлежит, а что привнесено нами; что присуще ему, как «вещи в себе», и что примыслено нашей природой; что видимость и что истина; что форма проявления и что сущность. Здесь мало данных для сопоставления, здесь критике нет места, и потому господствуют здесь *idola tribus*. Лишенный отношений к другим объектам, объект лишен и собственного лица.

Но, может быть, чувственное знание уловит причинную связь между явлениями, несмотря на свою ограниченность; может быть, проникнет к самой сущности явления, преодолев его обманчивую видимость; и, может быть, подвергнется проверке и через преобразованный внешний предмет все-таки сделается достоянием других людей, — и, таким образом, в известных узких пределах избегнет особенностей, которые составляют его обычную судьбу, — однако ему никак не миновать четвертого ограничения или четвертой особенности чувственного знания. Причинное отношение между явлениями ему может открыться, но не постоянство

этого отношения. Оно охватит факт, но не повторяемость факта. Оно уловит причинность, но не закономерность. Оно никогда не может подняться до обобщения, — и в этом заключается его четвертое ограничение.

Но на смену чувственному знанию, как его противоположность и высшая ступень, приходит знание рациональное, опосредствованное, основанное на мышлении, «законнорожденное», по выражению Демокрита. Его средства и возможности есть результат длинного предшествующего развития познания. Происхождение их неведомо и невидимо. Оно теряется в разных эпохах, в разных краях, в разных народах. Рациональное познание приходит со стороны, как готовый материал обозначений, понятий, суждений и категорий, — количества, качества, причинности, случайности, отношений, закономерности и пр. и пр. Оно приходит со стороны, окружает чувственное бытие, оседает на нем, овладевает им. И наше знание данности оказывается захваченным разнородным рациональным материалом, как город, в котором расположились интернациональные полки, принесшие с собой свой быт и свои законы. Пестрый по составу материал приносит с собой объяснения, обобщения, обоснования и аналогии, заимствованные из других частей земли и иных времен. Он заполняет чувственный объект своим содержанием, но это его содержание оказывается содержанием других объектов. И даже фантастические иллюзии, которые могут быть занесены сюда рациональным познанием, полны реального содержания некоего иного бытия. Иллюзии и фантазии заключаются не столько в ложном утверждении самого существования объектов, сколько в ошибочном толковании существующих отношений между ними. Истинное или ложное — безразлично, — рациональное познание уничтожает чувственную ограниченность бытия, как объекта. Уже по одному тому, что оно отнесено к данному чувственному объекту, оно показывает, что в содержании этого объекта есть нечто из других объектов, и оно показывает также и то, чего в этом объекте нет сравнительно с какими-либо иными объектами. Утверждение и отрицание подобия, сравнение, сопоставление объектов настолько же типичны для рационального познания, насколько для чувственного познания типично их отсутствие.

Далее. В противоположность чувственному знанию, рациональное познание не индивидуально, а социально. Индивидуальное рациональное познание существует, лишь как производное от социального. Будучи наследием предшествующей истории, рациональное познание представляет собой сумму человеческих знаний о бытии. Оно и объективно и субъективно одновременно. По отношению к бытию оно является субъектом, но не индивидуальным субъектом, а субъектом вообще, не познанием того или иного человека, но познанием вообще, человеческим познанием бытия. Но по отношению к отдельному индивиду это рациональное познание объективно и даже материально, поскольку закреплено и объективировано во внешних материальных предметах, тех или других, так называемых, лингвистических знаках. Поэтому рациональный материал является достоянием различных людей в равной степени. И когда чувственное знание сочетается с рациональным, оно перестает быть простым чувственным знанием и становится, — по крайней мере потенциально, — общественным достоянием. Рациональное познание настолько же социально по существу, на-

сколько простое чувственное знание по существу индивидуально. Чувственно познанный объект не имеет отношения к бытию вообще, и, в частности, к другим субъектам. Рационально познанный объект в себе содержит и отношения к остальному бытию и к остальным субъектам.

Разрушая границы на пути чувственного знания, мышление находит надежный путь для проникновения к самой сущности явления. Опосредствованное знание, возникшее путем сопоставления и соотнесения исследуемого объекта с иными объектами, открывает новые свойства объекта и тем самым ограничивает и даже отрицает те признаки, которые нам даны непосредственно. Различные проявления бытия, отдаленные друг от друга большими периодами времени и огромным пространством, воссоздают отношения друг с другом путем рационального познания и открывают свои реальные связи; и это возможно только потому, что рациональное познание имеет социальный характер, что познание в одних условиях делается достоянием познания в других условиях. Так, в экономической науке рационально познается тенденция нормы прибыли к понижению, недоступная чувственной непосредственности, как скрытая сущность, обнаруженная рациональным сопоставлением огромного экономического материала. Так, состав солнца постигается спектральным анализом, благодаря рациональному сопоставлению с иными фактами бытия. Огромное количество болезней узнается не непосредственно, а косвенно, т.е. путем рационального сопоставления симптомов с другими реальными же фактами. Понятие естественного отбора, выросшее из искусственного отбора, никогда не может быть завоеванием чувственного знания¹⁾.

Наконец, рациональное познание приносит с собой понятие всеобщности, повторяемости, категорию постоянства, причинного соотношения, существующего не для того или другого случая, а причинной связи вообще, категорию причинности, так сказать, категорическую причинность. Понятие постоянства в соотношениях, устойчивости, неизбежности, вневременности связей является необходимым спутником рационального, опосредствованного познания. Оно является результатом предшествующего развития, выросшим из познания и проверенным в практике обобщением, но по отношению к последующему познанию оно не результат, а исходный пункт. Эти категории имеют по отношению к нашему познавательному процессу объективное значение. Эти категории рассматривают причинные связи, как вневременные. Но мы должны их рассматривать, как во времени возникающие, обусловленные, изменяющиеся, развивающиеся. Здесь не место говорить об их происхождении, и я намерен его показать в особом исследовании. Но нужно сказать, что распространенное представление о понятиях общности, будто мы в процессе познания отвлекаем, сопоставляем, анализируем и обобщаем данные наших восприятий, — представление это есть старое проявление субъективизма и робинзонады господствующих и по сию пору в нашей теории познания.

¹⁾ Думаю, что в данном аспекте излишне прибавлять то, что необходимо в ином аспекте, именно, что основой знания все-таки является чувственный материал, ограниченный практикой отношений субъекта и объекта и что критерий познания опять-таки заключен в практике «предметной деятельности».

Мы рассматриваем познание, как сочетание чувственного и рационального материала. Тогда оно выступает пред нами, как процесс. В самом деле. Действительность изменчива—изменчивы отдельные объекты и изменчиво отношение их между собой,—это истина, достаточно знакомая не одним диалектикам. Но познание изменчиво в некотором смысле больше, чем действительность, которая является его объектом. Ибо оно, познание, не только должно идти следом за действительностью и не только должно изменяться вместе с ней. Оно должно возвращаться к своему исходному пункту, тогда как действительность уже не возвращается; оно, познание, сопоставляет этапы пройденного пути, и только тогда оно становится познанием. Как известно, истина явления есть его результат, или, говоря проще, лишь в результате развития явления мы понимаем, что было это явление. Но, с другой стороны, истина результата явления есть его исходный пункт, его начало, потому что, только сопоставляя результат с началом, мы познаем результат, как результат. Но сопоставление есть рациональный процесс, процесс мышления, движение понятия, ибо когда мы доходим до результата явления, то его начало существует уже лишь в понятии, и когда мы рассматриваем начало явления, то его результат существует еще лишь в понятии; точно так же, когда мы переходим от одного объекта к другому, то один из них существует только в понятии. Поэтому когда мы исследуем в познании чередование чувственных и рациональных моментов, или, на более высоких ступенях, чередование рациональных элементов различной степени абстракции, то все познание будет нами представлено, как диалектический (в узком смысле слова) процесс. Действительность из скрытой становится явной в простом процессе нашего следования за ее изменениями, и это возможно благодаря сопоставлению ее моментов. Эта мысль и покажется, быть может, слишком простой, но все же я обращаюсь еще к примерам для ее иллюстрации, так как она имеет существенное значение для дальнейшего рассуждения. Беру сначала простой пример из области психоанализа.

В своей живо написанной, но далеко не ортодоксальной книге о Фрейте, Виттельс, между прочим, говорит: «Пациенты часто затопляют нас своим многословием, потоком сообщений, против которого мы безуспешно стараемся воздвигнуть плотину. Они особенно усердствуют в этом отношении в начале, пока еще не подозревают о нашем родстве с дьяволом. Они не позволяют нам себя прервать, и нам не остается ничего иного, как сидеть спокойно и прислушиваться к коварным вниманием. Нам, психоаналитикам, лучше других известно, что человек изобрел язык, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому мы меньше прислушиваемся к тому, что пациент говорит, чем к тому, чего он не говорит, что он говорит дважды или что он высказывает в особых выражениях. Мы все время имеем дело с пробелами, и там открываем его комплексы. В настоящее время мы можем так поступать, ибо техника психоанализа уже вполне разработана. Терпеливые психоаналитики предоставляют пациенту возможность говорить; они убеждены, что даже без усилий с их стороны, в конце концов обнаружится истинное и важное. Я предполагаю, что таким путем Фрейд пришел к своему основному открытию. Он должен был слушать, и он слушал до конца. А в конце выявлялось то скрытое, что пациент старался скрыть своим многословием». Вос-

принимая выявления пациента, следуя за ним, психоаналитик возвращается к пройденному, сопоставляет, соотносит и открывает скрытую сущность.—Да, истина явления есть его результат, а истина результата—начало, истина того и другого есть рациональное их сопоставление.

Теперь, для второго примера, я переброшу внимание в сферу иных объектов, более громоздких, более внушительных, более мощных. Беру процесс обращения капитала. В начале процесса не видно, что это капитал. Денежная масса, расщепившаяся на средства производства и рабочую силу, чувственно в себе не содержит капиталистических функций. Это становится ясным лишь в результате всего процесса, из рационального сопоставления стадий кругообращения капитала. Тогда становится понятным, что в первой стадии мы имеем дело с денежным капиталом, который в начальной форме свою капиталистическую сущность сохранил скрыто, в возможности («latent, der Möglichkeit nach»). Но и в заключительной стадии, когда товарная масса превращается в деньги, не видно авансированной и прибавочной суммы. Это различие—неуловимо («begriffloser Unterscheid»). Но оно обнаруживается из сопоставления с первой стадией.

Выявленная истина заключена в том понятии, которым мы обозначаем бытие. Весь процесс мысли, который шел за реальностью в некоем отношении, как бы в свернутом виде составляет содержание понятия. Эти понятия, которыми мы характеризуем эту данную вещь, есть результат рационального процесса и заключают его весь в себе. Точно так же, в психоанализе, теперь, когда выявлен скрытый в неврозе комплекс, понятие, которым мы обозначаем состояние пациента, включает в себе процесс мысли, соответствующий сопоставляемым моментам развития объекта.

Если мы шли следом за реальностью и не сбились с пути, не перескочили на смежные объекты, то этим мы обязаны—если не единственно, то в значительной мере—чувственному отличию объектов, подлежащих объяснению, от иных объектов.

Если бы объект был изолирован, если бы он был свободен от отношений ко всему остальному миру, если бы никто и ничто не воздействовало на него и он сам был лишен способности производить какие-либо следствия, то понятие, которым мы характеризуем явление, соответствовало бы вполне объекту, и мы имели бы идею, адекватную предмету. Но реальный объект не изолирован; он не одинок, не абстрактен и не абсолютен. Напротив, он погружен в бесчисленные разнообразные отношения к миру, конкретен, обусловлен, относителен. Поэтому понятие охватывает предмет лишь в одном отношении.

Но понятие, которое мы отнесли к чувственному объекту, выступает в двойной роли. Оно обозначает чувственный объект и оно объясняет его. Эти две роли не находятся в согласии между собой. Наоборот, возникает диспропорция между обозначающей и объясняющей ролью понятия, и даже не простая, а двойная диспропорция. Слово «Пушкин» обозначает, несомненно, всего Пушкина. О нем можно сказать «поэт». Обозначающая роль понятия «поэт» будет та же самая, т.е. поскольку в нем содержится представляемое, единичное, постольку охватывается вся реальность. Но понятие «поэт» есть результат рационального процесса. Понятие «поэт» включает в себя—в свернутом виде—реаль-

ные связи, напр., «общественная ценность», «объективирование в художественной для данного времени форме субъективных состояний», «образное познание», «гармоническое соединение сознательных и бессознательных влечений», «идеолог класса», «генный как физиологический тип» и т. п. Поэтому понятие «позн» не только обозначает, но и объясняет Пушкина; и поскольку объясняет, постольку выходит из сферы представляемого в сферу рационального и постольку не захватывает его всего, а только отчасти, в известном отношении, и потому оставляет место для других объяснений. Диспропорция между функциями понятия заключается, таким образом, в том, что, во-первых, в своей обозначающей роли по отношению к единичному чувственному бытию понятие охватывает всю реальность, а в объясняющей роли — только часть ее; и, во-вторых, в том, что в объясняющей роли понятие включает в себя и другие элементы бытия или другие объекты, а в обозначающей роли только одну единичность. Не так нужно ставить вопрос: какие понятия имеют объясняющий характер, а какие нет, — а так: что является следствием рациональной обработки понятий? И ответом будет то, что результатом рациональной обработки понятий является их объясняющая роль и диспропорция с ролью обозначающей. Наоборот, первая посылка — неправильна, хотя бы по одному тому, что она не совпадает с правильной.

Итак, чувственная данность указана вся, а объяснена отчасти. Но поскольку она указана вся, мы легко делаемся жертвой иллюзии, что она, данность, объяснена также вся. Мы легко допустили бы, что мышлению больше нечего делать с этой реальностью. Но иллюзия разбивается и исчезает, когда оказывается, что иной рациональный процесс ползет как змея по другим отношениям этого объекта и охватывает наш объект совсем другим понятием, которое также включает в себе моменты процесса и которое, повидимому, ничего общего не имеет с прежним понятием.

Вот, напр., перелетные птицы совершили перелет через тысячи верст, без компаса, без предварительного обучения географии, но как будто по рассчитанному и заранее определенному плану. Что руководило ими? Это — инстинкт. Но что такое инстинкт? Каково содержание этого понятия? Инстинкт — это целесообразное бессознательное действие, характерное для всех особей вида, действие, неспособное к усовершенствованию и развитию.

Чье-то мышление, чей-то познавательный процесс шел от фактов целесообразной деятельности нашего сознания, перешел к жизни животных, которая совершается так, как будто их действия сознательны и целесообразны, отменил сознательность, но оставил целесообразность, установил постоянный характер этих действий и образовал понятия инстинкта. А между тем где-то в другом месте чей-то иной познавательный процесс начал свое развитие с других фактов и тоже подошел к тому же объекту. Это познание неходило из фактов механической зависимости между предметами, перешло к реакциям на внешние воздействия, подошло к физиологическим реакциям организма и его частей на раздражители и образовало значимые понятия тропизмов и рефлексов. Весь укороченный свернутый путь содержится в понятии инстинкта, и весь, укороченный свернутый путь содержится в понятии рефлекса.

И вот перелет птиц поглощается понятием инстинкта, спасающего птиц от предстоящих холода и голода, и поглощается, с другой стороны, понятием рефлекса на известные условия внешней среды.

Но когда мы взглянем несколько глубже в самое понятие перелета птиц, то увидим, что это понятие также претендует на некоторое объяснение наблюдаемого факта, оно также привносит известное содержание. Правда, объяснение, предлагаемое понятием перелета птиц, очень скудно и ничтожно, но все-таки оно содержит в себе кое-что. Птицы вообще имеют обыкновение перелетать; они перелетели, хотя бы по одному тому, что умеют летать; «птица» вообще имеет такие-то свойства, и потому указанный факт включает в себя рационально познанные отношения к другим фактам бытия, к другим птицам. Вследствие этого понятие «перелет птиц» тоже отличается от своего объекта.

Сам по себе чувственный факт есть непосредственное, конкретное, реальное. Опосредствованное знание его, понятие, есть абстрактное, относительное. Чувственная данность сама по себе есть, так сказать, повесть без названия. Она фигурирует под покровами различных понятий. Она является нам в разных лицах, то как простой «перелет птиц», то как «инстинкт», то как «рефлекс».

Такое замещение рационального, объяснительного понятия — одного другим — я называю рациональной перелицовкой чувственного объекта.

Некая чувственная данность может быть характеризована, как металл — в отношении иных реальных объектов, обладающих теми же свойствами; она же может быть характеризована, как деньги, — в отношении совсем других фактов бытия; она же характеризуется, как заработная плата, опять-таки в связи с определенными фактами; она же, наконец, характеризуется, как стоимость рабочей силы, — с точки зрения отдаленных соотношений определенной общественной формации. Все это есть рациональная перелицовка чувственного объекта.

О рациональной перелицовке я говорю только в отношении чувственных объектов, имеющих действительное существование в определенных условиях пространства и времени. История каждой науки есть изучение таких объектов, которые действительно существовали в таком-то месте, тогда-то. Но эта действительная история науки есть ее закулисная история. Покопав с изучением своих объектов, найдя некую закономерность, наука принимает всегда независимый вид и ведет себя так, будто она не связана ни с какими определенными фактами и может быть соотнесена с любыми в равной мере. Законы политической экономии были найдены на фактах действительной экономической истории, главным образом, Англии. Будучи найдены, они отрываются от Англии, принимают абстрактную форму, чтобы быть готовыми ответить и к Англии, и к Америке, и к Японии, и к Китаю. И точно так же законы каждой науки — физические, химические, биологические, филологические и пр. Но закулисная сторона их есть те чувственные объекты, которые имеют реальное существование, независимое от рационального познания. И только на этих реальных чувственных объектах нужно исследовать соотношения между понятиями. Поэтому нельзя этот вопрос подменить вопросом об отношении между собой соответствующих категорий разных наук,

если не имеется в виду определенный, реально существующий предмет.

Итак, если объект подведен под понятие, то это значит, что мы подошли к нему с известной стороны. Он имеет столько сторон, сколько раз он может быть рационально перелицован, и он столько раз может быть рационально перелицован, сколько имеет различных сторон. Каждая «сторона», само собой разумеется, не есть физическая сторона, это «сторона» логическая. Но ясно, что различию логических сторон соответствует различие в реальных отношениях. Реально различные отношения к иным объектам, отношение между частями данного объекта, отношение частей этого объекта к другим объектам и различные отношения объекта к этапам его предшествующего развития. Каждое отношение есть достаточное основание для образования понятия, и каждое понятие есть достаточное основание как для познания, так и заблуждения; это есть основание для того, чтобы отождествить понятие с предметом, смешать объясняющую функцию с обозначающей, принять одностороннее объяснение за всестороннее и утратить понятие о «сторонах» и отношениях.

Теперь мы стоим перед задачей дальнейшего изучения данного объекта. Подойти к объекту с той или другой стороны это не значит еще изучить его. К нему нужно подойти со всех сторон. Однако подход к объекту с той или другой стороны, все же, значит очень многое. Этот односторонний подход нам важен, как результат познания, но еще более важен, как исходный пункт дальнейшего познания. Как результат познания, он важен потому, что уже одним тем объяснением, которое содержится в понятии, мы не можем и не должны пренебрегать, и содержание понятия имеет значение как некоторое знание о предмете. Но это содержание понятия имеет большее значение по той роли, которую оно будет играть в процессе дальнейшего изучения данного объекта.

В самом деле. Мы видели, что объясняющее понятие в свернутом виде содержит в себе тот путь, которым шло мышление, создавая его. И вот теперь, когда мы хотим подвергнуть наш объект более детальному исследованию, то направление исследования предопределено содержанием нашего понятия. Оно, понятие, направляет нас обратно, в ту сторону, откуда мы пришли. Оно отсылает нас к тем самым объектам, от которых мы начали познание. Поэтому, если вы назвали движение животного рефлексом, вы уже не можете изучать это движение и искать его закономерности в фактах сознания, а вынуждены обращаться к исследованию отношений организма и среды. Если вы характеризуете эту вещь, как товар, то вы должны исследовать ее с экономической стороны, и в применении к ней электронная теория будет, по меньшей мере, неуместна. Понятие разворачивает свое содержание. Оно направляет познание в сторону одних, а не каких-либо других объектов. Это заметнее и значительнее тем более, чем большее содержание заключено в понятии, чем более оно приближается к научным категориям.

Рациональное познание данного объекта в связи с определенной группой объектов или взятое в определенном отношении к другим объектам я буду называть рациональным аспектом данного объекта.

Столько же, сколько может быть рациональных перелицовок данного объекта, столько же может быть и аспектов его, ибо каждое из понятий, разворачиваясь в процессе исследования, толкает познание по пути определенных объектов. Поэтому каждая «сторона», или каждое «отношение» чувственного объекта, поскольку она послужила основой для образования понятия, служит основой и для образования аспекта.

Является ли аспект познанием данного объекта или познанием определенной группы объектов в известном отношении, — вопрос этот не может получить однозначного ответа. В пределах каждого аспекта познание свободно движется от одного объекта к другому, останавливается у одного или у целой группы, — и все это не меняет характера аспекта. Можно ли найти закономерность в объектах или нет, зависит, бесспорно, от того, есть ли в отношениях между этими объектами закономерность или нет. Но правильность направления исследования уже заключена в том понятии, которое создало определенный аспект. Поэтому, в известном смысле, истина истины есть ее исходная точка зрения.

Производимое в процессе познания разложение чувственного объекта на рациональные аспекты я называю дисцернированием предмета.

Дисцернирование на аспекты пополняется дисцернированием познаваемого объекта на элементы. Если объект, который является источником познавательного процесса, состоит из различных частей, и если части эти настолько различными для непосредственного познания, что их зависимости, их отношения могут быть подвергнуты самостоятельному исследованию, то разложение объекта на такие части является этим вторым дисцернированием.

Дисцернирование на элементы происходит внутри аспектов. Оно проще, доступнее и более легко достижимо, чем дисцернирование на аспекты. Оно близко подходит к понятию анализа, но, однако, не совпадает с ним и отличается от него. Понятие анализа никогда не отличалось особенной определенностью. Из сопоставления с ним дисцернирования на элементы станут яснее оба понятия.

Павлов в своих опытах над собаками показал, что и собака умеет анализировать предмет, т.е. разлагать его на составные элементы. Если в совокупности зрительных, слуховых, обонятельных раздражителей изменить, напр., один слуховой, то можно научить собаку иначе реагировать на всю совокупность, чем прежде. Стало быть, собака отличает этот элемент совокупности от всех прочих. Правда, меня можно упрекнуть в том, что я перешел из гносеологического аспекта в рефлексологический. Но это справедливо в такой же степени, как и то, что Павлов перешел из рефлексологического аспекта в гносеологический, в аспект гносеологии собаки. Во всяком случае, и собака умеет анализировать, — а вот дисцернировать она не умеет.

В самом деле. Анализ заключается в том, чтобы разложить цельный объект на составные элементы. Это достижимо уже в чувственном восприятии вещи. Дисцернирование на элементы включает в себя такой анализ, но идет несравненно дальше. Весь вопрос в том, каким объясняющим понятием покрыт тот или другой элемент объекта и каков будет, следовательно, аспект изучения этого элемента.

Допустим, что перед нами растение—садовый горох. Уже простой анализ этого объекта разлагает его на элементы: вышина стебля, цвет, форма плода и пр. Положим теперь, что мы рассматриваем вышину стебля, как наследуемый признак. Понятие наследуемого признака заставляет нас эту чувственную данность, как элемент целого, исследовать в определенном направлении. Ибо как можем мы подходить теперь к вышине стебля? Уже не с той ли точки зрения, виден ли этот стебель из-за забора? Или какое из него можно сделать применение? Нет, мы будем сопоставлять вышину стебля в целом ряде поколений, и в этом будет заключаться исследование этого признака. Поэтому дисцернирование на элементы, во-первых, происходит внутри определенного аспекта; во-вторых, оно обозначает не столько разложение на элементы, сколько исследование в определенном направлении на основе разложения; и, в-третьих, оно порывает с точкой зрения целого объекта, именно потому, что элемент становится самостоятельным объектом, тогда как анализ не порывает с точкой зрения целого, рассматривая части по отношению к целому.

Возьмем другой пример: мы наблюдаем какую-либо обмолвку. Если человеческая деятельность разложена на отдельные элементы—проявления этой деятельности, то это есть анализ человеческой деятельности. Но весь вопрос в том, каким объяснительным понятием будет покрыта эта обмолвка. Допустим, что понятием рефлекса. Тогда исследование обмолвки пойдет определенным путем. Именно, по Бехтереву, человека заставляют реагировать на световые и звуковые раздражения таким образом, что на звуковое раздражение он должен ответить словом «звук», а на световое—ничего не ответить. И вот, после ряда раздражений он и на световые раздражения отвечает словом «звук», особенно, если эти раздражения совершаются в достаточно быстром темпе. Отсюда делаются определенные выводы о природе обмолвок, которых мы здесь касаться не можем. Совсем иное направление примет наша мысль в том случае, если обмолвка охарактеризована, как проявление влечебного мотива. Тогда исследование пойдет по пути соотношения сознательных и бессознательных элементов психики. Вопрос о соотношении этих аспектов, исключительной важности вопрос, подлежит выяснению несколько далее. Пока необходимо установить, что в дисцернировании исчезает мысль о целом объекте, именно потому, что познание этого элемента разворачивается в самостоятельное исследование, и что, опять-таки, дисцернирование на элементы происходит внутри дисцернирования на аспекты.

Развиваясь в том или ином направлении, аспект захватывает новые объекты и дисцернирует их на аспекты в определенном направлении, где образуется, так сказать, второй полюс дисцернирования.

Такого происхождения, например, содержание понятия «идеология», поскольку это понятие применяется в современном научном мышлении.

У нас не осознают в должной мере того простого факта, что «идеология» есть только социологическая категория. Вслед за Плехановым и Бухариным ищут содержания этого понятия, в отличие от понятия «психология», в том, «систематизирована» ли или нет психика общественных индивидов. Но это различие ни

на чем не основано и прямо неверно в двух отношениях. Во-первых, оно не соответствует тому фактическому применению, которое имеет эта категория в нашем научном мышлении, и, во-вторых, оно указывает на такие отношения, которые уводит мысль в постороннем для исследования направлении и, следовательно, эклектически засоряют научную категорию. Сознание людей охватывается понятием «идеология» в той мере, и только в той мере, в какой оно изучается со стороны общественного бытия и по отношению к общественному бытию. Так, если у меня есть болезнь сердца и, вследствие этого, выработается суровое убеждение в том, что мне нельзя лежать на левом боку, а только на правом, то вы моего убеждения идеологией не назовете, хотя бы оно было трижды включено в «систему» моего медицинского мировоззрения. И не назовете именно потому, что вы не умудритесь подойти к моему принципу со стороны общественного бытия. Но если бы я проявил неожиданную симпатию к религиозным праздникам или к каким-либо обрядам, вы вполне справедливо взяли бы под подозрение именно мою идеологию, потому что это обстоятельство позволило бы вам подойти ко мне с классовой стороны; при этом вам бы вовсе не помешало то, что моя склонность к религиозным обрядам не включена в мою психику, как элемент «системы», что она несколько не согласована с проповедуемыми мною взглядами. И в практике мы сплошь да рядом пользуемся этим понятием, когда выясняем чью-либо психологию со стороны отношения к политике, общественности, профессиональным организациям, национальному вопросу, семейному быту, модам и пр. Все эти явления легко и просто охватываются понятием идеологии—без всякого отношения к степени их систематизации. Но поскольку какие-либо знания математики, являющиеся собою образец систематизации, рассматриваются как выражение хороших способностей индивида, никому не придет в голову называть их идеологией. В критике искусства мы пользуемся этой категорией опять-таки, поскольку подходим к нему социологически, т.е. со стороны общественного бытия. И наоборот, в чисто психологической науке, поскольку она подходит к своему предмету в индивидуально-биологическом аспекте, не может существовать и не существует категории «идеология».

Таким образом, под давлением социологического аспекта понятие «психика людей» дисцернируется, принимая форму идеологии, как отношения к общественному бытию и результата воздействия общественного бытия. Точно так же и понятие общественного сознания, синонимичного понятию идеологии, правильно применяется, когда его толкуют не как сознание общества, а как сознание об обществе, когда термин «общественное» берется не по субъекту, а по объекту сознания. В узких рамках термин «общественное сознание» может быть применен и для выражения сознания общественной группы, но применять его к обществу в широком смысле и понимать общественное сознание, как сознание общества, значит игнорировать различие общественных сознаний внутри классов и пользоваться категорией общественного сознания совершенно ненаучно и незаконно¹⁾.

¹⁾ Я не могу отказать себе в удовольствии проиллюстрировать выгоды некоторых ошибочных действий. Ленин пользуется понятием «общественное сознание» в смысле сознания об обществе, сознания об общественном бытии. Так он часто употребляет выражения «ваше общественное созна-

Однако, прежде чем пойти далее, следует обратить внимание на то, что аспекты, о которых идет речь, выступают в различных положениях. Это положение аспектов зависит от того, какую цель ставит себе наш познавательный процесс. По отношению к аспектам познавательный процесс является диктатором-гегемоном. Он сам, познавательный процесс, зависит от условий нашего бытия, включая в наше бытие нашу деятельность, и в частности от того самого бытия, которое представлено в форме аспектов. Но поскольку аспекты являются выражением определенного нашего познавательного отношения к бытию, постольку их положение зависит от познавательного процесса, от тех целей, которые он себе ставит.

Вопрос о положении аспектов имеет первостепенное значение. Он соприкасается с вопросом об известном делении наук на номографические и идеографические, делении, ведущем свое начало, в общем, от Виндельбанда и Риккерта, и с вопросом о генерализирующем и индивидуализирующем понимании действительности. Риккертская генерализация и индивидуализация вовсе неприемлемы, как проявление совершенно необузданного субъективизма. Деление на идеографические и номографические науки приемлемо с оговорками.

Положение аспектов различно в зависимости от того, интересует ли нас установление повторяемости и закономерности причинных отношений в некоторой группе объектов, или нас интересует данный определенный объект, реально существующий в ограниченном пространстве и времени. Одно дело, если мы устанавливаем общие абстрактные законы, которые с завидным бесстрашием могут отнестись ко всяким аналогичным объектам,—и совершенно другое дело, если нас интересует познание данного, этого объекта. Одно дело,—реальный конкретный случай, и совершенно другое дело—абстрактно-рациональная тенденция.

Впрочем, с другой стороны, это вовсе не «совершенно другое дело». В обоих случаях мы имеем дело с теми же самыми аспектами и с теми же или такими же самыми объектами. Но в одном случае один аспект охватывает много объектов, а в другом случае

ние» и пр., в которых смысл выражения очевиден. В своей юношеской работе «Что такое друзья народа» он в одном месте говорит: «Пока они (социологи) ограничивались идеологическими общественными отношениями, т.е. такими, которые, прежде чем им сложиться, проходят через сознание (т.е., разумеется, речь все время идет о сознании «общественных» отношений и никаких иных) людей, они не могли заметить повторяемости и правильности в общественных отношениях разных стран...» и т. д. Таким образом, когда Ленин излагает социологические течения и когда говорит о сознании людей, то для него, разумеется, речь идет о сознании общественных отношений и никаких иных. Это, действительно, должно разумеется, но, к сожалению, не разумеется. И это, действительно, составляя отрывки по сочинениям Ленина, вынужденный напечатать это неприятное для обычного понимания термина «общественное сознание» место, допускает опечатку, которая оказывается вполне жизнеспособной и уместной и которая с невозмутимым видом красуется и во втором издании его книги. Он допускает перемещение скобки—не после слова «иных», а после слова «людей». Речь, видите ли, идет о сознании общественных отношений, и никаких иных людей! Если эта фраза сохранила еще какой-либо смысл, так тот, что, разумеется, кроме общественных, никаких иных людей нет. Какая досадная опечатка! (Теория и практика диалектического материализма в избранных отрывках из произведений В. И. Ленина. Составил и снабдил примечаниями Гр. Баммель, изд. Ком. Акад., М. 1924, стр. 212, 2-е изд., стр. 230).

много аспектов охватывает один объект, или в одном случае аспекты берутся в аспекте повторяемости отношений внутри каждого из них, а в другом случае аспекты берутся в аспекте «единичного суммирования закономерностей. Только в таком смысле можно принять и деление наук на номографические и идеографические. Толкование этого деления в том смысле, что науки номографические стремятся охватить то, что есть в явлениях вечного, а идеографические—то, что есть в них преходящего,—должно быть отброшено, как, по крайней мере, неточное. «Вечность»—едва ли необходимая для познания категория, а преходящих, в смысле неповторяемых свойств предмета для науки нет. Есть только неповторяемое или мало повторяемое отношение между повторяемыми отношениями. Каждая наука, будь то и наука номографическая, представляет собой не один, а целый комплекс аспектов. Поэтому я не вижу необходимости натягивать на вопрос о положении аспектов термины «номографический» и «идеографический», а буду говорить об аспектах закономерности, с одной стороны, и об единичном сочетании аспектов,—с другой.

Сначала речь должна идти об аспектах закономерности.

Повторяемое причинное отношение между явлениями есть отношение реальное. Оно заключено в самих объектах нашего познания. Поскольку мы говорим о закономерности в природе и обществе, постольку причинные отношения независимы от нашего познания, и наше познание ничего в этой причинности изменить не может, хотя может ее использовать в нашей деятельности. И лишь в узкой сфере собственного поведения познание причинности вплетается в объективную причинность, как один из ее моментов. Но, говоря вообще, не познание причинности может изменить причинность, а, наоборот, сама причинность направляет именно так, а не иначе наше познание. Перед познанием стоит задача выявить объективную причинность,—и оно это способно сделать. Оно следует за самими объектами, за реальным процессом воздействия одних объектов на другие, за превращением форм энергии, за последовательностью в явлениях, за одновременностью их возникновения и уничтожения. Оно это делает потому, что его принуждает к такому следованию самая практика отношений с объектом. Тогда познание обнаруживает, какие именно объекты и в каком количестве представляют необходимое звено причинного ряда, какие изменения в одних объектах влекут за собой и какие изменения в других.

Но такое следование за объективными процессами, сопровождаемое рациональными сопоставлениями, соотнесениями и умозаключениями, возможно лишь в рамках одного аспекта. Если бы наша мысль проявила некоторую неустойчивость, если бы она свернула с одной линии причинных отношений на другую, то она тотчас же оказалась бы неспособной решить свою задачу. Она не обнаружила бы и не выявила бы причинной связи, потому что перестала бы следовать за ней. Нельзя одновременно гоняться за двумя зайцами. И несравненно в большей степени нельзя пускать сложный аппарат мышления одновременно в различных направлениях. Мышление, отправляющееся в поиски причинной связи между явлениями, должно решительно отменить всякие поводы к переходу на линии иных отношений. Оно должно быть монистично. Монизм, как метод, есть субъективная основа аспекта

закономерности, в то время как реальная причинность есть его объективная основа.

И когда в результате познавательного процесса выявлена искомая причинная связь, то на помощь поспевает категория постоянства, закономерности, «категорическая причинность». Мы ничего не говорили о происхождении этой категории. Но говорили, что она является результатом предыдущего познания и исходным пунктом для дальнейшего. Эта «категорическая причинность» подхватывает уловленную причинную связь, придает ей всеобщность, отрывает от тех чувственных объектов, на которых она была найдена, и сообщает ей абстрактную форму закономерности. Но это возможно только тогда, когда познание шло монистическим путем и когда ему удалось действительно найти связь между объектами.

Так, если обратиться к прежнему примеру — кругообращению капитала, то мы увидим поучительную картину монистического созидания аспекта закономерности. С поля зрения начинает исчезать все то, что не может объяснить кругообращения капитала. Огромные предпринятия, имеющие свое бытие в ограничении времени и пространства, исчезают, как таковые, оставляя для исследователя одни факты покупки рабочей силы и средств производства и абстрактного производственного процесса. Затягивается занавес над сценой, на которой действуют люди, как некие национальные типы, с некоей биологической структурой, со всем многообразием, какое только и представляют люди (при всем их единстве). Исчезает техника производства, величайшие завоевания практики и науки, исчезают все свойства материальных факторов производства, над изучением которых с таким усердием работают в продолжение тысячелетий. В этом процессе раскрытия закономерности формации аспект не знает ни пощады, ни жалости: он отбрасывает знание обо всех областях жизни, он ведет себя так, как будто ничего не известно об этом мире за пределами искомого закона. Вся масса реальности приходит в связь по линии одного отношения, она увязывается одной нитью, — общественной формой производственного процесса. И когда в результате объект исследования выявляет свой скрытый закон, тогда обрывается последняя связь с реальностью, и новый закон в чисто рациональной форме становится подобным адвокату, который согласен вступить в соглашение с любым объектом при известных условиях.

Другой пример я приведу опять-таки из сферы, где еще не сталкиваются притязания биологической и социологической науки, где успешно движется вперед монистический метод, но пример уже из сферы биологической. Жак Лёб в предисловии к своей замечательной книге о вынужденных движениях животных с удивительной ясностью излагает особенности своего метода. Он рассматривает поведение животных, как вынужденные движения или как тропизмы. Понятие вынужденных движений заимствовано из физиологии мозга, где им обозначают тот факт, что некоторые животные не в состоянии более двигаться по прямой линии, если повреждены некоторые части их мозга, а вынуждены постоянно отклоняться к одной стороне, притом либо к поврежденной стороне, либо к противоположной (в зависимости от вида и места повреждения в мозгу). Понятие тропизмов взято из жизни растений, где под это понятие подводится вынужденная ориентировка растения на внешние источники раздражения. Оба эти

понятия, вполне согласуемые друг с другом, Лёб делает аспектом изучения поведения животных. И он настаивает на том, что это — единственно правильный метод изучения, который дает разработку «количественными методами физиков». Вот к чему пришел Лёб (в его же собственных словах). Нормально процессы, вызывающие движение, одинаковы в обеих половинах центральной нервной системы, а так как и напряжение симметричных мускулов одинаково, то животное движется по прямой линии постольку, поскольку это позволяют несовершенства его двигательного аппарата. Если, однако, скорость химических реакций, с одной стороны, тела, напр., в одном глазу, несколько возрастает, то физиологическая симметрия обеих сторон мозга нарушается, а как следствие этого нарушается и одинаковость напряжения симметричных мускулов. Мускулы, связанные с тем глазом, который освещен сильнее, испытывают более сильное напряжение, и если теперь в центральной нервной системе возникнут двигательные импульсы, то они не вызовут одинакового ответа в симметричных мускулах; действия мускула, поворачивающего голову и туловище к источнику света, будет сильнее. Это приведет к тому, что животное изменит направление своего движения и повернется к источнику света. Как только плоскость симметрии будет проходить через источник света, освещение обоих глаз сравняется, напряжение (или тонус) симметричных мускулов вновь станут одинаковыми, и двигательные импульсы вызовут одинаковые действия симметричных мускулов. Вследствие этого, животное будет двигаться по прямой линии к источнику света, пока какое-нибудь новое асимметричное влияние не изменит направления движения. То, что установлено для действия света, остается в силе и в том случае, если свет заменить каким-нибудь другим фактором. Движения, обусловленные светом или другим фактором, выжуют непосвященному выражением воли или намерения со стороны животного, тогда как в действительности животное вынуждено идти туда, куда его несут ноги.

Так излагает Лёб сущность своего учения.

В практической проверке он, напр., заставляет животное кружить в определенном направлении, зачернив ему один глаз, и разнообразными экспериментами устанавливает закономерность в движении животного.

Совершенно очевидно, что аспект, в котором исследует поведение животных Лёб, не исчерпывает предмета. Ведь Лёб еще не раскрыл, каковы именно химические процессы в устанавливаемых реакциях, и потому химический аспект, который является с другой стороны, будет прекрасно согласован с аспектом Лёба.

Но представляется абсурдным — с методологической точки зрения — дополнять аспект Лёба посторонними отношениями, как это делают его критики. Так, Дженнингс, поддерживаемый у нас Бехтеревым, дополняет его «методом проб и ошибок», т. е. учением, что животное движется под влиянием совершенных ошибок в достижении того или другого положения, что после определенного числа ошибок оно, наконец, движется, куда следует. Если бы точка зрения Дженнингса и не имела телеологической предпосылки (что по отношению к низшим организмам вообще едва ли выдерживает научную критику), если бы даже он был прав по своему методу, то и тогда было бы недопустимо

разбивать аспект Лёба, разрушать монизм его метода и разбивать его эклектикой.

Эклектика именно в том и заключается, что в аспект закономерности внедряется точка зрения посторонних для данного аспекта отношений. Эклектика—это наибольший враг аспекта закономерности. Великие преобразователи науки всегда шли и идут строго монистическим путем, сурово и настойчиво отстраняя не входящие в их аспект отношения. И Маркс, и Дарвин, и Павлов, и Мендель, и Фрейд, и Лёб и др. создали свои системы на основе монистического метода. И общая судьба всех гениальных монистов—это получать упреки в односторонности и догматизме (по крайней мере, я не припомню исключения из этого правила) со стороны эклектиков, подходящих «всесторонне», но лишенных раз навсегда возможности установить повторяемость и закономерность явлений.

Нам необходимо теперь рассмотреть отношение аспектов друг к другу хотя бы в самом поверхностном «аспекте».

Прежде всего, следует заметить, что понятие аспекта, как это само собой разумеется, имеет соотносительный характер. Т.е. его смысл заключается в противопоставлении другому аспекту. Если бытие какой-либо вещи может быть исследовано только в связи с какой-либо группой фактов, и ни в какой иной, то нет смысла говорить об аспекте этой вещи. Лишь тогда, когда наряду с одним рациональным познанием вещи возможно иное, т.е. познание ее в другой связи, лишь тогда возникает понятие аспекта данной вещи. Вещь имеет либо много аспектов, либо ни одного, либо один аспект перестает быть таковым.

Во-вторых, может быть указано, что те факты или явления, которые в одном аспекте выступают, как причины изучаемого явления, поскольку они обозримы в другом аспекте, выступают в нем, как условия этого явления. Исследование изменчивости урожая зависимо от техники обработки земли рассматривает приемы земледелия, как причину, а урожай, как следствие, в одном причинном ряду. Наличие необходимых метеорологических явлений в природе рассматривается, как необходимое условие осуществления этой закономерности. Наоборот, с метеорологической точки зрения устанавливается иная закономерность и причинная зависимость урожая от метеорологических явлений. Надлежащая обработка земли теперь рассматривается, как условие осуществления этой закономерности. Международное положение в связи с возможностью строительства социализма дает определенный причинный ряд, при условии правильной политики внутри страны. В другом аспекте, правильная политика дает свой причинный ряд, при условии соответствующего международного положения.

Фрейд уделяет много внимания условиям, при которых бессознательное может выявить свои тенденции. Он проводит границу между понятиями причины и условия на таком примере: «Допустим, что я был настолько неосторожен, чтобы совершить ночью прогулку по отдаленным пустынным улицам большого города; на меня напали и отняли часы и кошелек. В ближайшем полицейском участке я сообщаю о случившемся в следующих выражениях: я был на такой-то улице, и там одиночество и темнота отняли у меня часы и кошелек. Хотя этими словами я и не выразил ничего такого, что не соответствовало бы истине, все же весьма вероятно, что меня приняли бы за человека, нахо-

дящегося не в своем уме». Однако Фрейд прав только наполовину. И в этом случае нет принципиальной грани между причиной и условием. В аспекте городского благоустройства пустыньность и неосвещенность улиц могут рассматриваться, как причина ограблений, при условии, разумеется, существования бандитов. Наоборот, в аспекте преступности пустыньность и неосвещенность улиц рассматривается, как подходящее условие для фактов ограблений. Пример Фрейда кажется убедительным, потому что выражение «одиночества и темнота отняли у меня часы», действительно, нелепо, но оно нелепо лишь потому, что понятия «одиночество» и «темнота» взяты из одного аспекта, а «отняли»—из другого. Однако, с другой стороны, Фрейд совершенно прав, когда со своей психоаналитической точки зрения рассматривает нарушения циркуляции и общее функциональное расстройство мозга, как условие для проявления забывчивости, тогда как физиолог рассматривает их, как причины (при условии наличия вытесненных мотивов, если, в лучшем случае, он признает сферу бессознательного).

Далее—в-третьих,—каждый аспект лишь тогда вполне удовлетворяет наши поиски причинности, когда уже найдена действительная закономерная зависимость в другом аспекте того же явления,—в качестве предпосылки для первого аспекта. Допустим, что мы впервые путем эксперимента убеждаемся в том, что животные умирают, если их лишить возможности вдыхать кислород. Из-под колокола выкачивается воздушным насосом воздух, и индуктивным методом единственного различия устанавливается закономерность изучаемого факта, смерть животного без кислорода. В другом аспекте, чисто физиологическом, изучается циркуляция крови и ее окисление в процессе дыхания, и мы устанавливаем другую закономерность в жизни животного. Этот второй аспект дополняет первый, так что без него первый оказывается недостаточным, а со вторым аспектом, как предпосылкой, мы получаем удовлетворительное объяснение исследуемого вопроса.

В генетическом аспекте устанавливается закономерность в наследуемых признаках. Цитологический аспект, изучение клетки, объясняет те же явления и служит дополнением для первого. Обычно, когда изучение явления в одном аспекте не дает исчерпывающего ответа на поставленные проблемы, то поднимают вопрос о скрытом «механизме» образования явления. Социология устанавливает закономерность в смене идеологий и приспособлении их к общественному бытию. Когда психолог подходит к этому вопросу в своем биологическом аспекте и устанавливает свои зависимости, он говорит о том, что социология не может разъяснить «механизм» психических образований. Точно так же цитолог, изучающий процессы в клетке, указывает на то, что генетик не раскрыл «механизма» наследственности, а он, цитолог, этот механизм может указать. Это неопределенное понятие «механизм» указывает лишь на то, что требуется еще один аспект, без которого знание явления недостаточно.

Это бывает часто в тех случаях, когда в каком-либо из аспектов рациональные абстрактные построения ушли чрезвычайно далеко сравнительно с количеством чувственной данности, вследствие чего для усиления достоверности возникает нужда в чувственном подкреплении из другого аспекта.

Здесь мы подошли к четвертой особенности отношений между аспектами. Каждый аспект характеризуется своими чувственно-данными фактами и своей пропорцией чувственного и рационального материала. При этом характерно соотношение чувственных и рациональных элементов в различных полюсах аспекта. Могут быть чувственно даны причины, а следствия построены рационально, могут быть чувственно даны следствия, а причины построены рационально. Иллюстрация этого будет дана ниже.

Далее, в-пятых, каждый аспект характеризуется своим, так сказать, временем, своею длительностью и, как следствие этого, своею степенью абстрактности части входящих в него объектов. Примеры пояснят мои мысли. Поскольку каждый аспект закономерности находится, как уже сказано, под воздействием категории причинности, постольку в его пределах причина существует тогда же, когда и следствие, и следствие тогда же, когда причина. Они вместе появляются и вместе исчезают. Поскольку мы изучаем закономерность общественной формации, постольку не можем вывести в причинную связь явлений такую причину, которая имеет более длительное существование, чем следствие, не можем объяснять абстрактную закономерность отношений, напр., капиталистической формации биологическими, географическими и проч. причинами. Так как эти факты имеют более длительное существование, чем та или другая общественная формация, то они не могут войти в этот аспект. Точно так же, очевидно, нельзя с точки зрения наследственности объяснить склонность носить узкие платья, ибо эта склонность, стоящая в связи с модой, очевидно, имеет существование несравненно менее длительное, чем любые законы наследственности.

Однако это не всегда очевидно, и тогда появляется очень сложная задача приводить объекты искусственно к одной мере длительности в пределах аспекта. Так, напр., если с психоаналитической точки зрения в творчестве Достоевского отношение к царю получает объяснение из эдиповского комплекса, то явная неправильность объяснения, поскольку оно приведено, как установление причинной связи, видна из того, что эдиповский комплекс существует столько, сколько существует семья, а «царь» — несравненно менее продолжительное время. Аспект закономерности не выдержан. Но как раз в данном случае закономерность могла бы быть восстановлена, если бы второй полюс дисцернирования, «царь», был представлен в форме более абстрактного понятия, имеющего длительность применения, равную длительности существования эдиповского комплекса, напр., в форме начальствующего общественного авторитета. Амбивалентное отношение к начальствующему общественному авторитету, причинно связанное с эдиповским комплексом, как абстрактная тенденция, бесспорно, может быть содержанием определенного аспекта закономерности.

Далее, в-шестых, каждый из аспектов только в мышлении исключает другие аспекты, но фактически содержит их в себе. Урожай можно изучать в аспекте климатической закономерности и в аспекте закономерности, обусловленной техникой обработки земли. Когда мы изучаем климатический аспект урожайности, то подбираем много случаев по климатическому признаку, которые нам и открывают закономерность. Во всех этих случаях специально подобранных по климатическому признаку, обра-

ботка земли не отсутствует: она лишь приходит к средней величине, вследствие того, что уравниваются случаи высокой и низкой техники обработки. Эта обработка приходит к средней величине, нейтрализуется и потому рационально неуловима в аспекте климатическом. Наоборот, в техническом аспекте рационально неуловимы явления климатические. В этом случае они приходят к средней величине, но не отсутствуют. Поэтому, если бы одна из этих средних резко уклонилась в какую-либо сторону, то одновременно должны были бы рухнуть оба аспекта. По отношению к урожаю невозможен ни климатический, ни технический аспекты изучения, напр., на Северном полюсе. И это происходит именно потому, что в каждом аспекте незримо присутствует другой, который и оказывает реальное воздействие на закономерность явлений.

Здесь естественно поставить вопрос о преобладающем значении того или другого аспекта, и мы переходим, таким образом, к седьмому замечанию о соотношении аспектов между собой.

Вопрос о сравнительном значении аспектов не вытекает непосредственно из методологического рассмотрения аспектов, скорее наше мышление здесь переходит на проблему онтологическую, ибо мы приходим к вопросу о реальном значении той или иной закономерности, — по сравнению с другой. Но реальное значение закономерностей снова возвращает нас к методологическому их сопоставлению.

Каждый аспект не ограничен в количестве объектов, подлежащих его охвату. Он ограничен только тем отношением, в котором эти объекты рассматриваются. Вопрос о реальном значении того или другого аспекта решается в зависимости от того, какая именно масса реальности захвачена одним аспектом, какая — другим.

Возьмем, для начала, тот же пример климатического и агрономического аспектов урожая. Мы видели, что в агрономическом аспекте содержится и климатический, а в климатическом — агрономический. В первом аспекте одна закономерность уловлена, а другая — скрыта, во втором — наоборот. Но тогда поставленный вопрос о том, значение какого аспекта более велико, или какой аспект «сильнее», принимает такую форму: что «сильнее» — уловленная закономерность + неуловленная, или неуловленная + уловленная. Праздность такого вопроса очевидна, как очевидна и невозможность ответа на него. (Правда, следует оговориться, что речь идет здесь об абстрактных аспектах закономерностей, а не о сочетании аспектов в конкретном случае; о конкретных единичностях речь будет несколько далее). Так как в урожае обязательно участие климатических явлений и обязательно участие технических приемов, то, приступая к исследованию причин урожая, мы заранее можем быть убеждены в том, что найдем причины климатические и причины технические, что одно и то же явление может быть объяснено и так и этак. Поэтому еще до того, как мы дисцернировали понятие урожая на те процессы, которые подлежат изучению в климатическом аспекте, и на те процессы, которые подлежат объяснению в аспекте техническом, еще до этого мы можем быть утешены сознанием того, что в методологическом отношении нас ждет предустановленная гармония между методами объяснения этого явления.

Однако, как сказано уже, аспекты не ограничены в количестве объектов, составляющих их содержание. Климатический аспект может быть связан с астрономическими, метеорологическими, геологическими и проч. фактами. Он заключает в себе уже не только известное количество тепла и влаги, которые принимают участие в созревании урожая, он приведен в связь с такой массой реальности, которая никакому воздействию со стороны агрономии не подлежит. Если теперь сравнить технико-агрономический аспект урожайности с климатическим, понимаемым столь широко, то станет ясно, что климатический аспект — опять-таки в таком понимании — «сильнее», значительнее, ибо изменение в астрономическом мире может оказать решающее действие на всю нашу технику, но наша техника пока еще не может оказать воздействия на астрономические явления.

Произведение искусства может быть объяснено в различных аспектах: социологическом, индивидуальном, психологическом, формальном, историко-сравнительном и проч. Оно дисперсируется соответственно тем объектам, с которыми приведено в связь. Но если искусство взять по отношению к социальному бытию, то оно, искусство, выступает не как то или другое произведение, а как школа, течение, направление, и подлежит изменениям в зависимости от социального бытия. Поэтому социологический аспект искусства онтологически значительнее всех остальных его аспектов, ибо он охватывает несравненно большую массу реальности. И это методологически выражается в том, что сколько бы различных аспектов ни покрывало произведение искусства, но возникновения новых направлений, школ, течений и гибель их, приуроченные к определенному историческому моменту, могут быть объяснены только социологическим методом.

Если рассматривать социологический аспект, или вернее аспекты, по отношению к биологическим с этой стороны, т. е. со стороны того, что и социологические и биологические аспекты могут содержать в себе не всегда одинаковые количества реальности, то мы увидим такую же изменчивую картину их сравнительного значения и силы. Если биологическим аспектом охватить общие законы развития и общие процессы, характеризующие живое вещество, то такой биологический аспект, естественно, онтологически «сильнее» аспекта социологического. Если же охватить биологическим аспектом те реальные изменения, которые совершаются в физической организации людей в обществе, то, конечно, этот биологический аспект уступает социологическому, ибо социологический связан с общей массой социальных отношений, с общей массой унаследованных от истории средств производства и с условиями окружающей природы. Вопрос о соотношении биологических и социологических аспектов требует точной формулировки, ибо ни в одном вопросе не возникает столько ошибок, сколько в этом. Самый частый и обычный тип ошибки заключается в том, что явление, связанное с социальными причинами, поглощается биологическим аспектом; биологическому аспекту приписывается значение, украденное у социологического аспекта. И эти ошибки, это похищение энергии у социологического аспекта в пользу биологического, вызывают тем большее возмущение, что оно совершается на глазах у научно мыслящей публики и с таким видом, будто такого рода поступки должны встретить естественное одобрение.

Абстрактно можно было бы предположить допустимость ошибки противоположного типа: именно, отнесение биологического факта за счет социальных причин, похищение биологических сил в пользу социальных. Однако действительность показывает, что такие ошибки не могут иметь места в теоретическом исследовании, ибо они уступают место другим ошибкам, не менее досадным, хотя и другого характера.

Социолог объясняет произведения искусства в социологическом аспекте. Может быть, он захватывает в свой аспект и такие явления, которые подлежат изучению в аспекте биологическом или каком-либо ином, и в этом, может быть, заключается его ошибка? Такая ошибка представляла бы большой интерес, и, может быть, это не было бы вовсе ошибкой. В действительности же социолог просто не видит в своем социологическом аспекте тех элементов в объекте исследования, которые открываются в иных аспектах. Игнорируя иные аспекты, ошибающийся социолог не сводит, напр., биологические ряды к социальным, он не уподобляется биологу, который на его месте свел бы социальный ряд к биологическому. Нет, он просто выпускает из поля зрения не социальные ряды. С социологической точки зрения не видно функций нервной системы, — и это ясно само собой. С социологической точки зрения не видно также ни соотношения сознательных и бессознательных моментов психики, ни законов «развертывания сюжета», ни техники живописи и т. п.

Ошибающийся биолог, или психолог, или историк искусства видит факт, но не знает его социальных причин. Ошибающийся социолог знает социальные причины, но... неизвестно какого факта. Для ошибающегося биолога реальность, напр., мозга заслоняет рациональность и, след., односторонность объяснения этим мозгом того или другого поступка, для ошибающегося социолога рационально-познанные отношения заслоняют чувственную реальность. Ошибка обеих в том, что они не дисперсировали предмета исследования и принимают свой аспект за реальное сочетание аспектов.

Таким образом, онтологический вопрос о значении аспектов решается в зависимости от того, какая именно масса реальности охвачена тем или иным аспектом.

Раньше было указано, что нужно решительно различать между тем случаем, когда аспект является аспектом закономерности, и тем случаем, когда различные аспекты сочетаются на единичной реальности. И мы теперь должны сопоставить это единичное сочетание аспектов с аспектами закономерности. Над аспектами закономерности, которые и были предметом нашего рассмотрения до сих пор, так сказать, простерла свою длань старая традиционная логика. Понятия, входящие в каждый из них, должны обладать точностью, определенностью, устойчивостью. Они должны соответствовать друг другу по объему и длительности существования их объектов. Каждый из них включает в себя категории общности и постоянства связи. Каждый из них пользуется логическими приемами дедукции и индукции.

Теперь, когда мы рассматриваем аспекты в их сочетании на реальной данности, мы попадаем в царство диалектики.

В самом деле. Каждый аспект включает в себе развитие мышления в определенном направлении, которое соответствует реальному отношению в объектах. И вот, когда различные аспекты сочетаются на данности, то наше мышление получает одновременное развитие в различных направлениях; понятие, которым мы покрываем реальность, включает в себя такие иные понятия, которые ограничиваются и отрицаются друг другом; понятие впадает в противоречия с собою, распадается и заменяется новыми понятиями. Происходит «саморазвитие» понятий. Это саморазвитие не оторвано от бытия, но и не связано непосредственно с ним. Оно основывается на предварительном изучении реальности в аспектах, на обобщениях, которые и дают движение понятиям, отнесенным к единичной данности.

Диалектическая истина должна быть конкретной. Конкретная истина должна быть диалектической. Диалектика понятия вытекает из его конкретности, а не наоборот, — в том случае, когда понятие, которое мы относим к данности, включает в себя такие понятия, которые получили — явно или неявно — предварительное обобщение в абстрактных аспектах. В этом смысле диалектика, действительно, является высшей ступенью познания по сравнению с логикой. Если различные аспекты классовых соотношений скрещиваются на крестьянстве конца прошлого и начала этого века бывшей России, то мы видим это восходящее превращение логики в диалектику. В аспектах закономерности крестьянство является классом феодального общества и является не классом общества капиталистического. Отнесенное к крестьянству такого-то периода, такой-то страны понятие крестьянства начинает свое «саморазвитие», поскольку два аспекта закономерности сплелись на реальном случае. Истина становится конкретной в диалектическом смысле слова. Крестьянство выступает и как класс и как не-класс, и как революционно-активная сила в борьбе с крепостничеством и как политически-дифференцирующаяся группа и проч.

Таким образом, когда наше сознание обращается к данности, то аспекты уже не противостоят друг другу, как в аспектах закономерности, но свободно переходят друг в друга.

Правда, из этих данностей можно опять сделать абстрактное обобщение, но начинается такое сплетение аспектов именно на реальных данностях.

Вместе с тем, при переходе к единичному сочетанию аспектов, исчезает деление явлений на «причины» и «условия». Насколько это деление необходимо и целесообразно в аспектах закономерности, настолько оно праздно и вредно в единичном сочетании аспектов. Оно немедленно становится метафизическим и схоластическим. В этом смысле представляет большой интерес понятие «конституции» организма, которое являлось и является объектом бесконечных споров среди, главным образом, врачей. Так сказать, в патологическом аспекте вполне естественно и уместно выделить понятие условий, которые со стороны организма так или иначе влияют на ход развития болезни. Поскольку патологический аспект выступает, как аспект закономерности, явления, воздействующие на него, но не исследуемые в нем, должны быть понимаемы, как условия. Вот эти условия и послужили основой понятия конституции. Но поскольку эти условия подвергаются исследованию и поскольку они обра-

зуют свой аспект изучения, они перестают быть «условиями». Однако мышление исследователей, к сожалению, не различает в должной мере аспектов закономерности и сочетания аспектов на единичности. Так как оно, мышление, не умело свободно переходить от понятия условия к понятию причины при переходе в иной аспект, то возникло два ошибочных мнения. С одной стороны, стали утверждать, что нужно все условия считать причинами, — но это верно лишь в применении к сочетанию аспектов на единичности, но никак не в аспектах закономерности, с другой стороны, стали говорить, что среди условий есть основная причина, которую нужно отличать от остальных условий, но это верно лишь в применении к аспектам закономерности, но никак не к сочетанию аспектов на единичности. Методологическая неясность запутала понятие конституции и придала ему схоластический и метафизический характер. Из абстрактного патологического аспекта закономерности не видно деления на наследуемые и приобретенные признаки, но это деление становится обзримым в иных аспектах. Поэтому открылась возможность понимать конституцию более широко и менее широко, т. е. включая приобретенные признаки и не включая приобретенных признаков. Но медицина относится к числу дисциплин, которые связаны с жизнью; им мало грозят схоластические сети. Медицина осознала, что этот спор является терминологическим, но, кажется, не осознала его истинной методологической природы. Она преодолевает возникшее затруднение введением новой терминологии, не содержащей в себе ни понятий причин ни понятий условий по отношению к болезням.

Сочетание аспектов на единичном бытии несколько иначе решает вопрос и о преобладании аспектов сравнительно друг с другом. Так как в этом случае речь идет о данном, ограниченном бытии, то количество объектов, включаемое в тот или другой аспект, уже не находится в поле зрения. Поэтому преобладание одного аспекта над другим в том смысле, что один из них охватывает большую массу реальности, исчезает. Но преобладание это возникает в ином виде. Если взять все тот же пример с урожаем, то мы увидим, что в конкретном случае урожай можно отнести «больше» за счет хорошей обработки земли, чем за счет метеорологических явлений. Но если мы говорим это, если признаем большее значение за одной причиной сравнительно с другой, то делаем это лишь потому, что признаем наличие некоторой «средней» величины для каждой из причин, и отнесение к одной из причин больше, чем к другой, выражает лишь отклонение от этой предполагаемой средней в положительную и отрицательную сторону. Если данный, этот урожай можно отнести больше за счет технической обработки земли, то это значит, что она, техническая обработка, была более высокой, чем это бывает «в среднем», а метеорологические явления были такими же, или даже менее благоприятны, чем в предполагаемом опять-таки — «среднем».

Таким образом, абстрактные обобщения не вовсе исчезли из нашего познания, когда мы обращаемся к конкретному случаю. Остается причинное соотношение, остается перспектива развития явления, остается «средняя» для данного типа явлений и остается «общее», которое впадает в противоречие с индивидуальным и сообщает диалектическое движение данному комплексу понятий.

Итак, в аспекте закономерности господствует последовательный монизм, точность и определенность категорий, развертывание реальной закономерности на многих объектах познания. В единичном сочетании аспектов—«кооперация» причин, свертывание рациональных аспектов в применении к одной реальности, диалектические переходы одного аспекта в другой.

Правда, представляется с первого взгляда, что в этом последнем случае, т.е. при единичном сочетании аспектов, все причины окончательно уравнины в правах. Но дело в том, что хотя познание единичного объекта отрывает его от других аналогичных объектов, но оно не отрывает его от той конкретной обстановки, в которой совершается это познание. Практическая связь с обстановкой выделяет одну из причин из ряда остальных и делает ее тем звеном, которое тянет за собой всю цепь.

Теперь, когда мы в основном наметили те методологические предпосылки, которые имеют значение для нашей проблемы, следует подвергнуть обозрению соотношение аспектов в биологических науках и социологических, и это составит содержание третьей главы предлагаемого очерка. Биологические и социологические аспекты имеют свои особенности и, между прочим, свои масштабы времени. Каждый в своей сфере не знает затруднений. Когда они сталкиваются на изучении человека, то человек становится объектом пограничным, а потому и спорным. Человек, как объект, в своих причинных отношениях связан со многими объектами, судьба которых не однородна. Одни из них имеют длительность на протяжении тысячелетий, напр., семья; другие—на протяжении миллионов лет, напр., соматические процессы; иные—столетия, напр., тот или другой социальный строй; иные—десятилетия и даже единичные годы, напр., форма классовых взаимоотношений. Пока этот объект, человек, объясняется теми или другими причинами без претензии на установление постоянной причинной связи, столкновения еще не видно. Но каждый аспект должен стать аспектом закономерности, каждый подвергается воздействию категории причинности. Категория причинности требует постоянства связи. Наш объект, человек, вынужден связаться с разнородными объектами не на один раз, не по тому или другому поводу. Нет. Он должен связать с ними свою судьбу, он должен быть спутником их жизни до гроба и вместе с ними прекратить свое бренное существование. Однако это для него оказывается чрезвычайно затруднительным, прямо-таки невозможным. Как может он, в самом деле, возникать, существовать и уничтожаться вместе со своими причинами, когда эти причины имеют неодинаковое существование во времени? Объект не может погибнуть совместно с одним из факторов его существования, потому что другой из факторов, с которым он также связан, имеет еще основание для дальнейшей жизни. Но он не может и остаться жить, ибо он связан с тем своим объектом, который погиб. Итак, положение объекта трудное, безысходное; он не может ни жить, ни умереть, он не может быть представлен им в форме постоянной связи с одной причиной, ни в форме постоянной связи с другой. Моральная сентенция усмотрит в этом подтверждение правила, что не следует связывать свою судьбу со многими объектами, но только с одним. Однако объект все-таки находит выход из создавшегося положения. Он должен погибнуть, он уничтожается, как цельный объект исследования, он прекращает свое

существование, но для того лишь, чтобы воскреснуть в новой форме. Он исчезает, как конкретный цельный объект, но он возрождается в своих частях. При переводе на аспект закономерности, предмет не как таковой является объектом науки, а в отдельных своих элементах. Сделавшись предметом исканий науки с точки зрения закономерности явлений, объект отрешается от конкретного бытия. Отныне он влачит дискретное существование.

Пути к разрешению проблемы.

Рациональные аспекты в теории наследственности будут для нас материалом, который, с одной стороны, даст иллюстрацию вообще развитию познания в аспектах, а с другой стороны, поведет нас к разрешению проблемы.

Как известно, открытие основных законов наследственности связано с научной деятельностью Грегора Менделя, который еще в 1865 году опубликовал свою работу о растительных гибридах (помесях). К сожалению, сделанные им открытия прошли незамеченными. Самые крупные умы, как, напр., Дарвин, вследствие этого бродили ощупью в темноте в таких вопросах, которые были разъяснены Менделем и которые должны были толкнуть мысль естествоиспытателей в новом направлении.

Тот аспект, в котором Мендель предпринимает свое исследование, должен быть рассмотрен тут же. Первоначальной опорой, чувственной данностью, обозримыми фактами являются для него не цитологические процессы, не жизнь клетки, а внешние формы, внешние признаки растений. Он начинает с феноменологии наследственности, с того, как проявляется наследственность, а не с ее сущности, начинает с результатов, а не с причин. Во-вторых, Мендель намеренно и сознательно отказывается от анализа наследственности разных признаков одновременно. Он выбирает одну деталь, он берет наследование в одном отношении, он, следовательно, дисперсирует объект, и этим открывает перед собой возможность найти числовое отношение, господствующее в наследственности. Он скромно замечает, что требуется известная решимость, чтобы принять на себя такую обширную работу. Как видно, его работа принесла благотворные результаты. Знаменательно, что другой талантливый исследователь того же вопроса—Морган начинает свою известную книгу с такого замечания: «Менделю удалось установить принцип расщепления, благодаря тому, что он упростил условия эксперимента таким образом, что в определенный момент имел дело только с одной деталью явления».

Итак, аспектом Менделя является такое изучение наследственности, где чувственно даны ее результаты, т.е. феноменология, и исследование производится по линии одной детали.

Мендель берет обыкновенное, распространеннейшее растение, садовый горох, *Pisum sativum*. Разновидности гороха отличаются друг от друга в некоторых отношениях. Тридцать четыре сорта гороха были подвергнуты двухлетнему испытанию для того, чтобы отобрать такие разновидности, которые постоянно воспроизводят наметенный признак, отличающий их от других разновидностей. Теперь задача заключалась в том, чтобы установить, как будут вести себя скрещенные формы. Мендель ведет исследование по

семи признакам раздельно, он скрещивает горох, производящий шаровидные семена, с горохом, производящим угловатые, горох с высоким стеблем и горох—с низким и т. д. Пыльца с высокого растения переносится на пестик низкорослого, на котором предварительно уничтожены пыльники. Из полученных семян выросло гибридное растение высокое, как один из родителей. Все экземпляры первого поколения являются высокими.

Но как гибриды будут вести себя далее? На этот раз они предоставлены самоопылению. Второе поколение, выросшее из полученных семян, уже не было однородным по признаку роста. В нем были и высокорослые и низкорослые представители, и в отношении, чрезвычайно близком к такому: 3:1 (По этому признаку было: 787 высоких и 277 низких). Это второе поколение предоставлено дальнейшему самоопылению. Тогда оно обнаруживает разнородность своего состава. Одна треть высокорослых оставляет после себя потомство только высокорослых, две трети высокорослых дают потомство как высоких, так и низкорослых, и опять в отношении трех к одному, т. е. на три высокорослых третьего поколения, происшедших из упомянутых двух третей высокой разнородности второго поколения, приходится одно низкорослое третьего поколения; что касается до низкорослых второго поколения, то оно дает только низкорослых и в третьем поколении. Дальнейшее самоопыление даст те же результаты. Высокорослые второго поколения дают во всех поколениях только высоких, низкорослые второго поколения дают низкорослых. Высокорослые третьего поколения опять разнородны: одна треть в дальнейшем будет давать только высоких, а две трети этих высоких дают потомство опять в отношении 3:1, как высоких, так и низкорослых.

Тогда Мендель переходит к скрещиванию разнородностей, отличающихся по двум признакам A, a и B, b , напр., высокий рост и низкий, шаровидные семена и угловатые. Гибрид первого поколения имеет внешний вид по признаку господствующему, доминирующему, хотя в нем и заключен признак рецессивный, отступающий, который проявится в следующих поколениях.

Хотя у родителя признак A был связан с признаком B , а у другого родителя признак a был вместе с признаком b , однако во втором поколении видно, что A свободно сочетается с b , а B —с a ,—и именно столько раз, сколько вообще возможно свободных комбинаций из этих двух пар признаков. Следовательно, каждый признак ведет себя самостоятельно, не связывая с другим своей участи. Поэтому методологическое дисцернирование по признакам, предпринятое Менделем, получило свое, так сказать, онтологическое подтверждение. Этот закон подвергся потом ограничению, но ограничение было возможно только потому, что методологически сначала было произведено дисцернирование.

Подкрепив это наблюдение скрещиванием разнородностей, отличающихся по трем признакам, Мендель переходит к объяснению этого явления. Факты даны. Они есть чувственно-данное. Теперь очередь за рациональным построением причин этого явления. Чисто рационально, не обращаясь к исследованию процессов в клетке, Мендель предлагает объяснение полученных отношений. Берем для простоты скрещивание по одному признаку.

Гибрид первого поколения Aa имеет половые клетки как отцовские, так и материнские. Предположим, что зрелые половые клетки гибрида существуют отдельно: те, которые имеют фактор материнского признака A , и те, которые несут в себе фактор отцовского признака a . При самоопылении гибрида, имеющиеся половые клетки (гаметы) с фактором A и клетки с фактором a вступают в связь с половыми клетками тоже A и a . Какие же возможны сочетания? AA, Aa, aA, aa .— $4!$ —будут высокорослые экземпляры, которые и впредь смогут давать высокое потомство, $2 Aa$, по виду тоже высокорослые, как и гибрид 1-го поколения, которые, в дальнейшем, при самоопылении, дадут опять те же комбинации; aa —низкорослый горох, который при самоопылении и впредь будет давать низкорослое потомство. Одинаково возможно сочетание любой из мужских гамет с любой из женских гамет. По внешнему виду (фенотипически) второе поколение дает отношение 3:1, а по половым клеткам, в нем заключенным (генотипически), отношение будет 1:2:1.

Различного типа гаметы вступают во все вероятные сочетания. Факторы, обусловившие материнские и отцовские признаки, содержатся в разных клетках, или разошлись по разным гаметам, но не в том смысле, что все отцовские отошли в одну клетку, а все материнские в другую, а в том смысле, что из каждой пары признаков (аллеломорфов) отцовский уходит в одну гамету, материнский—в другую, при чем другая пара признаков может распределиться в тех же самых гаметах с противоположным половым знаком. Позднейшее значительное ограничение этого принципа будет еще предметом обсуждения.

Построив гипотезу, Мендель переходит к проверке ее. Он скрещивает гибрид первого поколения с рецессивной родительской формой. В упрощенном виде $Aa \times a$. Комбинации возможны в этом случае Aa и aa , т. е. равное количество высокорослого и низкорослого гороха. Практика подтвердила истинность предположений Менделя. Мы увидим, что в дальнейшем рациональное построение заведет очень далеко, так далеко, что Морган рационально разъясняет, где именно в клетке находится фактор каждого признака, где локализован «ген» того или иного признака. Нам придется еще рассмотреть этот сложный процесс мысли, а пока мы только констатируем, что аспект менделизма—чувственно данные результаты и рационально построенные причины. И мы должны обратиться к другому аспекту того же явления, той же наследственности, где, наоборот, чувственно данные результаты, а рационально строятся результаты. Речь идет о цитологии наследственности, т. е. учения о наследственности со стороны процессов в клетках организма.

Учение о клетке начинается с очень скудного, бедного аспекта. В ядре клетки находится тончайшая сетка, называемая ахроматином. На этой сетке разбросаны зернышки другого вещества, называемого хроматином. Предполагается, что в хроматине следует искать объяснений всех особенностей наследственности; к хроматину прикованы взоры, можно сказать, всего биологического мира. Поэтому не безынтересно узнать: чем отличается хроматин от ахроматина? Прежде всего тем, что в предварительно умерщвленных; напр., спиртом, клетках хроматин сильно окрашивается некоторыми красками, напр., кармином, а ахро-

матин—нет. Потому-то хроматин и называется хроматином, а ахроматин, как неокрашивающийся, ахроматином. Как видим, первоначальное познание состава ядра взято в аспекте, несколько неожиданном для сущности жизни, оно взято в аспекте лабораторной техники. В протоплазме клетки должна быть отмечена здесь центрозома, округлый участок, с таинственной сияющей центриолой, зернышком, находящимся в центрозоме и делящимся на две расходящиеся центриолы в процессе деления клетки. Относительно центрозома не выяснено еще, в какой степени она является необходимой составной частью клетки, но выяснено, что ей принадлежит руководящая роль в процессе деления клетки.

Нам необходимо воспроизвести процесс деления клетки в возможно коротком изложении, именно непрямого, т. наз., кариокинетического, а потом редукционного. Ко времени деления клетки ядро несколько увеличивается в объеме. Хроматин, заключенный в ядре, начинает интенсивнее проявлять ту особенность, которая нам известна: он начинает сильнее окрашиваться. Он, хроматин, принимает вид клубка тонких нитей. Нити утолщаются, уплотняются и, наконец, распадаются на группу отдельных, отрезков, сегментов. Эти отрезки хроматина должны быть особенно удержаны в сознании. Они называются хромосомами. В дальнейшем цитологический аспект наследственности будет строиться на хромосомах. Итак, в ядре клетки становятся видимыми хромозомы. В протоплазме тоже совершается чрезвычайно интересный процесс. Находящаяся в центрозоме светящаяся центриоль делится на две центриолы. Обе центриолы начинают расходиться друг от друга, пока в шаровидной клетке они не займут положения двух таинственных лучистых полюсов клетки. Однако, когда они расходятся, между ними все время существует перемычка, связующие нити, которые принимают форму веретена. К этому времени ядерная оболочка исчезает. Хромозомы, заключенные доселе в ядре, оказываются лежащими в протоплазме клетки. Положение их строго определенное по отношению к полюсам—центриолам, а именно, они располагаются по экватору веретена. Ахроматиновые нити веретена, идущие от центриолей, прикрепляются к хромосомам. Каждая из хромозом расщепляется вдоль на две половинки. В каждой хромозоме одна из половинок прикрепляется нитью к одной центриоле, а другая половинка прикрепляется нитью к другой центриоле. И вот эти нити начинают сокращаться, центриолы как бы оттягивают к себе по половинке каждой хромозомы. Все тело клетки перетягивается в талии и начинает тоже делиться надвое в плоскости экватора веретена. Хромозомы отходят к полюсам, утрачивают отчетливость очертаний, вокруг них образуется новая ядерная оболочка,—и процесс деления клетки завершается. В результате каждая из образовавшихся клеток имеет столько же хромозом и такого же состава, как и их родительница. Это деление называется кариокинетическим. Ему подвержены в равной мере все клетки организма как соматические, так и половые. Однако эти последние, т.-е. половые, клетки два последних деления протоплазмы не так, проходя через так назыв. редукционное деление, о котором будет сейчас речь.

Обычным путем делящиеся и размножающиеся половые клетки носят названия—мужские—сперматогоний и—женские—оогоний. Пути развития сперматогоний и оогоний несколько различны, однако для нас это не имеет никакого значения. Важно то, что

все клетки данного организма, как соматические, так и половые, имеют, как правило, одинаковое количество хромозом, которое сохраняется механизмом кариокинетического деления. Так, у мушки *Drosophila melanogaster* восемь хромозом в каждой клетке, у лошадиной аскариды—две хромозомы (univalens) и четыре (bivalens), у человека насчитывается—сорок восемь и т. д. Для каждого вида характерно свое число хромозом, и оно остается постоянным для всех клеток данного организма. Но последние два деления половых клеток уменьшают число хромозом вдвое, так что в результате зрелые половые клетки содержат не по нормальному числу хромозом, а по уменьшенному вдвое. Эти два деления, в результате которых половые клетки теряют половину хромозом, называют редукционным делением.

Детали редукционного деления нас могут интересовать лишь постольку, поскольку они будут необходимы для характеристики цитологического аспекта наследственности. Сперматогонии (мужские половые клетки), совершающие редукционное деление, носят название сперматоцитов, и так как процесс редукционного деления состоит из двух делений, то мы имеем сначала деление сперматоцита 1-го порядка, а потом деление сперматоцита 2-го порядка, которое в конце концов дает сперматозоиды. Деление сперматоцита первого порядка очень напоминает обычное кариокинетическое деление: как и там, здесь к полюсам уходят центриолы, образуется веретено, и хромозомы располагаются в плоскости экватора веретена. Но при этом выступают и резкие особенности редукционного деления, из которых должны быть отмечены следующие. Прежде всего констатируется, что теперь к полюсам веретена отходят уже не половинки хромозом, как это было при кариокинетическом делении, а целые хромозомы, так что вновь образовавшиеся клетки (сперматоциты второго порядка) уже не несут в себе полного комплекта хромозом, а лишь половины их числа. Во-вторых, та стадия, когда хроматин принимает форму нитей, сначала тонких, потом утолщающихся, потом отрезков, сегментов, отдельных, т.-е. хромозом, стадия эта продолжительнее, чем в обыкновенном кариокинетическом делении, и во время этой стадии сходные, гомологичные хромозомы вступают в загадочные отношения: они сближаются, соприкасаются либо боками, либо концами, на время как будто сливаются, и создают впечатление, что количество хромозом уже уменьшилось вдвое (псевдоредукция), однако вновь расходятся и, как уже сказано, в конце концов, занимают положение у разных полюсов. В-третьих, хотя к полюсам отходят не половинки хромозом, а целые хромозомы, однако деление каждой на две половинки узкой щелью очень часто, особенно у животных, можно наблюдать, так что пара гомологичных хромозом образует группы из четырех половинок, группы, которые называются тетрадами. И, наконец, едва только заканчивается деление и образуются сперматоциты второго порядка, как тотчас же начинается новое деление, так что не всегда успевает образоваться ядерная оболочка. Вновь образуется веретено с полюсами, и хромозомы располагаются в плоскости экватора. На этот раз расходятся к полюсам не различные хромозомы, а различные половинки хромозом. Правда, оба деления не выяснены в полной мере. Но бесспорно то, что в результате процесса в сперматозоидах число хромозом редуцировано до половины числа. Что касается до созревания женских половых кле-

ток, яйцеклеток, то оно совершается несколько иначе. Так как яйцеклетка содержит в себе много питательного материала для будущего зародыша, то механизм приспособления сделал то, что ооцит первого порядка не делится на две равные части, а на одну большую, в которой с питательным материалом осталось половинное число хромосом и которая образует ооцит второго порядка, и на одну маленькую, в которую тоже перешла половина хромосом и только маленькая частица протоплазмы. Эта маленькая клетка к оплодотворению не способна и скоро погибает. Оставшийся ооцит второго порядка тотчас опять выделяет тельце, заключающее в себе по половинке каждой из оставшихся хромосом, и оставляет в себе в зрелой половой клетке опять-таки редуцированное число половинок.

Итак, сперматозоид и яйцеклетка оба имеют в себе половинное число хромосом. Когда произойдет оплодотворение и сперматозоид проникнет в яйцеклетку, то ядра их сольются, в результате чего оплодотворенная клетка опять будет иметь нормальное количество хромосом, характерное для данного биологического вида.

Но что же отсюда следует? Процессы, совершающиеся в клетке, есть чувственно-данное. Процессы эти, хотя и через микроскоп, но все-таки видимы. Отсюда начинаются рациональные построения.

Если половая клетка является единственным связующим звеном между отцовским и материнским организмом, то логически очевидно, что в ней надо искать объяснения наследственности. Если она, оплодотворенная половая клетка, имеет в составе своих хромосом половину от мужского родителя и половину от женского родителя, то это обстоятельство может объяснить, почему свойства родителей идут то по линии отцовской, то материнской наследственности. Если для каждого организма характерно постоянное число хромосом, то, очевидно, наличие всех хромосом необходимо причинно связать с данным видом. Если, далее, оказывается характерной и величина хромосом, то это подтверждает их значение. Далее, хотя яйцеклетка значительно превышает по величине сперматозоид, и сперматозоид не весь проникает в яйцеклетку, но ядра их, сливающиеся при оплодотворении, приблизительно одинаковой величины. Логически очевидно, что в содержимом ядре, т.е. хромосомах, следует искать носителей наследственности. Если еще удастся доказать и в чувственном опыте удостоверить, что мужские и женские хромосомы свободно расходятся по различным половым клеткам в разнообразных комбинациях, то это будет чувственной данностью того, что рационально предположил Мендель.

Но это, действительно, удалось показать! Исследовательница Карозере, работавшая над кузнечиками, у которых хромосомы, по своей величине, удобны для наблюдения, имела счастливую возможность доказать, что материнские и отцовские хромосомы, действительно, в различных свободных комбинациях распределяются по половым клеткам. Она имела дело с устойчивыми изменениями в величине, в форме и в способе прикрепления к нити веретена некоторых хромосом. И на большом числе сперматозондов этих кузнечиков она установила, что различные комбинации этих хромосом с всегда заметной половой хромосомой находятся приблизительно в равных количествах.

Итак, менделистический аспект наследственности и цитологический аспект ее отлично совпадают друг с другом! Но чем отличаются они друг от друга?—Различной комбинацией чувственно-данных и рациональных моментов исследования. И хотя учение о хромосомах и учение о наследственных признаках дополняют друг друга и гармонируют друг с другом, я все-таки не думаю защищать позицию генетиков-менделистов, утверждающих, что хромосомы—единственный носитель наследственности. Некоторый антагонизм, существующий между генетиками и цитологами, раньше более значительный, теперь смягченный, на мой взгляд, оправдывается тем, что возможны иные аспекты изучения. Если скрестить яблоню с горохом, то никакого потомства не получится, и потому можно думать, что, так сказать, вид вида поддерживается другими элементами клетки, и предполагать большее значение плазматической наследственности.

Нам нужно еще, однако, продлить погоню за аспектами в теории наследственности, ибо они представляют большой интерес. Прежде всего эти два аспекта счастливо скрестились на проблеме определения пола. От чего зависит мужской и женский пол? Генетики-менделисты подошли к этому вопросу со своей точки зрения. Обратив внимание на то, что по большей части число мужских и женских особей одинаково, они задались вопросом: когда с точки зрения менделизма, в потомстве бывает отношение 1:1?—Тогда, когда гибрид скрещивается с исходной чистой формой. Если гибрид Aa скрещивается с aa , то сочетания будут Aa и aa в отношении 1:1. Поэтому можно предположить, что кто-то, либо родитель, либо родительница представляют гетерозиготную (разнородную), нечистую форму, что яйцеклетки и сперматозоиды чем-то отличаются друг от друга, и при том так, что один элемент у них общий, а другой—нет. Однако генетики безбожно путались в этом вопросе, пока на помощь не подоспел цитологический аспект. Было установлено, что в половых клетках, действительно, есть отличающаяся от всех хромосом, гетерохромосома, половая хромосома, X —хромосома, которая решает дело. Если образцом будут для нас клопы (тип *Protenor* или типа *Lygaeus*) или мушка *Drosophila*, или сам человек, то оказывается, что женский организм имеет в клетках две таких x —хромосомы, а мужской организм одну плюс мелкая Y —хромосома (тип *Lygaeus*), либо просто одну X —хромосому (тип *Protenor*). После редукционного деления каждая яйцеклетка содержит, естественно, по одной из X —хромосом, а сперматозоид после редукционного деления, естественно, частью содержит, а частью не содержит X —хромосомы, потому что во время деления сперматоцита первого порядка единственная X —хромосома отошла в один из сперматоцитов второго порядка, а другой остался без оной. Во время оплодотворения одинаково возможен случай, чтобы в яйцеклетку с X —хромосомой попал сперматозоид, тоже содержащий X —хромосому, и тогда получается самка, или сперматозоид без X —хромосомы,—и тогда получается самец. В других случаях, гетерозиготна самка, а гомозиготен самец (тип ночной бабочки-пяденицы *Abaxas*).

Аспекты опять прекрасно совпали! Рациональная догадка подтвердилась чувственной данностью с другого конца. Отныне оба аспекта могут идти и, действительно, идут вместе. Дальнейшие рациональные изыскания строятся на основе обоих аспектов. Так как многие признаки, как показывает эксперимент, передаются

вместе с полом, то факторы этих признаков, «гены», очевидно, локализованы в половой хромозоме. Вообще установлено, что некоторые признаки, так сказать, сцеплены друг с другом и идут обыкновенно вместе. Это может быть объяснено тем, что соответствующие гены локализованы в одной хромозоме. Например, у *Drosophila* желтые крылья и белые глаза обычно появляются вместе, точно так же серые крылья и красные глаза появляются вместе. Очевидно, эти признаки локализованы каждая пара в одной хромозоме.

И вот начинается поучительная картина того, как объекты, взятые в большой массе, раскрывают и выявляют свой реальные, истинные отношения. Желтые крылья и белые глаза появляются вместе. Очевидно, они локализованы в одной хромозоме. Серые крылья и красные глаза тоже появляются вместе. Однако, если взять большое число их потомков, то обнаруживается, что существует постоянное число отклонений от этого правила, существует постоянное число случаев, когда желтые крылья сочетаются с красными глазами, а серые крылья с белыми глазами.

Чем может быть вызвано это явление? И какие следствия могут быть отсюда построены? Перекрест признаков может быть вызван перекрестом хромозом, обменом частей между ними. Этот обмен возможен в той стадии редукционного деления, когда хромозомы соединяются и как бы сливаются в одну. Чем гены цвета крыльев и цвета глаз ближе друг к другу, тем менее вероятности в том, чтобы этот обмен разлучил их. И чем они дальше друг от друга, тем больше вероятности в том, чтобы они были разлучены перекрестом хромозом. Поэтому на основании процента перекреста признаков можно, примерно, построить предположение, где в хромозоме расположен тот или другой ген.

Дальнейшая практика подтверждает такое предположение. Если сцепленные признаки—желтые крылья и белые глаза—расходятся в одном случае на сто, то показатель перекреста 1%. В действительности показатель перекреста между этими признаками—1,2%. Поэтому расстояние между ними обозначим через 1,2. Присоединим к этим признакам еще один, локализованный в той же хромозоме, ибо он обычно сцеплен с признаком «белые глаза», именно—«вилчатые крылья». Признак «вилчатые крылья» иногда расходится с признаком «белые глаза», именно перекрест здесь—3,5%. Поэтому расстояние между геном белых глаз и геном вилчатости обозначим тоже 3,5. Спрашивается теперь: в каком отношении признак вилчатости стоит к признаку первому, т.е. к желтым крыльям? Одно из двух: либо ген желтых крыльев расположен между геном белых глаз и геном вилчатости, т.е. ближе к вилчатости,—и тогда перекрест его с вилчатостью менее возможен и должен выразиться $3,5 - 1,2 = 2,3$, либо он расположен за геном белых глаз, дальше от гена вилчатости, с большей возможностью перекреста, и тогда его перекрест должен быть выражен $3,5 + 1,2 = 4,7$. Что же говорит практика?—Как раз 4,7!

Таким образом, с различными дополнительными соображениями и поправками, Моргану и его ученикам удалось установить линейное расположение генов и указать места генов во всех хромосомах. Сам Морган, излагая свою теорию, настаивает на том, что линейное расположение генов вытекает из фактов сцепления признаков, а не из учения о хромосомах, и не нуждается

в учении в хромосомах. Таково богатство рационального познания, созданного массовым выявлением объектов.

Хотя цитологический и феноменологический аспекты наследственности являются различными аспектами, однако они явно охватывают одну реальность, являясь двумя аспектами одного процесса. Поэтому длительность и распространенность объектов одного аспекта равна длительности и распространенности другого. Это соответствие в аспектах разрушается при переходе к изучению человека с точки зрения наследственности.

Изучение наследственности у человека, прежде всего, имеет и вообще много особенностей, затрудняющих его успехи. Во-первых, потомство человека малочисленно, и потому улавливать пропорцию отношений очень трудно; во-вторых, жизнь человека, быть может, хотя и коротка для исследователя, но слишком продолжительна для объектов исследования: исследователь не может наблюдать, напр., три поколения людей одно за другим; в-третьих, на людях не экспериментируют, согласно заданиям не случают, и хотя многие браки, как известно, совершаются по расчету, но таковым расчетом обычно является заинтересованность не в прогрессе генетической науки; в-четвертых, наследуемые признаки часто проявляются в позднем возрасте,—и потому еще более затрудняют исследование. Для уменьшения ошибок, связанных с указанными затруднениями, применяются статистические методы, базирующиеся на теории вероятности и представляющие большую сложность. Эти методы здесь не могут быть рассмотрены. Они в некоторой степени облегчают положение исследователя, но не могут помочь несколько в основной трудности вопроса, именно в своеобразном сочетании аспектов в изучении деятельности человека.

Нам придется оборвать на время нить изложения аспекта наследственности. Доведя его до человека, как объекта генетики, мы вступаем в отношения с иными аспектами этого объекта. Тогда возникает опасность проявления, так сказать, империалистических тенденций и проникновения на территорию других аспектов. Начинается борьба за объект науки. Подойдя к человеку, генетика, естественно, претендует на то, чтобы завладеть, как объектом, тем, что представляет в человеке наибольший интерес, его психической жизнью. Она приближается к психологической науке и начинает вести с ней предварительные—и обычно безуспешные—переговоры. Тогда возникает вопрос: что представляет собою психологическая наука, и в какой степени генетика должна с ней считаться?

То, как живет и действует человек, что он делает, чувствует, думает сам, что о нем думают другие,—все это рассматривается в разных аспектах. Я умышленно не называю весь этот сложный комплекс явлений ни психологией, ни рефлексологией, ни учением о поведении, ни учением о нервной деятельности и пр. Ибо каждое из этих названий есть понятие, а каждое из этих понятий есть свернутый аспект, и притом аспект, разворачивающийся в самостоятельную науку.

Ко всему комплексу явлений можно подойти с трех сторон, или изучать его в трех основных аспектах (или в четырех, если считать эклектику за отдельный аспект). Современная наука пытается овладеть своим предметом либо со стороны отношения между физическим и психическим, либо со стороны

доступных нам явных психических проявлений, либо со стороны физиолого-рефлексологической. Центральной проблемой является первая—проблема отношения психического и физического. Первостепенное, исключительное по важности значение этой проблемы прямо пропорционально первостепенному, исключительному по важности значению признания, что, как методологический исходный пункт для психологической науки, эта проблема совершенно непригодна.

Как методологически исходный пункт, ее породил Фейербах, но она же его убила. Проблема отношения психического и физического ни в коем случае не может быть разрешена силами психологической науки. Ей тесно в рамках этой дисциплины. По широте захваченных объектов эта проблема стоит во главе всех мировых проблем. Ведь это основной вопрос всякой философии. Он вырывается из рамок одной науки, отождествляясь с философским мировоззрением, спинозизмом, диалектическим материализмом и течениями идеалистической философии. Поскольку речь идет о философии, мы решительно и отчетливо противопоставляем субъективному объективному, познание бытию, мы создаем свободное от вульгаризации философское понятие материи, как объективной реальности, подчиненной причинной закономерности, диалектически познаваемой непосредственными и опосредствованными путями. Но найти конкретную сущность материи мы предоставляем диалектике наук. Научам же мы предоставляем решить вопрос, где начинается «ощущение», где начинается «одушевленность». Мы будем требовать от науки каузального метода, будем требовать устранения персонификации и антропоморфизма в учениях о природе. Но вопрос-то весь в том, какая наука даст ожидаемый ответ на проблему психического и физического. Когда это будет, вопрос уже другой. Думаю, что скоро. Лет через пятнадцать—двадцать мы будем свидетелями того, как из физиологической лаборатории распространится знание об искусственно-создаваемом живом веществе. Величайшим завоеванием науки будет, бесспорно, проникновение в этот кардинальнейший вопрос познания. Но пока он не разрешен, величайшим завоеванием психологической науки является каждый шаг, который ведет по пути изучения тех самых явлений, которые требовали для своего объяснения разрешения этой основной проблемы, другими методами, минуя центральную проблему, которая, очевидно, тем более является источником путаницы, чем важнее ее разрешение. Мы скоро рассмотрим, как этого достигает, напр., Павлов. Явление жизни живого существа, явление, которое требовало для своего объяснения привлечения психологического материала, вот такое явление Павлов изучает своими особыми методами и устанавливает закономерность его на внешних, объективных, поддающихся наблюдению фактах.

И мы скоро увидим, как этого достигает, напр., Фрейд. То явления психической жизни, которые упираются в жизнь всего организма, которые для своего объяснения требовали изучения «материального субстрата» психики, эти явления Фрейд изучает, минуя спорный и запутанный участок знания. И он имеет возможность это сделать только потому, что подлежащий изучению психический материал зафиксирован во внешних фактах, главным

образом, в словах. Слова для науки—вполне объективный материал.

Точно так же с идеологией. Поскольку она объективирована во внешних фактах, особенно словах, постольку она вполне точный, достоверный, «объективный» предмет науки. Филологии давно уже не пристало оспаривать свое звание науки. По точности и кропотливости научного исследования она является образцом для многих других наук. Она даже является мишенью для иронических нападок со стороны представителей иных дисциплин, — именно за эту сторону (при чем в числе причин не отсутствует и простая зависть).

Но аспект Павлова развивается снизу, тогда как психологический аспект идет сверху. Это значит, что аспект Павлова исходит от простейших рефлексов и идет по пути усложнения, преемственно, без перерывов строя законосообразную картину жизни организма. Наоборот, психологический аспект и социологический в применении к идеологиям имеет первоначальным предметом психику сложную и объективированную, т.е. обобществленную, и идет вглубь, к сущности. Явным предметом для психологического метода является наличие словесного или иного объективного материала, с которым связана психика. И потому проникнуть в центральную проблему отношения психического и физического ему, этому аспекту, не суждено. И аспект Павлова тоже не может разрешить проблему отношения психического и физического, по той простой причине, что его задача миновать ее.

Разрыв между обоими методами неизбежен, они никогда не смогут слиться, если только каждый захочет оставаться самим собой. Наше изучение человека движется методом, подобным полету аэроплана. Он мчится по земле—до известного предела, потом начинает отделяться от нее, оставлять ее под собою, теряя с ней непосредственную связь.

Следует теперь рассмотреть в самых кратких чертах особенности этих аспектов.

Как известно, главной особенностью метода Павлова является последовательный объективизм. Неоднократно указывая на то, что он не отрицает фактов сознания и даже отношения сознательного и бессознательного, Павлов решительно вытравливает из методов изучения животных категории психологические, субъективные, телеологические. Отдельные методологические ошибки Павлова («рефлекс цели» — просто субъективная категория, «рефлекс свободы» — не дисцернированная категория, «исследовательский рефлекс» — тоже недостаточно дисцернированная категория) не должны здесь останавливать на себе нашего внимания. Павлов подходит к жизни организма точно так же в методологическом отношении, как к мертвой материи. Он хочет иметь дело только с объективными, количественно-измеримыми, допускающими критерий повторяемости внешними фактами, — и успешно осуществляет свое намерение.

Второй не менее важной особенностью его метода является последовательный дискреционизм. Это значит, что хотя Павлов неоднократно указывает на жизнь организма в целом, как уравновешенной системы, он все же объектом изучения делает один определенный рефлекс, изучая по всем направлениям условия его возникновения и уничтожения, отказываясь от изучения всех рефлексов сразу, не создавая из своего учения системы. Ибо

нельзя изучать закономерность явления, не дисперсировав его на элементы. И хотя Павлов об этой особенности говорит мало, но об этом свидетельствуют лучше слов самые факты. Двадцать пять лет Павлов изучает рефлексы слюнной железы. На слюнной железе держится этот новый гениальный метод изучения поведения. Конечно, изучение иных рефлексов теперь становится гораздо легче, и многие законы, установленные изучением деятельности слюнной железы, охватывают по объему деятельность всего организма. Но как метод изучения, как познавательный процесс, метод Павлова характеризуется дискреционизмом, обусловившим его успехи.

Третьей особенностью учения Павлова является выбор специфического аспекта, т. е. специфического, особенного отношения между чувственно данными и рациональными моментами. И этот вопрос имеет первостепенное значение как для характеристики школы Павлова, так и для характеристики отношения этой школы к другим направлениям. Сам Павлов постоянно говорит о том, что он придерживается физиологической точки зрения, что он — физиолог, и предметом его исследования является физиология больших полушарий головного мозга. Однако мы легко убедимся в том, что физиологические процессы вовсе не являются непосредственным объектом изучения, но что они, физиологические процессы, обнаруживают себя в аспекте Павлова исключительно рационально, опосредствованно, как мыслительно построенные причины тех чувственных данных, которые находятся как раз вне сферы больших полушарий. Это обстоятельство имеет чрезвычайно большое значение, к сожалению, не оцененное в должной мере. И мы должны остановиться на этом вопросе.

Итак, какая чувственная данность характеризует аспект Павлова? Пищевые рефлексы и раздражители. Рассмотрим их ближе. Во рту собак, подвергающихся исследованию, вырезывается операционным путем кусочек слизистой оболочки вокруг слюнного протока, трубочка отпрепаровывается несколько в глубину, и конец протока выводится наружу через прорез в щеке и здесь пришивается. В результате операции слюна собаки течет не в рот, а по щеке, вследствие чего становится доступной точному наблюдению и числовому измерению. Это одна чувственная данность. Обстановка, состоящая из определенных условий для эксперимента, нас здесь не интересует, потому что она не является содержанием аспекта. Вторая чувственная данность есть световые, звуковые, температурные и пр. явления, которые приводят в связь с пищей, кислотой и проч. веществами, играющим роль в жизни собаки. Течение слюны рассматривается не просто как течение слюны, а как рефлекс, как причинно обусловленная реакция организма на внешние условия. Это рациональное понятие, рефлекс, разворачивается в аспект, вследствие чего световые, звуковые и проч. явления выступают не просто, как световые, звуковые и пр. явления, а как раздражители (2-й полукдисперсирования). Как в каждом монистическом аспекте, неразделенном эклектикой, не прерванном субъективным стремлением поскорее создать «систему», теперь должно следовать рациональное сопоставление этих чувственных данных в их неопределенно длительном чередовании, а далее должно начаться рациональное построение выводов из этого рационального сопоставления.

Собаке дают есть, и у нее течет слюна. Это рефлекс, простой, необходимый, врожденный рефлекс. Теперь оказывается, что если некоторое число раз перед едой воздействовать на слуховой аппарат собаки каким-либо раздражителем, напр., ударами метронома в определенном темпе, то в результате уже одни звуки метронома вызывают появление слюны. Слюна течет так, как будто собаке дали пищу. Раздражителем является метроном. Но он не сам по себе имеет способность вызывать течение слюны, но получает эту способность при известных условиях. Поэтому метроном есть условный раздражитель, а течение слюны в этом случае есть условный рефлекс. Если бы все явление изучалось в психологическом аспекте, то пришлось бы построить предположение, что собака помнит о связи метронома с пищей и гонит слюну в ожидании пищи. Это сделало бы весь аспект шатким и ненаучным. Павлов избегает таких предположений. Закономерность явления, толкуемого обычно психологично, он констатирует чисто объективным путем.

На мой взгляд, чрезвычайно важно установить, что если бы Павлов не шел далее, если бы ограничивался подобными экспериментами, не увеличивая их числа упорно в одном направлении, чтобы получить возможность судить о мозговых процессах, — то и в этом случае его изучение условных рефлексов было бы большим достижением. Много рефлексологов, действительно, останавливается на этой ступени, не замечая как будто кардинального различия в способах исследования. Мозговые процессы привлекаются ими совсем из другого, чисто физиологического аспекта. Но Павлов, как сказано, не спешит к «системе». Он продолжает исследование одной реакции и получает в результате огромный материал для рационального сопоставления. Впрочем, первые объяснения полученных соотношений не многим отличаются от обычных физиологических. Звуковой раздражитель приводит в действие слуховой аппарат собаки, и дальше раздражение по слуховому нерву идет в центральную нервную систему, где оно перебрасывается на нервы, идущие к слюнной железе и возбуждающие ее к работе. В больших полушариях образуются новые связи, происходит замыкание нервных путей, — и эти процессы являются рационально построенными причинами образования условных рефлексов. Опытов проделано много. Объяснение их указывает на процессы в мозгу, которые не только не являются непосредственно данными, но по отношению к которым и рационально затруднительно указать их пространственное положение. Павлов сам задается вопросом о том, где происходит замыкание: исключительно ли в коре больших полушарий, или при участии ниже лежащих частей головного мозга? И он отвечает, что мыслимы обе возможности.

Дальнейшее сопоставление чувственно данных приводит к учению о торможении, которое тоже носит исключительно рациональный характер. В самом опыте есть определенный порядок в раздражителях и течение слюны. Если, напр., каждые две минуты производить раздражение метрономом, на которое выработан пищевой рефлекс, и не подкреплять этот условный раздражитель подкармливанием животного, то постепенно количество слюны уменьшается, а количество времени от начала ударов до появления слюны («латентный период») удлиняется. В начале опыта количество слюны за полминуты 10 капель, и латентный период три

секунды, в конце опыта, на седьмой раз, количество капель 3, а латентный период 13 секунд. Но это не есть простое ослабление действия условного раздражителя. Из других опытов становится ясно, что не только угасает условный рефлекс, но что соответствующий условный раздражитель производит, так сказать, гасящее действие и на другие рефлексы, и, как оказывается в дальнейшем, в известном смысле даже не безусловные рефлексы. Следовательно, это есть активное торможение, которое, на ряду с раздражением, становится основным мозговым процессом. Понятие торможения, таким образом, не дано в самом опыте, а рационально строится на определенных чувственно данных фактах.

Тот же аспект Павлова, разворачивание познания по линии однородных фактов, дает далее вполне объективное объяснение аналитической и синтетической работы больших полушарий. Приведу пример. Собака реагирует выделением слюны на определенный тон какого-либо тембра. Этот условный рефлекс постоянно подкрепляется подкармливанием. Первоначально она так же реагирует на звук $1/8$ тона ниже, но так как этот последний рефлекс систематически не подкрепляется, то собака, реагируя на тон, перестает реагировать на звук $1/8$ тона ниже. Следовательно, первоначально она обобщает раздражение от тона и $1/8$ тона, а потом дифференцирует их. Эта дифференцировка точно и объективно, количественно—измеримо устанавливается на чувственно-данных фактах. Таких опытов предельно неопределенно много, и носят они чрезвычайно разнообразный характер. Ясно, что они, действительно, проливают свет на мозговые процессы. Опять-таки надо вспомнить, что мозговые процессы познаются в этом аспекте косвенно, рационально. Но теперь уже одного этого указания мало. Необходимо понять, что если мозговые процессы в этом аспекте познаются рационально, то они и не охватываются целиком, а только в определенном отношении, в отношении к раздражителям.

Критика, направленная против Павлова за эту «односторонность», лишена всякого основания и убедительности. Сторонники Корнилова обвиняют Павлова в том, что он не берет реакцию в целом. Они как будто печалются, что Павлов не такой же эклектик, как они, и упрекают его в том, что он игнорирует роль психики в реакциях. Да никакой психики не видно, не должно быть и не может быть видно в аспекте Павлова! Психики не видно точно так же, как не видно и физико-химических процессов в нервной системе.—и опять-таки не должно быть видно в этом аспекте, что отлично сознает, указывая на это, сам Павлов. Критика в этом пункте есть результат недостаточного понимания методологических принципов исследования, недостаточного понимания познавательного процесса.

Точно такими же методами в дальнейшем Павлов приходит к учению об иррадиации и концентрации нервных процессов, к учению о снe, как полном торможении, о гипнозе, как торможении частичном и т. д. Наше внимание обращает на себя учение о неврозах у собак. — учение, которое поставлено на такую же экспериментальную объективную базу. Над человеком не экспериментируют и искусственно неврозов не создают. Собачьи неврозы представляют для науки тем больший интерес, что человеческая мораль разрешает игнорировать как ценность собаки жизни вообще, так и ценность душевного равновесия собаки в

частности. Невроз собаки создается сочетанием тормозных и раздражительных процессов одинаковой интенсивности. При этом обнаруживается, что у некоторых собак неврозы излечиваются бромистым кальцием, а у других бром не помогает, собака или восстанавливает свое равновесие отдыхом, или остается навсегда инвалидом. Павлов переходит к типам нервной системы у собак, к тому, что обычно называется темпераментом.

В 22-й (предпоследней) лекции своей «Работы больших полушарий головного мозга» Павлов говорит: «При научном изучении жизненных явлений есть несколько плоскостей, на которых можно вести это изучение. Можно иметь в виду непременно физико-химическую основу жизненных явлений и методами физики и химии анализировать элементарное жизненное явление. Дальше, считаясь как с фактом с эволюцией живого вещества, можно стараться свести деятельность сложных конструкций живого вещества на свойства элементарных форм его. Наконец, охватывая деятельность сложных конструкций во всем их действительном объеме, можно отыскивать строгие правила этой деятельности, или, что то же, констатировать все те условия, которые точно определяют течение деятельности во всех ее моментах и вариациях. Плоскость, на которой мы стояли в описанном исследовании, есть, очевидно, последняя плоскость. На этой плоскости наше внимание не занимал вопрос о том, что такое раздражение и торможение в их последнем глубоком основании». И далее: «Мы не ставили себе задачей деятельность полушарий свести на элементарные свойства нервной ткани, как они установлены для нервного волокна. Мы даже не останавливались подробно на вопросе о возможном размещении двух основных явлений этой деятельности раздражения и торможения—по двум элементам нашей конструкции: нервным клеткам и соединительным пунктам или путям между нервными клетками, удовлетворяясь временным предположением, что то и другое суть функции нервных клеток».

Это место из лекции Павлова, в котором он дает заключительную характеристику своих достижений, приведена для того, чтобы показать, что Павлов сознательно и намеренно ограничивает свое исследование одним аспектом («плоскостью»), что он не претендует на всесторонний охват явления, не смешивает одного аспекта деятельности больших полушарий с самою деятельностью, как наличной данностью.

И прежде, чем перейти к вопросу о том, что может извлечь для себя из рефлексологии, как она представлена у Павлова, генетика, следует установить, что аспект Павлова не может решить вопрос о возникновении психики. Это следует с достаточной ясностью из характеристики всего аспекта.

Однако, не все рефлексологические построения тождественны с аспектом Павлова. Возможен аспект такой, в котором сопоставляются психологические, субъективные состояния с физиологическими данными. Так, субъективные, психологические явления переводятся на аспекты—учение об эндокринных железах, о нервной системе, учение Павлова. Познавательный процесс в этом случае заключается в том, что прокладывается путь между двумя аспектами, субъективным и объективным. Это не есть разворачивание реальности в одном аспекте, которое обнаруживает скрытую закономерность явлений. Это есть перевод с одного

аспекта на другой, более совершенный, более точный. Так, напр., любовь в таком построении объясняется из поступления в кровь особых гормонов, связанных с вегетативной нервной системой, создающей ваготоническую реакцию, чередующуюся с симпатикотонической. Такое сведение аспектов не лишено большого интереса, но оно заключает в себе большие опасности, которые едва ли удастся кому миновать. Дело в том, что, как уже упоминалось, сводить аспекты можно и нужно только на данном, конкретном случае. Конкретный случай, реальный факт, обнаруживает много отношений, на которых видно, что возможны различные объяснения данного явления. Когда же данного, реального факта налицо нет, то возникает неизбежная иллюзия, что абстрактное явление объяснено единственно возможным способом. В данном случае, при объяснении любви, беда еще не столь велика, хотя и здесь остается неудовлетворенным вполне уместное любопытство: с кем же именно нужно встретиться, чтобы эти решающие дело гормоны поступили в кровь и произвели свое роковое действие? Однако действительно ложные выводы получаются в том случае, когда подобное сведение аспектов совершается на явлениях, уводящих в социологические аспекты. Бесспорно, что в религиозных настроениях нервная система функционирует определенным способом. Она функционирует и при проявлении серьезной привязанности и — частной собственности. Эту привязанность можно понимать, как условный рефлекс. Но когда собственность сводится к рефлексам и гормонам и когда возникает иллюзия, что возникновение собственности или религии имеет свое единственное объяснение в физиологии человека, то ошибка становится достаточно вредной. Смещение аспектов характерно для учебников психологической науки, где кое-что сообщено о наследственности, кое-что о конституциях, немного о Павлове, несколько больше о Бехтерева, и, наконец, порядочная доза из старой психологии. Такие построения, на мой взгляд, совершенно закрывают для читателя особенности познавательного процесса.

Мы должны еще остановиться на учении Фрейда, а потом вернуться к наследственности и к сопоставлению аспектов.

Я не буду здесь излагать учение Фрейда, так как считаю его достаточно известным. Но я считаю необходимым показать, в чем заключается основа психоаналитической теории, как аспекта. Необходимо отделить производное, второстепенное, обусловленное, дополнительное от исходного, первостепенного, первичного, основного. Необходимо доказать, что является исходным пунктом психоанализа, как научной теории, как практического метода лечения психоневрозов, как индивидуальной психологии и как социологических концепций. Таким исходным пунктом является один чувственно-данный для индивида факт: существование «бессознательного» самого по себе, не существование «сознательного», самого по себе, не рациональные догадки о «бессознательном», а непосредственное осознание бессознательного, превращение бессознательного, как рационального, в чувственную данность, рождение нового чувственного объекта или возникновение нового отношения индивидуального сознания к своему объекту. Решающим является тот момент, когда человек начинает непосредственно видеть ранее вытесненный мотив, когда новая реальность делается доступной его непосредственному, не-рациональному наблюдению.

дению. Вытесненный мотив, вытесненное влечение, или желание, — поскольку оно направлено на определенный объект, — вытесненная «эмоция», — где они? Их как будто нет. Но существовать это не значит быть воспринятым. Такова истина не только в отношении к материальному миру. Такова же истина для само-наблюдения.

Бок-о-бок с вашим сознанием существуют, живут и действуют силы, о которых вы ничего не знаете. Я могу вам указать на них, я могу вам сообщить, что, по моим наблюдениям, вы тайно от себя хотите... попасть под паровоз. Если вы верите мне, вы, быть может, согласитесь, вежливо улыбаясь, что это, действительно, так. Но такое ваше признание не стоит ровно ничего. Оно ничего не дает ни для лечения психоневроза, ни для развития науки. Но вы можете ответить иначе. Вы можете иронически высмеять мое предположение, вопреки его истинности, можете пространно раскритиковать произвольные догадки психоанализа с видом уверенным и вполне самодовольным. Такой ваш ответ тоже не внесет ничего нового, кроме разве моего убеждения в том, что вы недалекий и ограниченный человек. Вы можете ответить еще иначе. Вы можете со странным раздражением и досадой отбросить мое предположение и наговорить мне притом много дерзостей. Такой ответ уже дает, бесспорно, кое-что. Он дает надежду, что мне удастся привлечь ваше внимание к вашему раздражению, что мне удастся сделать ваше собственное раздражение чувственной данностью для вашего сознания, что мне удастся представить вам для ознакомления новый объект, который послужит хорошим началом для последующего действия. Но действительное, истинное начало заключается не в этом. Необходимо для психоанализа, как известно, чтобы вы сами, по возможности самостоятельно, нашли в себе, непосредственно ощутили рационально предполагаемое влечение, — в данном случае — желание попасть под паровоз, чтобы это желание сделалось непосредственной чувственной данностью для вас. Где оно было раньше? С вами, может быть, часто случается, что вы не можете найти нужного предмета, который лежит перед вами, наконец, находите и удивляетесь, почему вы его не замечали раньше. Почему не замечали, это другой вопрос, почему не хотели познать желания, — это, теперь стоит для нас в стороне. Важно лишь то, что произошло нечто значительное, новое. Вы охватили чувственно то, о чем раньше или вовсе не знали или знали рационально.

Тогда начинается новая история. Этот момент является праздником для психоаналитика, для вас он является началом освобождения от невроза, а для психоаналитической теории этот момент является исходным пунктом. Новые чувственные данности сделались объектом наблюдения, — и мы приветствуем появление новой науки, нового аспекта познания.

Для психоаналитика это не есть чувственная данность. Она опосредствована через слова и движения. Но опосредствование здесь узкое, тесное, близкое, и состояние объекта есть, так сказать, получувственная данность. Как бы то ни было, аспект Фрейда разворачивается на таких «получувственных» данностях. Такие «получувственные» данности заключены в жизни отдельного индивида. Психика индивида разворачивается длинной лентой, которая перед исследователем открывает превращения

бессознательного в сознательное. Строго говоря, каждый индивид в отдельности есть особый аспект. Ибо, если Фрейд и составляет полученные выводы на разных людях, если он и обобщает свои наблюдения, то не постольку, поскольку есть реальная связь между индивидами-объектами, а постольку, поскольку устанавливается связь логическая, в мышлении исследователя. Когда же фрейдизм переходит к иным объектам, когда переносит свои выводы на группы людей, на произведения искусства, на религию и пр., то он попадает в чужой аспект, искажает и засоряет его и вместе с тем губит свой собственный. Произведение искусства есть новая чувственная данность, точно так же, как и религия, или как группа. Теперь отношения между индивидами уже не есть логическое отношение, а отношение реальное. В новый аспект входит уже не тот или иной индивид, а много индивидов. Чувственная данность уже не та, и прежние чувственные (или «получувственные») данности исчезли. Одним словом, это — новый аспект, который требует своих соотношений чувственных и рациональных моментов и который, поскольку он есть аспект закономерности, должен проявлять нетерпимость и не допускать вторжения в свои пределы иных аспектов.

Таким образом различие индивидуальной и социальной психологии заключается не в том, что психика индивида, как объекта индивидуальной психологии, имеет не то содержание, что психика класса, группы, массы. Это было бы невозможно, так как общество состоит из людей. Нет, различие индивидуальной и социальной психологии заключается в том, что психика людей различно дисцернируется, — один раз в отношении процессов, происходящих в одном индивиде, а другой раз в отношении к общественному бытию.

Пока Фрейд находится в аспекте индивидуальной психологии, он идет по пути дискреционизма не только потому, что сознательно и намеренно рассматривает явления с одной стороны, хотя и утверждает преобладающее значение другой стороны, физиологической, — но и потому, что внутри этого аспекта Фрейд порывает с точкой зрения личности, как целого. Его не интересует и не может интересовать индивид, как целое, как система, и то или иное психическое состояние он рассматривает не постольку, поскольку он есть часть психики, как целого, а постольку, поскольку оно, это психическое состояние, является для него самостоятельным объектом, требующим рассмотрения и других психических состояний по существующей реальной связи между ними. Именно это дает ему возможность делать свои удивительные открытия, потому что Фрейд преследует объект своего внимания в неопределенно длинном ряде его превращений и зависимостей; он гонится за ним по пятам, пока в конце концов не достигнет и не разоблачит его скрытую сущность.

Наоборот, когда он переходит границу своего аспекта и попадает в социологические аспекты, он лишает себя возможности истинного исследования явлений. Теперь цель исследования уже не впереди, а позади, теперь его задачей является не отыскание скрытой сущности и закономерности, а применение полученных в своем аспекте данных к новым явлениям. Но когда изучение явлений строится на данных другого аспекта, то, как мы видели на примере с рефлексологией, жизнь этих явлений представляется обусловленными фактами этого первичного аспекта. В то

время как они имеют совсем иное существование во времени и совсем иные реальные отношения.

Старая психология была лишена дискреционизма. Она не шла дальше анализа. Точка зрения личности, как целого, была для нее обручем, который она добровольно надевала на свои ноги, чтобы не иметь возможности продвигаться вперед. В самом деле: она разлагала психологию человека на элементы (психология познания, чувства, воли, физиология и пр.), как частей целого. В лучшем случае она брала для исследования какой-либо один из отделов психологии, психологию памяти, внимания, интереса. Но она не брала одно какое-либо чувственно-данное явление психики, чтобы по реальным связям, от него уходящим, обнаружить его истинную природу.

Обращает на себя внимание, что старая психология особенно охотно изучала психологию познания. Но понятие познания есть отношение к объекту. За познавательными идеями есть объект их. Поэтому скрытой сущности познания нельзя найти в таком аспекте. Точка зрения личности и интерес к проблемам познания в старой психологии заставляет призадуматься над ее ролью. Если при точке зрения целого нельзя понять сущности явления, то и наоборот, когда не хотят проникнуть в сущность явления, то стоят на точке зрения целого. Не потому ли старая психология стояла на точке зрения целой личности, что она, скованная идеалистическими предрассудками, боялась проникнуть в сущность человеческой психики?..

А теперь обратимся к вопросу об отношении этих аспектов к генетическому.

Один естествовед, объясняя студентам законы наследственности и подчеркивая загадочность этого процесса, воскликнул, указывая на зародыш: «Где в этом зародыше любовь к огурцам?» Но, строго говоря, так как любовь к огурцам предполагает наличие огурцов, то следовало бы также и спросить: «Где в этом зародыше огурцы?» Огурцы в данном случае относятся к среде. И если бы мы стали изучать наследование любви к огурцам, то огурец, как фактор среды, не мог бы прийти к средней величине и сделаться рационально неуловимым понятием. Этого бы не могло случиться потому, что огурец здесь являлся бы исходной чувственной данностью, ибо без огурцов любовь к огурцам неуловима. И вот аспект изучения наследственности включил бы в себя чувственную данность, чуждую этому аспекту, но и неустранимую. Но аспект подхватывается категориями постоянства, всеобъемлющей вневременности. Наследуемая любовь к огурцам должна быть рассмотрена *sub specie aeternitatis* или, вернее, *sub specie universalitatis*. Такое рассмотрение становится явным насилием над огурцами, ибо их бытие вовсе не адекватно бытию человека. Пока рассматривается тот или другой случай наследования любви к огурцам или — при помощи другого аспекта — положительного рефлекса на огурцы, то затруднений нет. Но *sub specie universalitatis* — угол зрения вселенной, всеобщности, абсолютности — эта точка зрения ставит огурцы в такое отношение к человеку, которого они выдержать не могут. Отсюда следует, что огурец в таком случае должен быть дисцернирован. Он должен быть представлен в таком понятии, которое имело бы адекватное по бытию применение сравнительно с наследственностью. Очевидно, таким понятием может быть, напр., понятие определенного раздражи-

теля, если помощь придет со стороны рефлексологии, или понятие о каком-либо определенном составе крови, если помощи ужده-но притти из физиологии. Но это не может быть любой Павлов-ский раздражитель. В данном случае необходимо показать, чем этот раздражитель отличается от других и, наоборот, какой из других может его заменить, вследствие чего можно было бы выработать общее понятие, адекватное наследственности. Таким образом, если мы хотим такое-то отношение к огурцам поставить в постоянное причинное отношение к наследственности, то необходимо предварительное развитие иного аспекта, который в состоянии представить эту чувственную данность в понятие, адекватное наследственности. Этот принцип, к сожалению, постоянно нарушается. Причинное отношение, действительно, берется под углом зрения закономерности, но посторонний чувственный объект не дисципнируется, вследствие чего он преобладает существование ложное, не соответствующее действительному положению вещей.

На основании этих принципов можно подвергнуть критике применение наследственности к изучению психики человека. Мы видели, что в аспекте Павлова чувственной данностью является рефлекс на внешний раздражитель. Мозговые процессы в нем строятся рационально; они лишь намечаются. Но включить в аспект наследственности можно лишь то, что относится к процессам, происходящим в самом организме. Следовательно, если включить в аспект наследственности мозговые процессы, исследованные Павловым, то объект исследования не будет дан непосредственно. Но генетические причины наследственности, факторы, гены, как мы видели, тоже даны рационально. Поэтому аспект изучения психики человека в этом случае характеризуется тем, что и причины и следствия даны не чувственно, а рационально, не непосредственно, а опосредованно, они даны косвенно, или, вернее, не даны, а лишь указаны в одном отношении. Если в аспекте причины даны чувственно, то следствия можно строить рационально; если следствия даны чувственно, то можно строить причины рационально. Но каковы перспективы науки, когда и причины и следствия даны рационально?

Было бы глубокой ошибкой давать на этот вопрос целиком пессимистический ответ, было бы глубокой ошибкой отказывать генетической науке, применительно к психике человека, в праве на развитие и совершенствование. Но не менее глубокой ошибкой было бы закрывать глаза на трудности, обусловленные именно этим сочетанием моментов аспекта.

Или представим себе, что генетическая наука обращается к фрейдизму за помощью при переходе на психические явления.

Но аспект фрейдизма нам показывает, что и здесь генетика не может найти для себя чувственной опоры. В самом деле: чувственной данностью здесь является осознание бессознательного. Но и сознательное и бессознательное в своих отношениях уводят мысль в сторону социальной среды, след. не в генетический, а социологический аспект. Единственно, что могло бы перейти в сферу генетики, это—способность организма противостоять конфликтам бессознательного и сознательного. Но таковая способность организма не дана чувственно в аспекте фрейдизма, а может быть сконструирована опять-таки рационально. И в этом случае мы наталкиваемся на то же затруднение, что и раньше, т.е. тогда, когда пытались найти опору в рефлексологии.

Исследование попадает в затруднение, подобное тому, какое мы видели в социологической науке в задаче № 1 о Ленине. Но теперь в такое затруднение попадает генетика. Она попадает в положение Одиссея, которого с одной стороны может захватить многоголовая Сцилла, а с другой стороны—зияющий зев Харибды. Так как исследованию предстоит тяжелый путь изучения косвенных, рациональных фактов, то оно может спуститься с опасной высоты и попасть либо в руки эклектики, либо в руки одно-сторонности. Ибо первое проявление слабости мысли есть утрата рациональной категории всеобщности и закономерности. Утратив такую категорию, мышление оседает на отдельных фактах и либо растворяется в эклектическом методе, либо односторонне под-ходит к единичному факту. Итак, исследователя ждет либо много-головая Сцилла эклектики, либо мертвая пустота Харибды одно-сторонности. Одиссеей спасся от Харибды, ухватившись за смоков-ницу над нею. Исследование может спастись от односторонности, если оно не упускает категории всеобщности.

Опасности генетического изучения психики человека оче-видны. Среди черт характера или особенностей психики в класси-фикациях фигурирует, напр., религиозность. Но включать религиозность в биологический аспект есть вопиющее проявление робинзоны. О практической вредности такого включения я здесь не говорю. Поскольку религиозность есть содержание психики, она через идеи, через развитие человека, через отношения между людьми уводит в социологический аспект. Эта категория имеет существование, не адекватное в пространстве и времени объектам генетического аспекта. Поэтому религиозность, как таковую, де-лать объектом изучения с точки зрения наследственности, бес-спорно, нельзя. Если социальный ряд будет принят во внимание, то исследователя поглотит Сцилла эклектики, и закономерности найти будет нельзя. Если социальный ряд не будет принят во внимание, то исследователя ждет Харибда односторонности, и объяснение будет ненаучно. Но дисципнирование понятия «рели-гиозность» все-таки возможно. Оно возможно в том случае, если не генетический, а психологический аспект найдет такую сущ-ность религиозности, которая принимает различные формы, так что религиозность будет лишь одной из форм этой сущности. Тогда открытая сущность и сможет стать объектом генетики, ибо она будет свободна от социологического аспекта.

Однако найденная сущность, как и всякая сущность, была бы познана рационально. И мы опять возвращаемся к исходному затруднению: результаты рациональны, причины рациональны, в аспекте мало чувственных данностей, мало опорных пунктов. В таком случае неизбежны блуждания, неизбежны ошибки, прос-четы, неточности, искажения. Но из этого не следует, что нужно отказаться от исследования. Следует только, что нужно идти более осторожными путями.

Мне представляется—в общем и целом—правильным тот путь, которым идет Кольцов в генетическом исследовании психических особенностей человека, хотя нет сомнения в том, что он далеко не редко впадает в серьезные ошибки. Кольцов тщательно очищает категорию своего аспекта от иноаспектного содержания, но делает это, очевидно, не вполне сознательно. Деятельность человека он вполне справедливо сводит к абстрактным рациональным ка-тегориям, разлагая их на элементы, не выходящие за пределы

аспекта. Так, напр., он изучает темперамент, категорию вполне адекватную объектам генетики, и разлагает ее на скорость реакции, возбудимость, утомленность и восстанавливаемость. И он намечает более конкретное их изучение в связи с деятельностью эндокринных желез. Он изучает влечения, эмоции, нервно-психические особенности—все в пределах своего аспекта. Но его поглощает Хариба односторонности, лишь только он спускается к реальному факту. Он объясняет номадизм—бродяжничество племен—генетическим методом, тогда как это явно социологический аспект. Он объясняет особенности греческой культуры близорукостью греков, опять-таки явно переходя без дисцернирования в чужой аспект.

Но если отвлечься от этих ошибок, то надо признать, что путь им намечен, хоть и трудный, но правильный. Так как эти категории носят рациональный характер, так как констатирование этих особенностей совершается на основе длительной предварительной работы; так как эти особенности, вследствие рационального характера их познания, лишь приближаются к точности, но не воспринимаются непосредственно,—то ясно, что познание разнообразия и изменчивости свойств не может поспевать за самым их объективным разнообразием, и вариационные ряды не открывают легко скрытых закономерностей, вследствие чего ошибки на долгое время неизбежны, пока не подоспелет открытие живого вещества, которое продвинет вперед изучение психики и откроет новые, непредвидимые пока возможности.

Таким образом, генетическое изучение закономерности явлений в психике человека в настоящее время может двигаться вперед лишь ценою большей абстракции и отрыва от конкретной многосторонности чувственно-даных фактов. К сожалению, чрезвычайно нередки случаи, когда реальный факт из жизни человека, очевидно, связанный с самыми разнообразными причинами, односторонне подводится под генетический аспект, чем совершается жестокое насилие над действительным положением дела. В нашей евгенической литературе можно найти, напр., случай («Русский Евгенический Журнал» 1925 г., т. III, вып. I), когда самоубийство двадцатисемилетней женщины приведено в связь с весьма сомнительной дегенерацией рода, при чем игнорируется возможность иных причин. Однако достаточно самого беглого взгляда на описанный случай, чтобы понять, что в нем заключен обильный материал для психоаналитического аспекта и для одного из социологических аспектов. Такие факты могут быть объектом генетического метода лишь в той мере, в какой удастся их свести к особенности темперамента, представленной в форме, адекватной вообще объектам генетической науки.

Сочетание социологического, генетического, психоаналитического и пр. аспектов мы видели в задаче № 3 на воображаемом случае с поэтом Н. Но мы уже знаем, что к этим аспектам следует отнестись различно, в зависимости от того, являются ли они аспектами закономерности, или они взяты лишь по отношению к конкретному случаю. Как аспекты закономерности, они все имеют достаточное основание для своего существования, если только в них соблюдены принципы дисцернирования. Однако ни один из них, за исключением социологического, не мог бы похвастаться чистотой своей линии. Психоаналитический аспект претендует на права политической экономии, а из учения о связи

темперамента и генотипической конституции, как оно представлено, напр., у Кречмера, можно черпать пригоршнями недисцернированные категории. И Бехтерев не проявляет какого-либо чрезмерного страха у границы чужих аспектов, что он особенно наглядно показал в своей «Коллективной рефлексологии». Однако, повторяю, все эти аспекты имеют достаточное основание в самом бытии человека.

Но, будучи применены к конкретному случаю, аспекты ставят перед нами задачу о выборе того из них, который должен подчинить себе остальные. Вопрос о преобладающем значении одного из этих аспектов решается различно, в зависимости от теоретических и практических соображений. И педагог, и врач, и политик точно так же, как и объекты их воздействия, погружены в разнообразные отношения к миру. Из чисто практических соображений вы не сможете, может быть, предложить невротика выехать за границу для перемены обстановки, хотя эта мера оказала бы, может быть, нужное действие. Из тех же практических соображений нельзя предложить больному изменить... свой возраст, или свое происхождение и т. п. Практическая обстановка «сама покажет», что в данном конкретном случае может быть применено для устранения болезни.

Что касается до соображений теоретических, то следует прежде всего уяснить себе, каково истинное содержание вопроса о преобладающем значении того или другого аспекта. От чего больше зависит психика ребенка: от социальных факторов или от биологических?—вот вопрос, с каким обращается к теории педагог. В чем больше следует искать причины душевного расстройства,—в социальных условиях или в конституции человека? вот вопрос, который задает психиатр или психоневролог, вот вопрос, с которым приходит и юрист, изучающий преступника, и исследователь проституции и пр. Следует обратить внимание на то, что социологов, как таковых, этот вопрос обычно не интересует. И это чрезвычайно характерное обстоятельство говорит о том, что самый вопрос о роли социальных и биологических факторов возникает не вне аспектов, а внутри их. Вопрос, напр., ставится в аспекте педагогическом. Педагогический аспект включает в себя методику воздействия на развитие ребенка. Но методика воздействия на ребенка не может и не должна витать в воздухе. Она должна быть увязана с особенностями ребенка, она должна быть конкретизирована, она должна установить, к каким особенностям ребенка должно быть приспособлено воспитание в первую очередь, к тем ли, которые открываются в биологическом аспекте, или к тем, которые открываются в аспекте социологическом. Таким образом, онтологический вопрос о роли биологических и социальных факторов превращается в методологический для педагогики вопрос о том, какие особенности имеют больше значения для выработки методических приемов. Очевидно, что этот вопрос в такой формулировке имеет действительное значение и имеет право претендовать на какой-либо ответ.

Точно так же ставится вопрос, напр., в аспекте психоневрологическом. Методы лечения нервных больных тоже должны быть приспособлены к причинам их болезни,—и устранение причины болезни является первой задачей лечения. Но если болезни оказываются обусловленными многими причинами, от-

крывающимися с точки зрения разных аспектов, то возникает задача направить свое внимание преимущественно в сторону тех или других причин. Перед психоневрологом открывается возможность лечить больного изменением социальной обстановки, лечить психоанализом, лечить гипнозом, лечить физическими методами лечения. Если условно предположить, что врач свободен в выборе метода лечения, то вопрос должен быть решен значением устранения той или другой причины. Перед психоневрологом опять-таки встает вопрос о том, какие причины имеют большее значение: биологические или социальные. Но зато мы уже знаем, что его вопрос имеет не столько онтологическое значение, сколько методологическое или, в данном случае, методическое. Но мы уже говорили, как в конкретном случае решается вопрос о значении аспектов. Именно, мы утверждаем большее значение одной причины, сравнительно с другой, когда какая-нибудь из них уклонилась в ту или другую сторону от предполагаемой средней величины. Если о каких-либо болезнях высказываются в том смысле, что их следует отнести больше к социальным причинам, напр., о туберкулезе, то, разумеется, такое утверждение нужно понимать не так, что при туберкулезе отсутствуют биологические процессы, а так, что эта болезнь возникает и исчезает при уклонении социальных условий в ту или другую сторону от средней величины, при чем биологические причины, выведенные из общей жизни организмов, предполагаются средними.

В биологическом аспекте всегда незримо присутствует социологический, а в социологическом биологический. Когда каждый из них рассматривается, как аспект закономерности, то средняя другого аспекта неуловима. Когда же они скрещиваются на реальном случае, то из точки их пересечения, т.-е. из реального случая, можно видеть эту «среднюю» каждого из аспектов. Педагог, имеющий дело с тем или другим ребенком, может установить, где есть большее отклонение от средних нормальных явлений,—в социальном ряду или биологическом. Он видит, наследственность ли ребенка уклоняется от нормальной, или семейные, или классовые, или национальные условия и т. п. Но отклонение от средней и создает преобладание того или другого аспекта, преобладание со знаком + или знаком — для педагогических приемов. Вот к этим отклонениям от средних величин он должен приспособить свои педагогические приемы, и это будет действительным разрешением интересующего его вопроса о роли того или другого фактора.

Точно так же обстоит дело с психоневрологом. Его воздействие направляется в ту сторону, где произошло большее отклонение от предполагаемой средней величины.

Однако, так как обычно в педагогическом или психоневрологическом или каком-либо ином изучении человека нет ясного представления об аспектах, то методологический или методический вопрос принимает онтологическую форму вопроса о роли того или другого фактора.

Характеристика индивида, произведенная с социологической точки зрения, имеет свои, резко выраженные, особенности. Допустим, вы подходите социологически к данному индивиду, вскрывая анализом его мелкобуржуазную сущность. Для того, чтобы образовать понятие мелкой буржуазии, нужно иметь понятие всего

общества, его классовых группировок и пр. Для этого необходимо совершить огромную работу, в которой десятки миллионов чувственных данностей принимают дискретную форму абстрактных статистических единиц, рационально познаются формы собственности, соотношения классов и пр. Этот индивид, быть может, и сам участвовал, как чувственная данность или объект, в выработке понятия «мелкая буржуазия». Среди миллионов был и он. Итак, вы покрываете эту чувственную данность, индивида, рационально созданным понятием, в котором на его собственную долю чувственной данности приходится всего одна миллионная часть. Неудивительно, если он часто протестует против такого абстрактного к нему отношения! Он, наоборот, хотел бы в вашем отношении играть более чувственную роль! Он существует, как таковой, как мелкий буржуа, только потому, что, кроме него, существуют миллионы других мелких буржуа, и все они имеют такую, а не иную социологическую характеристику, потому что одновременно существуют миллионы представителей других классов. Если бы вы подошли к нему не с социологической стороны, а со стороны наследственности, то эти миллионы чуждых ему людей были бы уже не нужны. Правда, и в этом случае, исследуя человека со стороны наследственности, нужно было бы тоже привлечь для познания этого объекта и других людей, но это были бы все его ближайшие родственники, и их ни в коем случае не было бы так много, при чем предки в значительном числе давно умерли. Однако, пока вы держались социологического аспекта и шли строго монистическим путем, вы нашли закономерность и повторяемость и теперь понятие мелкобуржуазности можете без особого риска передвигать с объекта на объект до миллиона раз. Но всесторонне ли вы, так сказать, покрыли означенное лицо своим рациональным аспектом?

Аспект явления возникает подобно звуку от удара молоточком по струнам: он зависит от клавиши, которая является исходной позицией; когда исследователь-исполнитель ударяет не по той клавише, что нужно, то и звук получается... не из той оперы.

Но если исследование индивида производится в ином аспекте, биологическом, то никакие увеличительные стекла не дадут вам возможности заметить его мелкобуржуазность. Она останется неуловимой, недоступной нашему познанию реальностью, недоступной ни чувственно, ни рационально. Каждый аспект замечателен не только тем, что он изгоняет из своих пределов чуждые ему отношения, но и тем, что он открывает в объекте такие отношения, которые вне его неуловимы.

Когда же аспекты скрещиваются на единичной реальности, то открывается возможность всестороннего ее изучения, и аспекты свободно переходят друг в друга.

Поэтому вопрос, поставленный, напр., в первой задаче, о причинах, создавших Ленина, решается различно в зависимости от того, на какой ступени находится наш познавательный процесс. Если это ступень установления закономерности, то личность Ленина не может быть рассмотрена всесторонне. Тогда личность Ленина представляется в различных аспектах, из которых каждый захватывает множество объектов, в том или другом отношении уподобляемых Ленину. Аспект классовой борьбы пролетариата дает абстрактную рациональную тенденцию, глася-

щую, что пролетариат выдвигает из интеллигенции теоретиков-идеологов—вождей, в борьбе за социалистический строй. Развитие этой тенденции в познании может происходить уже за счет понятий пролетариата, идеологов, борьбы классов и т. п. В аспекте более узком, но тоже социально-классовом констатируется другая тенденция, заключающаяся в том, что при запоздавшей буржуазной революции революционные классы отмежевываются от буржуазии даже в сфере общих с нею целей. Как абстрактная тенденция, являющаяся содержанием особого аспекта, констатируется, что в период революционного переворота вожди представляют собою различные классы без их дифференцировки. В особом аспекте характеризуется связь пролетарской революции с революцией национальной и освобождением колоний. Как постоянная закономерность, может и должна рассматриваться связь теории с практикой и практики с теорией, значение чистоты идеологии и т. п. Национальная характеристика русского революционера тоже может быть особым аспектом изучения. Так сказать, в семейственном аспекте может быть прослежено, что казнь брата-революционера создает тенденцию и из другого брата сделать борца с тем же режимом, и т. д.

Если же мы находимся на второй ступени познания, если мы скрещиваем аспекты на личности Ленина, то тогда начинается истинно диалектическое познание. Ленин, как национальный тип, диалектически превращается в интернационального вождя, теоретик в практика и практик в теоретика; борец за пролетариат становится борцом и за крестьянство, борец за крестьянство должен стать вождем пролетариата; европейская наука действует в Азии, и азиатские действия становятся наукой для Европы; поборник буржуазной революции становится борцом против буржуазии, борец за социалистическую революцию защищает торговлю; месть за брата уступает место служению классу, служение классу мстит и за брата и т. д. Но такому диалектическому познанию должно предшествовать познание логическое в абстрактных аспектах.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

АРХИВ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. Журнал Института мирового хозяйства при Кильском университете. Под редакцией проф. Б. Гармса. 1927 г. Первый (январский), второй (апрельский), третий (июльский) и четвертый (октябрьский) выпуски. (Weltwirtschaftliches Archiv. Herausgeber Prof. Bernhard Harms. Keiler Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr).

Рецензируемый журнал является одним из самых богатых по содержанию экономических журналов за границей. Охватить в нашем обзоре все содержание его невозможно; одной библиографии, например, уделяется в каждом выпуске Архива около полутора ста страниц мелкого шрифта. Нам придется остановиться только на важнейших статьях.

В первую очередь отметим статью гейдельбергского профессора Эдгара Салина о новом томе Зомбарта: «Современный капитализм». Эту книгу (200 печ. листов) Салин приветствует, как «одно из самых гигантских произведений всех времен». Это не мешает Салину указывать на такие ошибки Зомбарта в конкретной части книги, которые «не простительны даже студенту». Так, например, Зомбарт пишет: «В 1850-х годах французские евреи, основав *Crédit foncier*, создали первый акционерный ипотечный банк». На самом же деле этот банк основан не французскими евреями, а поляком Волоским; во-вторых, соединение акционерного и ипотечного дела было впервые проведено вовсе не в *Crédit foncier de France* и не евреями; в-третьих, оно произошло не в 50-х годах. Этот ряд ошибок приобретает особую пикантность в виду того значения, которое приписывает Зомбарт евреям в истории капитализма. Салин великодушно прощает Зомбарту подобные ошибки на том основании, что Зомбарт дает не историю, а теорию капитализма, хотя сам Зомбарт называет свое изложение «систематически-историческим». Значение книги Зомбарта Салин видит в том, что это—первый представитель «истинно-немецкой» политической экономии. Это не просто националистский уклон со стороны Салина. Мы имеем здесь перед собой весьма модное в немецкой экономической науке «романтическое» учение, возглавляемое венским профессором Отмаром Шпанном. Салин приветствует в Зомбарте нового матадора этой «романтической» школы в политической экономии. Салин подчеркивает, что Зомбарт, в отличие от классиков и их эпигонов, дает не рациональную теорию на почве логически разрешимых проблем, а «охватывает факты в их общей связи и обусловленности, рациональной и иррациональной». Салин противопоставляет рационализму классиков «созерцательный» и «цельный» характер взглядов Зомбарта. Какая конкретная сущность скрывается за этой фразеологией, об этом, увы, читатель почти ничего не узнает у Салина.

«В Германии,—говорит Салин,—имеется теперь столько же различных рациональных теорий (в политической экономии), сколько профессоров. Изменить это положение с помощью рациональной теории

вряд ли удастся... Итак, нужна «созерцательная» теория. Но в чем она заключается, этот секрет, повторю, Салин нам не поведал. Только в одном случае, указывая, что у Зомбарта образование цен все более приближается к (рациональной) схеме движения цен, он подчеркивает, что здесь встречный пункт рациональной и иррациональной теорий. Ход мыслей Салина здесь крайне не ясен. Любопытно следующее: тогда как Салин в первую голову подчеркивает «алогичность», «иррациональность» экономики и на этом строит свой панегирик Зомбарту, сам-то Зомбарт в своем определении капитализма категорически подчеркивает, что в капитализме «царит принцип приобретательства и экономического рационализма» (курсив наш). Салин отделяется от этого кардинального для него противоречия кратким замечанием, что это чуть ли не ляпсус (*wenig glücklich*) у Зомбарта. Далее Салин сам себе противоречит по центральному пункту: он признает, что «созерцательная» теория бесплодна без рациональной, «в особенности при рассмотрении столь сугубо рациональной экономической системы, как капитализм», потом он снова меняет фронт и заявляет: «понимать историю капитализма исключительно из его теории — очень недостаточное и очень позитивистское объяснение».

Зомбарт ставит во главу угла своего объяснения капитализма учение о предпринимателе, о капиталистическом предприятии. Салин соглашается с этим и ссылается на Шумпетера, хвалит последнего, что его «предприниматель» отличается от слишком рационального и расплывчатого homo oeconomicus у классиков. Зато Салин весьма не доволен тем, что Зомбарт в своем построении капитализма признает «запыленный» тезис Маркса о прибавочной стоимости...

Интересна в журнале статья Б. Гармса «Изменения структуры мирового хозяйства», представляющая собой доклад, прочитанный автором в Обществе социальной политики в Вене. В своей конкретной части статья эта не дает ничего нового, но интересна теоретическая сторона ее. Указав, что Англии понадобилось целое столетие, пока она приобрела актив своих довоенных иностранных инвестиций, Франции два поколения, Германии полтора поколения, Гармс подчеркивает, что Соединенные Штаты менее чем в десять лет превратили свой долг Европе в актив. «Перед лицом такой эволюции, — говорит он, — эволюция прошлого столетия должна казаться нам периодом раннего капитализма». Гармс заключает отсюда, что, поскольку капитализм сам находится еще в процессе превращения, он еще развивается в сторону его интенсификации, и Зомбартовский Hochkapitalismus еще впереди, апогей еще не достигнут. О послевоенном экономическом кризисе Гармс говорит лишь вскользь.

Гармс ставит вопрос об отношении между кризисом, структурными и конъюнктурными изменениями мирового хозяйства. Однако он не только не разрешает этого вопроса, но не в состоянии даже провести ясное разграничение этих понятий и лишь запутывает проблему. Колебания конъюнктуры, — говорит он, — осложняются «структурными колебаниями длинной и короткой волн». Итак, оказывается, дело идет уже не об изменениях, а о колебаниях структуры мирового хозяйства и даже о различных волнах этих колебаний, и, действительно, само заглавие статьи, нарочито гелепрерски туманное, говорит не о Strukturänderungen, а о Strukturwandlungen. Вводя понятие колебаний структуры мирового хозяйства и связывая эти маятникообразные колебания с циклизмом кризисов и конъюнктуры, Гармс запутывает дискуссию. Циклические колебания структуры, это противоречит самому понятию структуры.

Вынужденный признать, что индустриализация прежних рынков сбыта делает безработицу в английской текстильной промышленности структурной, хронической, непоправимой, Гармс оговаривается, что это — совсем особая статья (*steht auf einem besonderen Blatt*). Он понимает под этим, что если кризисы протекают не циклически, то в зависимости от «экзогенных» (внешних) причин, которые в особенности имели место в последнее, послевоенное десятилетие. Другими словами: действительные изменения, а не колебания структуры мирового хозяйства наступают, по Гармсу, только вследствие внешних причин.

Самое интересное в статье Гармса, это то, что он отрицает самую конъюнктуру мирового хозяйства. «Средняя Европа и Англия переживают кризис, Франция переходит от инфляционной конъюнктуры под'ема к дефляционному кризису, Италия переживает под'ем (эти данные уже устарели. *Ф. К.*), Россия имеет, так сказать, идеальное бесконъюнктурное хозяйство, Соед. Штаты, находясь в полосе под'ема, при чем уже намечается поворот, в Индии депрессия, в Китае хаос, в Южной Америке переход от депрессии к под'ему. Нет возможности подсчитать на конъюнктурных барометрах этих стран мировую конъюнктуру (Гармс ставит эти два слова в знаменательные кавычки) и включить ее в одну из тех четырех фаз, с которыми обычно работает теория (нормальное состояние, под'ем, депрессия, ликвидация. *Ф. К.*). Уже сама эта мысль абсурдна... Конъюнктура мирового хозяйства не есть арифметическое среднее из конъюнктур народных хозяйств...».

Но мало этого, Гармс вообще сомневается, «существует ли закономерная периодичность в ходе экономики всего земного шара, существует ли абсолютная зависимость от нее всех отдельных (народных) хозяйств, участвующих в мировом хозяйстве»? Итак, речь уже не только о том, что мировая конъюнктура не должна быть просто арифметическим средним, отрицается даже сама возможность мировой конъюнктуры. Гармс повидному отрицает также мировые экономические кризисы. Слова мирохозяйственный кризис он ставит в знаменательные скептические кавычки. Гармс утверждает, что переходные времена структурных кризисов вообще лишены закономерности, при чем слово закономерность тоже поставлено в красноречивые кавычки. Наконец, Гармс уверяет, что мы не имеем методологической ясности даже о самом понятии мирового рынка, «отя употребляем это понятие ежедневно и ежедневно».

Итак, совершенный агностицизм. Редактор журнала по мировому хозяйству, автор первого систематического труда по теории мирового хозяйства (в буржуазной литературе), Гармс сам подписывает здесь «свидетельство о бедности» буржуазной науки! Архив Гармса дает богатый фактический материал, но в теории он хромает.

Впрочем, в журнале подвергается сомнению не только мировая конъюнктура, но возможность теории конъюнктуры вообще. В апрельском выпуске журнала помещена полемика между проф. Фр. Оппенгеймером и проф. Адольфом Леве. Последний ищет источники изменений конъюнктуры не во внешних причинах, а во внутренней закономерности. Оппенгеймер противопоставляет этому свою известную точку зрения о роли земельной ренты в капитализме, свою теорию, отчасти совпадающую с теорией Розы Люксембург. «Капитализм, как целое, — говорит он, — есть ненормальность (незакономерность). Поэтому о статике (закономерности) капитализма, даже как о фикции, можно говорить только в очень переносном смысле». В скобках заметим, терминология у обоих спорщиков убийственная, да и весь стиль их. На сей раз Оппенгеймер выдвигает оригинальный аргумент: если при капитализме повышение прибыли производит стимулирующее действие, то понижение

прибыли, однако, не производит обратного действия... Так утверждает Оппенгеймер. Поэтому «тенденция к статике» может проявляться только катастрофами, кризисами. Согласно Оппенгеймеру, рост производства при понижении прибыли возможен только на почве резервной армии труда, поставляемой пауперизуемым крестьянством; Маркс разрешает эту проблему (в общем разрезе), как известно, иначе. Лева печально констатирует, что «150-летний спор о проблеме кризиса и конъюнктуры не только не привел к сближению различных теоретических взглядов, но создал в этой области настоящую анархию».

Остановимся еще на статье венского профессора Эм. Фогеля: «Экономический подъем Северной Америки и проблема Пан-Европы». Фогель отрицает возможность всевропейского таможенного союза (даже без Англии и СССР, которые Куденкове-Калержи исключает из своей схемы Пан-Европы) и признает осуществимыми и целесообразными только частичные группировки. Упомянув, что в настоящее время «Европа» не представляет собой ничего другого кроме наименования известной части света, Фогель указывает, что в лучшем случае, даже добившись у себя объединения, Европа все же вынуждена была бы вести борьбу с другими странами света за нефть, хлопок и пр.; он подчеркивает, что в сфере экономики Европы включены «большие организованные ею области мирового хозяйства за пределами Европы». Не лишен пикантности следующий аргумент автора: объединение в Пан-Европу лишь затруднило бы для нее эксплуатацию новых заокеанских областей, так как трудно было бы поделить их между участниками союза...

Не новым рецептом является переход Европы на высококачественное производство, в чем Фогель видит единственную возможность для Европы конкурировать с массовым производством Америки. Типичным для последней Фогель считает целесообразное комбинирование горизонтального и вертикального трестирования, невозможное в Европе, где нет единой и цельной хозяйственной территории Соед. Штатов. Горизонтальная концентрация является у Фогеля в то же время децентрализацией. «Решающим моментом, — говорит он, — при концентрации и децентрализации в Соед. Штатах является вопрос, определяется ли цена сырьем и его транспортом (в таком случае мы имеем вертикальную концентрацию у источников сырья или по ориентировке на места сбыта (sic); в таком случае мы имеем горизонтальное излучение и децентрализацию». Для «Соединенных Штатов Европы» Фогель считает эту комбинацию неосуществимой, точно так же как стандартизацию потребления в американском масштабе.

Фогель подчеркивает, что при всех своих преимуществах американская экономика имеет также свои бесспорные недостатки. Так, например, частные железнодорожные общества и стоящие за ними тресты и финансовый капитал до сих пор успешно боролись против рационального использования внутренних водных путей; Форду даже пришлось завести собственный речной и озерный флот. Здесь можно было бы указать также на оппозицию против проектов электрификации. Затем Фогель указывает также на гипертрофию оптовой и розничной торговли в Штатах: только чрезвычайно низкие издержки производства позволяют Штатам переносить колоссально высокие торговые накладки, которые часто на много превышают издержки производства. (Материал по этому вопросу собран, между прочим, в книге проф. Юл. Гирша: «Экономика торговли»).

Выступая за образование частичных группировок внутри Европы в отличие от планов «Пан-Европы», Фогель доказывает, что экономическим объединениям отдельных государств должно предшествовать трести-

рование промышленности в каждом из них. Главные трудности при образовании Франко-германского железного треста он усматривает в слабом трестировании металлургической промышленности Франции (и Бельгии). Из других констелляций заслуживает упоминания указание на план объединения итальянской металлургии с испанской рудой; эта группа станет конкурентом средневропейской металлургии, тогда как прежде была одним из лучших ее клиентов.

Статья проф. Франца Эйленбурга «Торгово-политические идеи нового времени» мало содержательна и не оправдывает своего заглавия. Отметим его оптимистическую установку по вопросу о послевоенных таможенных рогах. Эйленбург ссылается при этом на тот вывод, к которому пришла комиссия Бальфура в своем исследовании положения внешней торговли Великобритании (Survey of Overseas Markets). Согласно отчету комиссии Бальфура, таможенная политика послевоенного времени не является виновником сокращения рынков сбыта для Англии; в среднем, если принять во внимание обесценение денег, пошлины даже уменьшились. Если исключить английские доминионы и Америку с ее тарифом Фордней, то обложение английского вывоза даже упало с 23% до 17%. Эйленбург толкует этот вывод в том оптимистическом смысле, что «вопреки жалобам столь многих политиков и практиков, не видно никакого прямого действия репрессивных экономических мер». На это можно возразить, что высота пошлин не является важнейшим фактором в послевоенном оскудении мировой торговли, современные государства обладают множеством других средств воздействия против иностранного ввоза, которые Штольпер (в сборнике: Europäische Zollunion. Herausgeber Hanns Heimann. 1926) называет «административным протекционизмом». Между прочим, проф. Альфред Вебер в упомянутом сборнике тоже выступает против излишнего пессимизма: для тяжелой индустрии пошлины не опасны. Однако возможно и другое толкование: даже если бы был осуществлен всевропейский таможенный союз, он не в состоянии оздоровить послевоенный капитализм, поскольку источником зла являются не одни пошлины. Любопытно, что в противоположность Фогелю Эйленбург считает менее всего вероятным взаимное приспособление промышленности Франции и Германии. Эйленбург тоже подчеркивает, что всевропейский таможенный союз несколько не является панацеей, так как в первую очередь необходимо восстановить покупательную силу европейских стран.

В октябрьском выпуске помещена статья пражского профессора Карла Пшибрама: «Положение мирового хозяйства в свете литературы к экономической конференции в Женеве». Это крайне добросовестный и содержательный обзор более чем в десять печатных листов; написан он, не в пример обычной манере немецких профессоров, ясно, без повторений и лишних слов. Этот обзор дает более или менее полную картину положения послевоенного мирового хозяйства и проблем его с капиталистической точки зрения. Любопытен также сам перечень отчетов, представленных к конференции, официальных, полуофициальных и неофициальных. Эти отчеты составлялись правительствами, союзами промышленности, политическими организациями (лидерами II Интернационала в том числе), видными профессорами и т. д.

На обще-теоретические темы в журнале имеются в числе прочих статьи Александра Мара «К теории вексельных курсов», Карла Корани «Платежный баланс, покупательная сила, вексельный курс» и т. п. Эти статьи показательны; на наш взгляд, в этой области теоретическая работа буржуазных экономистов оказы-

вается всего успешнее. Мы не можем остановиться здесь подробнее на этих вопросах в виду их специального характера и за недостатком места. С другой стороны, в журнале нет недостатка также в таких статьях, как, например, гейдельбергского профессора А. Зоммера на тему: «Фридрих Лист и Адам Мюллер»; этот Мюллер, родоначальник «романтической» школы, теперь в большом почете у немецких экономистов.

Самую большую ценность в журнале представляют статьи исследовательско-информационного характера, например: изменения структуры мирового пшеничного хозяйства, развитие состояний и доходов в Америке, финансовая политика Франции, экономическое законодательство Великобритании и т. д. В них обрабатывается громадный фактический материал. Отметим, что хозяйству СССР посвящены серьезные и компетентные статьи, в том числе и советских авторов (проф. А. Вайнштейн, проф. Первушин и др.).

Ф. Напелюш.

И. ГРАНАТ. Классы и массы в Англии в их отношении к внешней торговле. К постановке вопроса. Издание автора. Москва 1927 г.

Название книги несколько озадачивает («классы и массы») и не вполне соответствует ее содержанию. Экономическая история Англии и борьба направлений в английской политэкономии, начиная с XVII столетия, использованы автором, главным образом, как материал для построения оригинальной теории империализма и капиталистической экспансии. В этом теоретическом построении лежит главный интерес работы. Конкретная часть исследования представляет наряду с этим самостоятельный интерес по обилию и умелому использованию фактов, среди которых автор ориентируется легко и свободно. И. Гранат — не новичек в вопросах английской экономики. Его перу принадлежит старая, опубликованная еще в 1908 году работа «К вопросу об обезземеливании крестьян в Англии». В некоторых отношениях рецензируемая книга является продолжением этого старого исследования, в котором автор пытался противопоставить марксовой концепции сельскохозяйственного развития Англии свою собственную. Здесь нас прежде всего интересует теоретический «костяк» книги И. Граната.

Автор начинает с постановки «проклятого вопроса»: почему возникла мировая война? А так как война очевиднейшим образом связана с капиталистической экспансией в отдаленные страны, то в чем же лежит главная движущая сила этой экспансии? И, наконец, если в империализме заинтересованы «классы» (господствующие), то почему «массы» (пролетариат) ему содействовали в мировой войне?

Прежде чем излагать теоретические соображения автора о «рабочем империализме», обратимся к вопросу о том, как он объясняет империализм буржуазный.

И. Гранат ставит знак равенства между империализмом и «экспортным индустриализмом». Стремление к захвату рынков сбыта индустриальных товаров — вот существо империализма нашей эпохи, в отличие от империализма торгового капитала, который ставил во главу угла интересы снабжения. Сопоставляя цифры экспорта и импорта Англии, он показывает, что английские колонии являются для метрополии прежде всего и главным образом рынками сбыта. Импортирует же Великобритания товары преимущественно из неcolonialных стран. Наоборот, экспорт товаров из английских колоний направляется

в большей своей части не в Англию, а в другие страны. Таким образом, интересы экспорта товаров являются основной колониальной политикой. По сравнению с ними экспорт капитала играет подчиненную роль. И. Гранат уделяет капитальному экспорту очень мало внимания, третируя его, как *quantite negligeable*. Доходы от капитальных вложений за границей составляют, по его вычислениям, не более десятой части всех доходов английской буржуазии. Следовательно, движущая сила империализма — не здесь, а в тех $9/10$ доходов, которые извлекаются из отечественной индустрии, опирающейся на внешние рынки. Это — первая «оригинальная» черта гранатовской теории империализма, которая в этом отношении является прямой противоположностью теории империализма Гобсона, выдвигавшего на первый план экспорт капитала.

Но что же заставляет индустриальный капитал искать внешних рынков? Из двух, упоминаемых Гранатом, теорий внешней торговли — теории классиков и теории Р. Люксембург — он не принимает ни одной или, вернее, берет от каждой понемножку. От классиков — Смита и Рикардо — он заимствует объяснение внешнеторговых стремлений промышленного капитала соображениями от нормы прибыли (внешняя торговля способствует увеличению нормы прибыли или во всяком случае препятствует ее падению). От Р. Люксембург он заимствует теорию о значении некапиталистических стран для капитализма (давая ей другое освещение). В классической теории он отвергает принцип снабжения, из которого исходил Рикардо (импорт дешевых сельскохозяйственных продуктов и сырья, способствующий понижению зарплаты и повышению прибыли). В теории Р. Люксембург он отвергает аргументы, объясняющие погоню за внешними рынками необходимостью реализовать прибавочную стоимость. Построение самого Граната сводится к следующему. Капитал перемещается в направлении к наибольшей прибыли. Прибыльность капиталистического производства — в тех отраслях и в те эпохи, когда капиталу приходится еще работать бок-о-бок с ремесленником и кустарем, определяется степенью увеличения производительности труда, достигаемой при замене ручного труда машинным производством и реализуется в обмене. Если, напр., механический ткацкий станок увеличивает выработку в четыре раза по сравнению с выработкой ручного ткача, и если на рынке реализуется продукция ткачей, произведенных как ручным, так и машинным способом, то рыночная стоимость будет определяться затратами труда в ремесленном производстве. Вследствие этого, производители, производящие ткани при помощи машин, будут фактически обменивать один день своего труда на четыре дня труда ремесленников и кустарей. Это неравенство обмена, отнюдь не нарушающее принципов эквивалентности, и образует источник капиталистической прибыли. Однако, если бы во всех отраслях применение капитала давало одинаковый рост производительности, то капитал, распространяя механический способ производства повсюду, снова восстановил бы нарушенные пропорции. Результатом было бы только постепенное вытеснение отовсюду мелких производителей, которые, обменивая свой труд по таким неравным нормам, скоро, предпочтут пойти в наемные рабочие и стать предметом эксплуатации со стороны капитала. Но дело в том, что в разных отраслях увеличение производительности труда в результате применения капитала далеко не одинаково. Отсюда и разные нормы трудового обмена между капиталистом и мелким производителем в разных отраслях. Наибольшие нормы прибыли достигаются в тех отраслях, где технические средства

дают наивысший производственный эффект. Поэтому в них раньше всего и устремляется капитал. Перейти к другой, менее производительной отрасли он решается только под влиянием обстоятельств, когда более производительная—окончательно использована, труд мелких производителей из нее окончательно вытеснен, и рыночная стоимость начинает определяться издержками капиталистического, а не ремесленного производства. Но с переходом к другой отрасли, дающей увеличение производительности, примерно, только в три раза, уменьшается соответственно пропорция обмена с мелкими производителями, а вместе с ней и норма прибыли. А так как норма прибыли в этой предельной отрасли обуславливает собою и всеобщую норму прибыли, то ясно, что всякий переход к менее производительным отраслям влечет за собою и тенденцию к снижению нормы прибыли. Отсюда—стремление капитализма как можно шире использовать наиболее производительные сферы. Если производство в этих сферах перерастает национальные рамки, то капитал будет стремиться к тому, чтобы расширить пределы сбыта соответствующих товаров за границей. Чем шире рынки сбыта, тем дольше он может задержаться в наиболее производительных отраслях, предоставляя остальные сферы мелкому производству. Поэтому на заре капиталистического развития мы замечаем преобладание своего рода «монокультур». Поэтому происходит как бы ползучее, ступенчатое распространение капитализма—от более производительных к менее производительным отраслям. Поэтому наименее охотно капитализм идет в сельское хозяйство, которое представляет наименее благоприятные условия для увеличения производительности и роста прибылей. Поэтому, наконец, капитализм промышленный всячески стремится к расширению сфер сбыта, предоставляя земледелие мелким производителям. На мировом рынке действуют те же самые законы обмена, которые внутри каждой страны обуславливают эксплуатацию мелких производителей капиталом. Отсталые страны отдают большее количество своего труда за меньшее количество труда передовых стран, хотя—по закону Рикардо-Торренса—такой неравный обмен для них все же выгоднее отсутствия всякого обмена. Индустриальный капитализм предоставляет этим отсталым нациям наименее производительные занятия—в особенности земледелие, сосредоточивая собственные средства в промышленном производстве. Специально в Англии преобладающее промышленное направление ее развития объясняется еще тем обстоятельством, что ее тяжелая почва делала земледелие относительно менее производительным, чем, напр., во Франции и С. Штатах. Близка к английскому типу развития также и Германия. Основной причиной английского индустриализма И. Гранат считает поэтому не свойства берегов, не географическое положение и пр., а свойства почвы, делавшие земледелие относительно менее производительным, хотя, с другой стороны, наличие зажиточного крестьянства в Англии (результат единонаследия и пр.) явилась главнейшим условием развития текстильной индустрии, работающей на массовый сбыт. По чисто агрономическим причинам—благоприятные условия для земледелия—И. Гранат считает и в настоящее время для Франции и С. Штатов исключенным одностороннее индустриальное направление. Избытки капиталов в этих странах, поскольку они не могут найти себе приложения в сельском хозяйстве, пойдут не на индустриализацию, а на экспорт за границу. Индустриализация предполагает вывоз товаров, а вывоз промышленных товаров невозможен без ввоза сельскохозяйственных продуктов, в котором названные страны не нуждаются. Для этих стран И. Гранат соглашается признать значение капитального

экспорта, которое он отрицает для Англии. Для индустриального капитализма, следовательно, важен не экспорт вообще, а экспорт именно в отсталые страны. Вот почему колониями в экономическом смысле «следует признать ту страну, которая при обмене с другими странами подвергается эксплуатации, труд которой не оплачивается равным количеством труда другой страны. В силу этого колониями являются все сельскохозяйственные страны, страны мелкого самостоятельного производства, в той мере, в какой они экспортируют свои сельскохозяйственные продукты,—колониями той индустриальной страны, из которой они всего больше импортируют изделий капиталистической промышленности, а вернее, колониями всей совокупности капиталистических стран. А так как для сбыта товаров нет надобности непременно захватывать страну в политическое обладание, то «в силу этого империализм капиталистической эпохи отличается от империализма докапиталистической аграрной эпохи тем, что он не стремится непременно к захвату страны некапиталистического хозяйства; он не стремится также к монопольному использованию ее ресурсов, как это характерно для эпохи торгового капитала, а направлен к обеспечению себе наиболее выгодных условий сбыта и потому, главным образом, имеет в виду приобретение сфер влияния, экономическое и не политическое подчинение».

Во всей этой теории столько уязвимых мест, что положительно испытываешь затруднение в выборе, с чего начать. Для справедливости, мы начнем с того, что в ней есть положительного. Сюда необходимо отнести подчеркиваемую автором роль неравного трудообмена между странами, находящимися на разных ступенях развития производительных сил. Эта сторона вопроса, действительно, часто обходится при анализе форм империалистической эксплуатации, хотя на нее указывали еще классики, исходя, правда, из других соображений. Отчасти можно согласиться с автором также и в том, что различные отрасли хозяйства представляют для капитала не одинаковые выгоды, с точки зрения неравного трудообмена. Совершенно верно поэтому, что национальному капиталу далеко не безразлично, в каких отраслях занять наибольшее количество средств производства и рабочей силы. Констатирование этих фактов, а отчасти и теоретическое их объяснение являются несомненной заслугой автора. Но он пускается в совершенно чудовищные преувеличения, когда пытается этот метод увеличения нормы прибыли изобразить, как единственную движущую силу капиталистической экспансии. Желая подкрепить свои выводы фактическим материалом, И. Гранат не сделал главного: не показал с фактами и цифрами в руках, что увеличение прибылей, обусловленное неравным обменом, перевешивает в своей массе все другие источники повышения, среди которых прибыли от капиталов, экспортированных за границу, занимают довольно почетное место. Гранат ссылается на то обстоятельство, что доходы английской буржуазии от капиталов, вложенных за границей, составляют только $\frac{1}{10}$ всех ее доходов. Но ведь остальные $\frac{9}{10}$ получаются не в результате индустриального экспорта, «неэквивалентного» обмена, а в результате эксплуатации труда рабочих внутри страны. Для сопоставления относительной роли товарного и капиталистического экспорта, необходимо было бы обязательно сопоставить прибыли в экспортных отраслях хозяйства (да и то лишь в той части, в какой продукция этих отраслей фактически экспортируется) и прибыли от вложенных за границей капиталов. Выводы получаются тогда прямо противоположные тем, которые делает Гранат. Волюнтарично или невольнo теория И. Граната проводит ту тенденцию, что основным источником прибавочной стоимости, достоящейся классу капиталистов,

является мелкое производство, а не рабочий класс. Мы увидим, как эта тенденция увязывается со взглядами автора на сущность зарплат и пр. Такой «подход» совершенно извращает смысл и перспективы классовой борьбы и выдвигает на первое место в борьбе против капитализма мелкую буржуазию не только как наиболее страдающий класс, но и как класс, доставляющий капиталу основную массу прибавочной стоимости. Теория Граната есть, таким образом, разновидность мелкобуржуазной критики империализма, подобно тому, как сионизм явился мелкобуржуазной критикой капитализма.

Ошибочность выводов основана в значительной мере на ошибочности исходных точек зрения. Так, совершенно произвольным и бездоказательным остается положение Граната, что рыночная стоимость товаров определяется издержками их производства в мелком хозяйстве там, где последнее еще не вытеснено и работает наряду с крупнокапиталистическими предприятиями. Это ни на чем не основанная попытка связать теорию трудовой стоимости Маркса с «теорией предельности», которую И. Гранат также кладет в основу своего анализа движения нормы прибыли: последняя будто бы тоже тяготеет к норме прибыли в предельных производствах. Это положение в корне противоречит теории Маркса об общественно-необходимом труде, который именно в промышленном производстве совпадает в большинстве случаев со средними издержками производства. Если бы дело обстояло иначе, то непонятно, каким образом крупное производство могло бы вытеснить мелкое. Весь «гвоздь» в том и состоит, что мелкое производство вынуждено под влиянием конкуренции сбывать свою продукцию по ценам ниже индивидуальной стоимости.

Метафизическую роль играют в построении И. Граната технические особенности каждой производственной отрасли. По его мнению, распределение капиталов между разными отраслями определяется тем, насколько капиталистическая организация производства способна поднять производительность по сравнению с ручным трудом. Но И. Гранат не видит обратной зависимости—производительности труда от степени насыщения данной отрасли капиталом. А между тем в процессе поступательного движения хозяйства эта обратная зависимость становится важнее прямой. Если первоначально хлопчатобумажная индустрия привлекала наибольшее количество капиталов потому, что они давали здесь наиболее высокий производственный эффект, то в металлургии, напр.,—да и в той же текстильной промышленности,—в дальнейшем дело обстояло наоборот: именно прилив капиталов произвел здесь революцию в технике и далеко раздвинул границы «производительности» капитала. С другой стороны, совершенно неправильно изображать дело так, будто капитал захватывает одну отрасль промышленности за другой в порядке убывающих норм и убывающей производительности. Здесь упускаются из виду материальные отношения производства. Переход капиталов из легкой (текстильной) индустрии в тяжелую (металлургическую) вызван был не понижением нормы прибыли в текстильной промышленности до уровня ее в металлургии, а тем «простым» обстоятельством, что само развитие легкой индустрии наткнулось на необходимость увеличивать производство металла в размерах, совершенно недоступных мелкому предпринимательству. Именно это обстоятельство через аппарат цен вызвало соответствующие изменения в нормах прибыли и в распределении капиталов между отраслями. Дело здесь, таким образом, не в пресловутой «производительности капитала». Слабый приток капитала в земледелие, который И. Гранат (и многие другие) объясняет недостаточной «про-

изводительностью» земельного капитала по сравнению с ручным трудом, на самом деле имеет, среди множества других причин, еще и ту причину, что в силу условий потребления сельскохозяйственных продуктов, производство их по необходимости должно отставать от промышленного производства и всегда будет отставать количественно. «Производительность» же здесь не при чем, и это доказывает констатируемый самим И. Гранатом факт, что английское земледелие, ведущееся на тяжелой почве, носит более капиталистический характер, чем где бы то ни было.

Против утверждений И. Граната, что империализм нашей эпохи носит по преимуществу индустриально-экспортный характер и не ставит себе целью политическое господство над колониями, можно сказать, камни вопиют. Автор совершенно не обращает внимания на тот факт, что страна наиболее крупного товарного экспорта—Англия, является вместе с тем первой страной по экспорту капиталов. Он упускает из виду тот факт, что такие страны, как Франция и С. Штаты, которые не относятся к типу экспортного индустриализма, играют немаловажную роль в империалистической политике и были главными участниками империалистической войны, корни которой Гранат ищет только в интересах промышленного экспорта. Так же дико звучит перед лицом, напр., нефтяного империализма или борьбы из-за каучука утверждение Граната, что империализм вовсе не заинтересован в колониях, как источниках снабжения—не говоря уже о теоретической слабости этого положения: ведь «снабжение»—это и есть тот «эквивалент», который промышленная страна получает из колонии в порядке «неэквивалентного обмена». Как же можно, утверждая заинтересованность в обмене, отрицать заинтересованность в «снабжении»? Автор фиксирует свое внимание на одном источнике повышения нормы прибыли—промышленном экспорте, упуская из виду, что все моменты кругооборота капиталов влияют на эту норму, в том числе и момент снабжения дешевым сырьем, и многие другие, и что капитализму вовсе нет надобности давать одним источникам исключительное предпочтение перед другими.

Наконец, последний теоретический ляпсус работы И. Граната—объяснение тенденции нормы прибыли к понижению падением производительности капитальных вложений. Эта грубая ошибка классической школы давным-давно вскрыта Марксом, который доказал, что дело обстоит здесь как раз наоборот, и дал гениальное по «простоте» объяснение этому парадоксу. И. Гранат вытаскивает теперь снова этот старый хлам, пытаясь осветить его с новой точки зрения. Концепция И. Граната связана опять-таки с его теорией происхождения прибавочной стоимости. Наиболее высокая норма прибыли получается в тех отраслях, где капитал в наибольшей степени повышает производительность труда, обуславливая этим наиболее выгодные нормы обмена с мелким производством. По мере перехода к менее производительным отраслям нормы обмена ухудшаются и прибыль падает.

И. Гранат, конечно, знает о том, что наемные рабочие «тоже» служат источником прибавочной стоимости и что величина нормы прибыли зависит от нормы эксплуатации наемного труда. Но вместо того, чтобы видеть здесь основу капиталистической системы, он изображает степень эксплуатации рабочих, как производную величину, определяемую непосредственно степенью эксплуатации мелких производителей. Та доля труда, которую рабочий отдает капиталисту бесплатно, в общем и целом должна равняться излишку труда, который мелкий производитель отдает капиталисту без всякого эквивалента в

условиях рыночного обмена. Если бы она была больше, то мелкому производителю, по мнению Граната, не было бы никакого смысла перейти на фабрику. Если бы она была меньше, то все мелкие производители сделались бы наемными рабочими. Этот «осмос» рабочей силы, совершающийся между мелким и капиталистическим производством, ведет к тому, что «базой» заработной платы становится заработок мелкого самостоятельного производителя. Там, где последний нищает и разоряется, там и заработная плата будет стоять только на голодном уровне. И, наоборот, сытый мелкий производитель, богатое крестьянство есть необходимое условие высокого уровня жизни рабочих. Исходя из этих соображений, И. Гранат объясняет факт улучшения жизни английских рабочих, начиная со второй половины XIX века, влиянием эмиграции из Англии в С. Штаты, Канаду, Австралию и др. Зажиточность американского фермера обуславливала высокий уровень жизни английского пролетариата, их способность противостоять давлению капитализма. Но так как колебания цифры эмиграции, влиявшие на зарплату, в свою очередь находились в связи с состоянием английской экспортной промышленности и так как, действительно, движение зарплат обнаруживает коррелятивную связь с экспортом промтоваров, то здесь и следует искать корней «рабочего империализма», вернее говоря—причину, которая обусловила «непротивление» английского пролетариата империалистической политике буржуазии. Если повышение зарплат, начиная с 50-х годов, явилось результатом эмиграции в С. Штаты, то, наоборот, ее понижение в первой половине XIX в. было следствием иммиграции разорившихся ирландских фермеров в Англию. В обоих случаях зарплата определялась уровнем жизни мелкого производителя—земледельца. И. Гранат идет даже так далеко, что объясняет различия в оплате труда квалифицированного и простого труда (в С. Штатах) тем обстоятельством, что квалифицированная рабочая сила поставляется богатым фермерством, а неквалифицированная—бедным. Расслоение фермеров по доходам от ставит в параллель с расслоением рабочих по заработку и находит здесь полное соответствие.

Здесь опять верное смешано с неверным. Влияние мелкого производства на уровень зарплат несомненно, и в этом утверждении нет ничего нового. Но изображать дело так, будто переход из одного состояния в другое есть дело свободной воли, совершенно нелепо. Пролетаризация мелких производителей и депролетаризация рабочих—вещи разные. Верно, что в странах, где мелкое производство преобладает, где капитализм делает только первые шаги, уровень заработной платы определяется положением мелкого производителя. Но это абсолютно неверно для развитых стран. Здесь, наоборот, зарплата рабочих есть «база», определяющая заработок мелких производителей, а не наоборот. Сама же зарплата обусловлена законами капитализма и классовой борьбой. Параллелизм между положением рабочих и мелких производителей существует, но только в известных пределах. И. Гранат несомненно преувеличивает степень этого параллелизма, и приводимые им цифры противоречат его же собственным выводам. Роль эмиграции в движении английской зарплат отмечалась и раньше в литературе (напр., Парвусом), но все сводить к ней невозможно, ибо все-таки количество эмигрантов ничтожно по сравнению с цифрой занятых рабочих, и составляло только $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ стационарного количества безработных. К тому же И. Гранат не учитывает количества иммигрантов в Англию. Наконец, И. Гранат противоречит себе, когда, с одной стороны, пытается доказать, что участие рабочих в

империалистической политике есть «великое заблуждение», а с другой—констатирует несомненную, хотя и косвенную, связь между положением рабочих и промышленным экспортом.

Все это показывает, что вопрос о корнях оппортунизма в рабочем движении И. Гранатом поставлен, но не разрешен, хотя в поисках ответа автор сумел дать много интересного материала и обнаружил местами оригинальный подход к решению задачи. Влияние миграции на положение рабочих несомненно заслуживает больше внимания, чем ему теперь уделяется в литературе.

Заключительные главы книги И. Граната посвящены перспективам. Он видит в индустриализации колоний важнейшую причину мирового кризиса, поскольку этим подрезывается существование индустриальных стран, в то время как сокращение эмиграции за океан лишает индустриальных рабочих «базы отступления». Исход из кризиса И. Гранат видит—в прекращении этой индустриализации и в старом делении на промышленные и аграрные страны. Но для этого необходимо, чтобы капитал, экспортируемый из промышленных стран, шел бы не на организацию промышленных предприятий в колониях, а на техническую реорганизацию земледелия в них. А так как земледелие—наименее производительная отрасль, то рассчитывать на такое направление развития в пределах капитализма, заинтересованного в извлечении максимальных прибылей, невозможно, и задача возвращения индустриализирующихся стран на путь чистого земледелия должна стать задачей социалистической революции. Вывод этот не менее спорен, чем все предыдущие, и отличается от них еще меньшей обоснованностью. Разделение труда между странами, конечно, необходимо, и нормальный характер оно может получить только при социализме, но совершенно нелепо считать разделение между промышленностью и земледелием—единственной рациональной формой территориальной специализации. В конечном счете само земледелие должно стать только одной из отраслей промышленности наряду с другими.

При всех недостатках и противоречиях книга И. Граната представляет все же серьезное научное исследование—обнаруживает богатую эрудицию автора. С этой точки зрения, она представляет несомненный интерес.

И. Дашновский.

«Проблемы мирового денежного обращения». Сб. ст. под редакцией Г. Я. Сокольников. Финансовое Издательство НКФ СССР. Москва 1927 г.

Проблемы теории и практики (политики) денежного обращения привлекали и привлекают наибольшее внимание теоретико-экономической мысли и практических деятелей. Особенно в периоды денежных инфляций на книжный рынок выбрасываются потоки денежной литературы и происходит своего рода «инфляция» этой последней. Однако углубленное изучение сложнейших проблем денежного обращения и валютной политики большей частью происходит не в эти периоды денежных кризисов и обостренной полемики в периодической литературе, но после них, когда накапливается достаточный материал и созревает необходимость теоретического анализа новых опытов в области денежного обращения.

И именно в данный момент необходимость в таком теоретическом анализе особенно остро ощущается. Эксперименты в области денежного

обращения в Германии, Австрии, СССР за период империалистической войны и Zusammenbruch'ов, эксперименты, которые оставили далеко позади себя эпоху Великой Французской Революции; пертурбации в мировом денежном аппарате и во всей системе мирового хозяйства за время войны и восстановительно-стабилизационного периода; проекты и опыты построения денежной системы на совершенно новой, неизвестной в прошлой основе (Gold Exchange Standard и ныне осуществленная в Англии рикордовская система Gold-Bullion Standard); тенденции со стороны капиталистически-ведущих стран к монополистическому регулированию всего механизма мирового денежного обращения,—все это открывает широчайший плацдарм для марксиста-исследователя.

Рецензируемый сборник дает весьма богатый материал и выдвигает актуальнейшие вопросы в области денежного обращения. В сборнике дан ряд статей крупнейших европейских и наших специалистов, которым предшествует вводная статья Г. Я. Соколыникова под названием «Метаморфозы мирового денежного обращения».

Автор этой статьи пользуется приемом чисто-количественного анализа объема денежного обращения, указывает, что «нынешняя мировая денежная масса в обращении, переведенная в рубли довоенной покупательной силы, оказывается приблизительно равной массе мирового денежного обращения 1913 г.» и что налицо «стихийные процессы восстановления равновесия, происходящие в мировом товарно-денежном обороте». К этим выводам автор приходит путем статистических манипуляций, где в одну массу соединено золото в резервах и в обращении с бумажной валютой, совершенно игнорируется роль банковских депозитов и скорость обращения денег, что, однако, в корне меняет вопрос о ценности необходимой для мирового обращения денежной массы, и поэтому делает даже в пределах чисто количественного анализа бесплодным констатирование приблизительного равенства «покупательского веса» нынешней и довоенной денежной массы. Далее автор предвидит дальнейшее понижение товарных цен, каковое будет «сопровождаться некоторым относительным сокращением нынешнего объема мирового денежного обращения» (стр. 5), поскольку «система золотого обращения уступила место системе золотого обеспечения» (стр. 6).

Однако данные, которыми оперирует автор, совершенно недостаточны для выяснения тенденции мирового уровня цен.

Проблему мирового денежного обращения автор рассматривает вне связи с качественными изменениями в структуре мирового хозяйства, и в частности совершенно не учитывается то изменение, которое вносит существование СССР в систему мирового хозяйства. Правда, автор указывает на послевоенное изменение структуры денежного обращения (система золотого обеспечения вместо системы золотого обращения) и отрицает возможность «постепенного возвращения» к «золотым» временам довоенного Аранжуэца (стр. 6). Но это по существу вывод того же Дж. Бэкхауза (статья «Недостаток золота»), который игнорирует противоречия между Америкой, Англией и другими странами, с одной стороны, и мировой золотопромышленностью, с другой, отчетливые указания на которые мы имеем в статье Лефельдта «Регулирование добычи золота». Кроме того, весьма симптоматично доказательство со стороны немецкого автора, известного металлурга Лянсбурга («Три вида золотой валюты») преимуществ системы Gold Standard (золотая валюта с золотым обращением) в сравнении с системами Gold Exchange Standard (система девизного паритета без золотого обращения) и Gold Bullion Standard (система

паритета золотых слитков), при которой эквивалент с неполноценной валютой с золотом поддерживается покупкой и продажей золотых слитков, а не иностранных валют и векселей, как при Gold Exchange Standard. Если уже в Германии раздаются голоса в пользу золотой валюты в собственном смысле, то что же можно сказать об Америке, которая прямо заинтересована в повышении монетарного спроса на золото, и которая поэтому не прочь навязать систему действительного золотого обращения зависящим от нее в финансовом отношении европейским странам? Из этого мы видим, что вопрос о возможности восстановления status quo в области денежного обращения решается не так просто.

Наконец, в вводной статье следовало бы связать проблему современного мирового денежного обращения с той теоретической проблемой о влиянии издержек производства золота на цены, которая оживленно дискутировалась в марксистских экономических кругах перед войной в связи с ростом товарных цен и, следовательно, ухудшением положения рабочего класса, в то время как анализ проблемы именно под этим углом зрения имеет огромное теоретическое и практическое значение.

Дискуссия, развернувшаяся на страницах органа немецкой социал-демократии «Neue Zeit» в 1912—1913 гг. между Варгой и Гильфердингом, с одной стороны, и Каутским и О. Бауэром—с другой, привела к окончательному отмежеванию Гильфердинга от теоретических основ марксизма.

В своей статье «Деньги и товар» Гильфердинг доказывал, что всемогущество буржуазного государства преодолевает экономические законы, поскольку стихия отныне уже не господствует в сфере денежного обращения.

«Государственное регулирование денежного обращения,—писал Гильфердинг,—означает собой принципиальное изменение во взаимоотношениях золота и товара. Благодаря государственному вмешательству фиксируется меновое отношение между золотой монетой и товарной массой... Изменения в издержках производства золота не оказывают влияния на меновое отношение золотой монеты к товарам, они определяют лишь то, какие золотые россыпи могут разрабатываться в надежде получить прибыль... Вследствие использования в качестве денежного материала золото приобретает также фиксированную цену¹⁾. Но капиталистическая действительность прекрасно показала всю «объективную» и «научную» ценность этого открытия. От «фиксированного менового отношения между золотой монетой и товарной массой» и «фиксированной ценой» золота не осталось и следа: к 1920 г. золото потеряло 40% своей довоенной покупательской силы, и это «фиксированное» в голове Гильфердинга меновое отношение золота и товаров продолжает меняться; мы не сомневаемся, что оно и впредь будет меняться, следовательно, нет абсолютно никаких оснований для пересмотра марксовой теории в этом вопросе.

И весьма характерно, что та фиксация покупательной силы золота, которая марксисту Гильфердингу представлялась столь простой операцией для могучего государственного аппарата, ставит перед экономистами-консультантами буржуазных государств ряд серьезнейших препятствий на пути осуществления подобных мероприятий. Три статьи сборника: Г. Касселя «Недостаток золота», Р. А. Лефельдта «Регулирование добычи золота» и Дж. Бэкхауза «Недостаток золота. Ком-

¹⁾ Сборн. «Деньги и денежное обращение в освещении марксизма», изд. НКФ, 1923 г., стр. 32.

ментарии к статье проф. Касселя», обсуждая именно эту проблему, отнюдь не могут дать на нее такого простого ответа, который дал Гильфердинг!

Густав Кассель, сторонник количественной теории, предвидит растущий недостаток золота и падение товарных цен. Считая экономически рациональным стабилизацию нынешней покупательской силы золота (стр. 17), Кассель рекомендует три мероприятия для борьбы с понижением цен: 1) отказ от фактического золотого обращения, 2) понижение золотого покрытия центральных банков и 3) международную централизацию золотых резервов. К этому присоединяется еще одно частное мероприятие, а именно борьба с «возникновением нового совершенно ненужного спроса на золото» со стороны Индии, которой поэтому не рекомендуется введения золотого обращения (стр. 16).

Наоборот, Лефельдту рисуется обратная перспектива, а именно избыток и обесценение золота, а, следовательно, повышение цен (золотая инфляция). Однако оба автора сходятся на целях мировой политики денежного обращения, мероприятия которой должны быть направлены против всякого колебания цен и привести к стабилизации ценности золота. Возражая Г. Касселю, Дж. Бэкхауз видит причину «недостатка золота» не в падении добычи золота, но в понижении его покупательской силы, и полагает, что никаких особых мер для регулирования производства золота и организации денежных систем вообще не требуется: необходимо только обеспечить... миру мир! Золото при этом условии само повысится в своей ценности как раз до такого уровня, который необходим для устранения мнимого «недостатка золота».

Эта наивная вера в доктрину *laissez faire, laissez passer* с полным основанием не разделяется многими экономистами, которые прекрасно знают о колебаниях покупательской силы золота в XIX веке на 25%—30% вверх и вниз, о падении покупательской силы золота в Соединенных Штатах на 40% по отношению к довоенному времени и которые поэтому считают, что без решительных интернациональных мероприятий нельзя обеспечить хотя бы приблизительную устойчивость капиталистической системы со стороны денежного обращения. И Кассель, и Лефельдт, подобно марксисту Гильфердингу, верят в могущество и «разум» буржуазного государства и полагают, что, повидному, достаточно осознать дефективность стихийной системы денежного обращения, чтобы эту стихийность побороть и дефективность устранить!

Каким же путем это возможно? Оказывается, что, по Касселю, необходимо провести рекомендованное еще Генуэзской конференцией (!) сокращение спроса на золото со стороны центральных банков путем международной централизации золотых резервов. Кассель апостол интернационального капиталистического сотрудничества и враг ограниченности национально-капиталистических интересов. Он не жалеет сил для «просветительной работы» («просвещение» капиталистов!) среди народов за освобождение от суеверного отношения к накоплению золотых запасов в стальных кладовых центральных банков и за создание международной централизации золотых резервов. Касселевская пропаганда международного содружества ставится на более конкретную почву г-ном Лефельдтом, который уже предлагает план создания международного регулирующего органа, который мог бы высидеть над национально-капиталистическими интересами и действовать на благо всего мирового хозяйства.

Автор указывает, что основные источники золотопроизводства находятся в руках Британской империи и Соединенных Штатов Северной

Америки, и что оба эти государства могли бы осуществить цель регулирования добычи золота в интересах стабилизации валюты. Однако этот регулирующий орган по его убеждению, обязательно должен носить характер подлинной международной организации, при чем очень желательно сотрудничество России. Автор—большой оптимист: он уверен, что в этом органе «не будет конфликтов между интересами больших и малых государств, и последние не будут иметь основания настаивать на специальном представительстве... Ее состав может быть определен по аналогии с составом Лиги Наций (sic!), а именно главнейшие государства будут иметь постоянное место, тогда как все другие будут выбирать своих представителей» (стр. 26—27). Нельзя не согласиться с автором проекта в том, что этот орган, если он действительно сформируется, будет создан по аналогии с Лигой Наций и по аналогии с последней в нем не будет конфликтов (!) «между интересами больших и малых государств», и что последние не будут располагать и постоянными местами, что, наконец, этот орган так же успешно разрешит экономические противоречия в мировом хозяйстве, как Лига Наций разрешает политические противоречия! И подобно тому, как многим буржуазным пацифистам уже пришлось разочароваться в том, что Лига Наций, действительно, обеспечивает миру мир, так и апологетам мирового экономического содружества придется разочароваться в возможности со стороны проектируемого органа устранить колебания ценности мирового товара—золота и обеспечить устойчивое развитие мировой экономической системы.

На самом деле: к чему сводится идея проекта? К стабилизации мировых товарных цен. Но если даже, действительно, удалось бы побороть сопротивление мировой золотопромышленности и денежных капиталистов и установить действительное международно-монополистическое регулирование денежного обращения, то гарантировало ли бы это стабилизацию товарных цен? Ни в коем случае, ибо стабилизация цен вообще есть *non-sense*, поскольку повседневные колебания цен и циклические кризисы цен есть единственная форма, в которой вообще может осуществляться динамика капиталистической системы. Поэтому регулировать цены—это значит регулировать всю систему мирового производства, это значит заменить стихийную систему организованной экономической системой, что не под силу капитализму. Поэтому проект Лефельдта бьет мимо цели, ибо он бьет значительно дальше ее.

Но, быть может, этому органу удастся разрешить если не всю проблему стабилизации цен, то лишь часть ее, а именно устранить те колебания товарных цен, которые идут со стороны денежного обращения? Нужно сказать, что не только у нас, но и у самого Лефельдта нет твердой уверенности в этом. Он сам вскрывает противоречия между крупнейшими странами в этом вопросе. Автор указывает, что если мы возьмем Соединенные Штаты, то прежде всего бросится в глаза большая заинтересованность их в золоте» (стр. 30). Эта заинтересованность объясняется тем, что один металлургический запас Соединенных Штатов составляет девятьсот миллионов фунтов стерлингов плюс консолидированный в золоте долг Англии на ту же сумму, плюс аналогичная консолидация долгов других европейских государств. «Все это,—говорит автор,—составляет большое богатство, ценность которого уменьшилась бы в связи с обесценением золота» и политика федерального резервного совета, направленная не на понижение цен, но только на стабилизацию существующего уровня (на индексе 150 по отношению к 1913 году), не встречает симпатии широких масс» (стр. 31).

Таким образом Сев.-Амер. Соед. Штаты, точнее крупные денежные капиталисты и вся масса мелких раббэ этой страны, заинтересованы в понижении товарных цен и, следовательно, в расширении спроса на золотое денежное обращение, или на усиление резервов в других странах, или, наконец, в сокращении производства золота. Также и все золотопромышленники естественно заинтересованы в повышении спроса на золото со стороны национальных денежных систем.

Что касается Англии, то ее интересы в этом вопросе противоречивы. С одной стороны, Англия имеет внешний долг свыше семи миллиардов фунтов стерлингов, и всякое повышение покупательской силы золота означало бы фактический рост этого долга. С другой стороны, Англия является кредитором при сумме внешних инвестиций в 3 миллиарда фунтов и здесь, наоборот, для Англии было бы выгодно не понижение, как в первом случае, но повышение покупательской силы золота. Наконец, налицо и внутренний долг, понижение которого (при снижении уровня товарных цен) встретит отпор со стороны кредиторов—населения. Поэтому позиция Англии в этом вопросе далеко не так ясна, как позиция Соед. Штатов, и возможно, что Англия займет среднюю линию в этом вопросе, а, именно ту, о которой говорил Черчилль в своей бюджетной речи (индекс 175 к 1913 году).

Что же касается стран должников и в особенности Германии (об этих странах Лефельдт почему-то умалчивает, видимо, считая, что, несмотря на все красивые слова о сотрудничестве, их влияние будет нейтрализовано блоком Англии с Соединенными Штатами), то для последней интересы промышленности совпадают с интересами государства-должника, поскольку обоим выгоден высокий уровень мировых товарных цен: промышленность благодаря этому повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке, а государство снижает свои платежи, выраженные в реальной товарной массе. Отсюда совершенно ясно, что интересы этих стран противоположны американским, и поэтому ни о какой единой политике денежного обращения не может быть и речи.

Вот почему мы не склонны принимать за чистую монету красивые слова г-на Лефельдта, за которыми, в сущности, скрывается идея создания монополии на мировом золотом рынке со стороны Англии и Соед. Штатов, блок которых может обеспечить действительно решающее влияние на мировой золотой и валютный рынок, но, конечно, не в интересах отвлеченной идеи устойчивости мировой валюты, но в прямых интересах стран-монополистов. И если бы такой блок удалось осуществить, то это означало бы бешеный экономический нажим на Европу и Азию, финансовую гегемонию Британской империи и Соед. Штатов.

Нечего и говорить, что такая перспектива не имеет ничего общего с той перспективой мирного содружества, которая рисуется или которую вернее рисует для других г-н Лефельдт. Однако осуществление такого блока вряд ли можно ожидать в ближайшее время, ибо налицо не только указанные специально валютные противоречия между Англией и Америкой, но и ряд других серьезнейших общеэкономических, а, вместе с тем, и политических противоречий (достаточно вспомнить банкротство конференции Америки, Англии и Японии по вопросам морских вооружений). Однако со стороны Америки валютный или финансовый империализм несомненно налицо.

Указанные три статьи крупных специалистов, посвященные проблеме регулирования мирового денежного обращения и анализу перспектив

динамики мировых товарных цен, являются самыми важными и интересными статьями сборника.

Остальные статьи имеют второстепенное значение. В статье И. Китчина «Золото и экономическое развитие» также рекомендуется «усиленная экономия золота как в виде товара, так и в виде денег», ибо «если такая экономия не будет проведена, следует ожидать периода падения общего уровня цен, понижения благосостояния (кого? З. А.) и всего уровня мирового хозяйственного развития» (стр. 43). Однако эти выводы автора не имеют самостоятельного значения; также и его исчисления ожидаемого золотого дефицита в мировом хозяйстве базируются на том же методе Густава Касселя и его количественной теории. Однако в статье Китчина дана в прекрасной форме квинт-эссенция богатейшего статистического материала по мировому производству золота и его распределению вплоть до 1925 года и дана десятилетняя перспектива (до 1935 года) «золотого баланса», которым воспользовался в своей статье и Г. Сокольников. С этой стороны статья Китчина представляет несомненную ценность и для более широкого круга читателей.

Статья Н. Якушкина «Европейские валютные реформы и проблема золота» носит чисто обзорный характер и также представит интерес для широкого круга читателей. Обстоятельна и интересна статья Л. Юровского «Судьбы серебра». Особо следует отметить статью известного немецкого металлурга Альфреда Лянсбурга «Три вида золотой валюты», которая открывается хвалебным гимном золотому тельцу: «Уже прошли те времена,—пишет Лянсбург,—когда золото клеймилось как фетный (sic!), на который может взирать с верой лишь слепое неразумие, когда считалось признаком государственной мудрости экспортировать собственные запасы желтого металла в англо-саксонские страны, чтобы «задушить их золотом». Лянсбург приветствует восстановление золотых валют, хотя «некоторые ученые фантазеры, правда, возражают против этого и заклинают правительства после неудачи стольких экспериментов сделать еще один шаг с неметаллической, именно государственно-социалистической валютой, которую они зовут то индексной валютой, то манипулируемой валютой, то как-нибудь иначе» (стр. 56; курсив наш. З. А.).

В некотором отношении Лянсбург прав, называя неметаллическую валюту «государственно-социалистической», ибо действительно только в том случае, «если бы производство внутри страны было организовано, то металл потребовался бы только для того, чтобы выплачивать разницу по балансу международной торговли, когда равновесие его временно нарушается» (К. Маркс, «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 56). Отвергая, без достаточных к тому оснований, систему Gold Exchange Standard (о которой мы говорили выше), автор категорически высказывается в пользу системы Gold Standard (золотого обращения), при которой «способность золота вступать в соединение с местной валютой и снова выделяться из этого соединения безусловно обнаруживается в отношении не только заграничной, но и внутреннего рынка данной страны» (стр. 65). Итак, возврат к добрым старым «золотым временам», к системе автоматического регулирования денежного обращения! Если неметаллическая теория победит, а именно к этому по видимости клонится дело почти во всех странах, то это будет означать неспособность капитализма хотя бы к частичной рационализации механизма денежного обращения, неспособность не только к освобождению от всех миллиардных faux frais обращения в целом, но даже хотя бы к относительно более рациональной утилизации

золотых масс путем замены системы золотого обращения золотым обеспечением. Следует поэтому согласиться с выводами Г. Сокольников о том, что капиталистической системе не суждено освободиться от власти золотых оков. Лишь социалистическая система хозяйства может привести к «Enttöhrnung des Goldes», о котором мечтали и мечтают немецкие номиналисты.

3. Атлас.

Крестьянское движение в 1917 году. В документах и материалах под редакцией М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева. Подготовили к печати К. Г. Котельников и В. Л. Меллер. С предисловием Яковлева. Гиз. 1927 г. Стр. XVI+442.

Составители, гг. Котельников и Меллер, проделали большую работу, собрав документы и материалы о крестьянском движении в 1917 г. Можно согласиться с составителями, что эти материалы являются в настоящее время единственным сводным материалом для исследователя по крестьянскому движению, — материалом, основанным на ежедневной записи главнейших сообщений, получаемых в центре со всей России. При всей своей неполноте и некоторой негочности, эти сведения дают не только возможность изучать общий характер крестьянского движения, но интенсивность его по отдельным районам, основные формы и направление движения в этих районах, политический сдвиг крестьянства после июля, когда крестьяне, изверившись в возможность разрешения вопроса о земле в Учредительном собрании, переходят к массовым стихийным повсеместным захватам, разгромам — к подготовке Октября в деревне.

Самый характер крестьянского движения изменялся не только из месяца в месяц, но сильно отличался по своим формам и направлению в разных районах. Поэтому сообщения расположены составителями не только по губерниям и месяцам, но и в пределах каждого месяца по четырнадцати районам. При районировании авторы использовали наиболее общепринятое районирование Семенова-Тянь-Шанского с теми изменениями, которые произошли к 1917 г.

Я. А. Яковлев, анализируя крестьянское движение в 1917 г., приходит к следующим выводам. В первые месяцы Февральской революции преобладали совершенно своеобразные, в истории не виданные, способы «мирной» борьбы с помещиками, вытекающие из крестьянского доверия к буржуазии и к правительству буржуазии.

Июльские репрессии Временного правительства оказались еще недостаточны для того, чтобы разрушить в корне свойственное крестьянству, как мелкому буржуа, доверие к буржуазии. Вместо 120 случаев организованного движения на 100 случаев неорганизованного в июле мы имеем в августе 62 случая организованного движения на 100 случаев неорганизованного. В августе отмечается огромное падение уровня организованности аграрного движения, и это впервые за время Февральской революции; в то же время оно значительно более четко, чем в июле, сменяет формы борьбы, которые приближаются к типу гражданской войны.

В августе крестьяне получили урок огромного значения. Циркуляры правительства, сводящиеся исключительно к предложениям подавлять какие бы то ни было нарушения прав помещиков, карательные воинские части, весь аппарат принуждения меньшевиков и с.-р.-ов нанесли решительный удар старой крестьянской формуле «за правительство и за землю». Крестьянин убеждался в том, что надо выбрать: или за правительство с.-р., или за землю. Свой выбор крестьянин сделал в

сентябре и октябре. В сентябре и октябре крестьянское движение поднимается на уровень крестьянской войны.

Изложив характер движения, тов. Яковлев вскрывает противоречия и ограниченность крестьянского восстания, которое накануне октября не стало политическим, т.-е. направленным непосредственно против правительства. Крестьянское движение ограничивалось задачей уничтожения ближайшего к селу помещичьего гнезда.

На продолжавшуюся в сентябре и октябре расправу правительства с аграрным движением крестьяне отвечают усилением политической борьбы и разгромом помещиков.

Крестьянское восстание, взятое само по себе — восстание стихийное, ограниченное целями разгрома соседнего помещика, — не могло победить, не могло уничтожить враждебной крестьянству государственной власти, поддерживавшей помещика. Поэтому победить аграрное движение могло только в том случае, если бы его возглавил соответствующий класс города. Самостоятельную роль в революции крестьянство могло бы сыграть, только преодолев ограниченность своего движения, превратив свое движение в сознательное, организованное политическое движение. А между тем, к октябрю исчезли и те элементы крестьянской организованности, которые были налицо в июле. Вот почему судьба аграрной революции решилась, в конечном счете, не в десятках тысяч деревень, а в сотнях городов. Только рабочий класс, нанеся решительный удар буржуазии в центрах страны, мог сделать победоносным крестьянское восстание. Проблема победы крестьянского восстания была проблемой победы рабочего класса в городе.

Введение т. Яковлева страдает тем, что берет историю крестьянства в целом и не рассматривает отношения его разных слоев к Временному правительству от февраля до октября. В общем вывод т. Яковлева приложим не только к крестьянскому движению, накануне октября завершившему историю крестьянских восстаний в императорской России, но ко всем крестьянским восстаниям России. Анализ восстаний крестьян накануне октября показывает, как сравнительно мало эволюционировала тактика крестьянских движений. Это еще раз подтверждает ту марксистско-ленинскую истину, что само крестьянство без помощи пролетариата никогда не будет в силах победить или долго удержаться у власти.

Большой интерес настоящего сборника состоит еще в том, что он дает возможность изучить характер национальных движений накануне октября.

Национальная проблема в России была в значительной степени аграрно-крестьянской проблемой. Помещичья колониальная политика прежде всего выражалась в беспощадном расхищении и грабеже интонационально крестьянских земель.

Как же интонационалы крестьяне реагировали на Февральскую революцию?

Восточные интонационалы — киргизы — с первых дней революции пролились конституционными иллюзиями. «Главарь» шайки мятежных киргизов, узнав о смене правительства, прекращает все насильственные действия, распускает свою шайку.

Но эти мирные иллюзии продолжались недолго. Уже в мае месяце областной комиссар требовал ареста амнистированных главарей киргизских «шайек». В июле разворачивается борьба между киргизами и русскими крестьянами: происходили массовые потравы крестьянских хлебов и полей киргизами. В июле месяце крестьяне получили поддержку в лице солдат, вернувшихся с фронта. Общекиргизский съезд ходатай-

ствовал о разоружении крестьян и солдат. Такая национальная борьба происходила не только в Киргизии, но по всему Востоку России.

Движение туркменов накануне октября напоминает роль башкир в Пугачевщине: в сентябре месяце в Хованском округе туркмены производили разгром городов. «Четыре города и мелкие селения большей частью выжжены. Заводы, построенные русскими хлопко-промышленниками, сгорели». Крестьянско-национальное движение на восточных окраинах направлялось против русского кулачества и буржуазии.

Такой же характер имело движение в некоторых районах Кавказа: в Терском округе туземцы и чеченцы терроризировали русское население. «Часто бывали случаи пленения русских разбойничьим чеченским населением, вооруженным немецко-австрийскими винтовками». С другой стороны, «армяне вместе с казаками вырезывали целые селения мусульман». В сентябре месяце «стремления русского населения к захвату инородческих земель принимают угрожающие размеры. Инородцы в целях сохранения своей собственности ведут переговоры с союзом горцев для совместных действий».

Иной характер носило крестьянское движение на другой противоположной окраине — в Прибалтике. Антибаронское движение латышских крестьян с первых дней облегчалось помощью солдат-фронтовиков, принимавших активное участие в разгроме имений и аресте помещиков-немцев.

Комиссары Временного правительства продолжали на местах национальную политику царизма. Буржуазное правительство не было в силах разрешить национального вопроса, так как оно было против передачи земли крестьянству.

Сгруппировав данные правонарушений по месяцам, мы получим следующую таблицу:

М Е С Я Ц Ы	Земельные правонарушения	Рабочее движение	Реквизиции	Погромно-захватные движения	Профессионально-промышленные эксцессы	Военные эксцессы
Март	17	66	9	56	—	1
Апрель	284	11	4	33	20	8
Май	259	5	—	152	—	—
Июнь	577	29	—	112	37	21
Июль	1.122	—	—	387	268	109
Август	691	—	—	440	356	110
Сентябрь	629	—	—	958	469	217

Если после июля месяца падют правонарушения земельные, т. е. относительно полулегальные средства борьбы, то после июля значительно увеличиваются погромы захваты, профессионально-промышленные эксцессы и военные волнения.

Изучив движение по районам, Яковлев верно отмечает, что основным плацдармом крестьянской войны были Центрально-Земледельческий и Средне-Волжский районы. В этих районах превращение мирного

движения в неорганизованный, стихийный бунт, крестьянскую войну, выражено с наибольшей очевидностью¹⁾.

Белоруссия и Украина к октябрю также стали районами крестьянского восстания: помещиков не спасали ни застой на базе закрепления крепостнических отношений, как это было в Центрально-Земледельческом и Средне-Волжском районах, ни капиталистический прогресс на основе использования крепостнических остатков, как это было на Украине и в Белоруссии. Яковлев отмечает, что даже националистическому движению на Украине не удалось отвлечь крестьян от непосредственной борьбы за землю. В Центрально-Промышленном и Приозерном районах движение развивалось к октябрю значительно медленнее, чем в остальных районах.

Аграрная революция развивалась там, где имелось помещичье землевладение на старой крепостнической основе, или там, где это старое помещичье землевладение реорганизовалось в капиталистическое. В районах более поздней колонизации без крупного помещичьего землевладения, несмотря на наличие в этих районах очень мощного кулацкого слоя, аграрное движение не приняло тех размеров, как в районах помещичьего землевладения. Борьба против помещика здесь не создала еще активного сотрудничества крестьянства с рабочим классом. Борьбу с кулаком смог организовать только пролетариат, ставший у власти.

К книге приложены правительственные циркуляры, иллюстрирующие аграрную политику Временного правительства. Циркуляры князя Львова, с.-д. меньшевика Церетели и Корнилова ничем друг от друга не отличаются.

Все они предлагали воздержание и терпение до созыва Учредительного собрания и требовали применения воинской силы для подавления беспорядков.

В заключение надо отметить, что рецензируемый сборник не полон: следовало бы дать крестьянские указы, относящиеся к дооктябрьскому периоду.

С. Томсинский.

¹⁾ Кстати, на десятом году революции бывший селянский министр В. Чернов в «Итогах черного передела» приходит к выводу, что крестьянство, совершившее черный передел, проявило к помещикам «великий акт всепрощения» и не осмелилось обогреть своих рук в крови.

Содержание журнала „Под Знаменем Марксизма“ за 1927 год.

ЛЕНИН И ЛЕНИНИЗМ.

- А. Деборин.—К истории «Материализма и эмпириокритицизма» (№ 1, стр. 5).
Н. Луцкий.—«Материализм и эмпириокритицизм» в оценке встретившей его критики (№ 1, стр. 19).
А. Максимов.—Современное естествознание и «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина (№ 10—11, стр. 218).

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА.

- К. Маркс и Фр. Энгельс.—Немецкий социализм в стихах и прозе, с пред. Ф. Шиллера (№ 7—8, стр. 5).
Ф. Энгельс.—Из Парижа в Берн (№ 5, стр. 5).
Его же.—Отрывок (начало) статьи о Штирнере (№ 6, стр. 12).
Его же.—Письмо Максиму Гильдебрандту (№ 6, стр. 16).
Его же.—«Капитал» Маркса (первое изложение «Капитала» для рабочих), с предисл. Э. Ц. (№ 7—8, стр. 85).

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА.

- Гр. Баммель.—О нашем философском развитии за десять лет революции (№ 10—11, стр. 46; № 12, стр. 31).
Д. М.—Социализм и философствующие реформисты (№ 9, стр. 202).
А. Деборин.—Ревизионизм под маской ортодоксии (№ 9, стр. 5; № 12, стр. 5).
Его же.—Диктатура пролетариата и теория марксизма (№ 10—11, стр. 5).
В. Дитякин.—Антонио Лабриолы (Био-библиографический очерк) (№ 6, стр. 61).
К. Милонов.—Октябрь и марксизм (№ 10—11, стр. 118).
И. Разумовский.—Октябрьская революция и методология права (Некоторые итоги к 10-летней годовщине) (№ 10—11, стр. 98).

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ.

- В. Асмус.—К спорным вопросам истории философии (Ответ А. Варьяшу) (№ 1, стр. 165).
Его же.—Диалектика необходимости и свободы в этике Спинозы (№ 2—3, стр. 22).
Его же.—Алигизм Уильяма Джемса (№ 7—8, стр. 53).
О. Бланки.—Фатальное, фатализм, фатальность, с предисл. С. Красного (№ 4, стр. 54).
В. Брушлинский.—Спинозовская субстанция и конечные вещи (№ 2—3, стр. 56).
А. Варьяш.—Монистический взгляд на историю философии и ее спорные вопросы (№ 1, стр. 142).

- А. Деборин.—Бenedикт Спиноза (1632—1677) (№ 2—3, стр. 5).
Мих. Дынник.—У истоков французского фидеизма (Учение Эмиля Бутру о случайности и необходимости) (№ 9, стр. 49).
В. Кирпотин.—Материализм Писарева (№ 1, стр. 63).
Ф. Лассаль.—Письмо о «Гераклите» издателю (№ 4, стр. 48).
И. Разумовский.—Спиноза и государство (№ 2—3, стр. 65).
Ю. Стежков.—Философские воззрения Н. Г. Чернышевского (№ 5, стр. 24).
Г. Тыманский.—Два идеолога ранней буржуазии (Материалист Т. Л. Лай и утопист И. И. Бехер) (№ 1, стр. 39).

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ.

- Ник. Карев.—Октябрьская революция и исторический материализм (Заметки к десятилетию) (№ 10—11, стр. 89).
Акад. Н. Марр.—Расселение языков и народов и вопрос о прародине турецких языков (№ 6, стр. 18).
А. Неусыхин.—«Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки (№ 9, стр. 113; № 12, стр. 111).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ТЕОРИЯ СОВЕТСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

- А. Айхенвальд и Б. Борилин.—О неравномерности экономического развития при капитализме (№ 2—3, стр. 95).
З. Атлас.—Новейший психоанализм в политической экономии (Теория Роберта Лифмана) (№ 6, стр. 120).
Я. Берзгис.—Очерки по теории советского хозяйства. Две тенденции развития в мировом хозяйстве (статья первая) (№ 10—11, стр. 132).
С. Бессонов.—«Капитал» Маркса в свете современных экономических проблем (№ 7—8, стр. 94).
И. Дашковский.—К теории развития мирового рынка и мирового хозяйства (№ 1, стр. 86).
Его же.—Международный обмен и закон стоимости (№ 4, стр. 131; № 5, стр. 59).
Из истории полемики «вокруг» «Накопления капитала» Розы Люксембург.
1) Предисловие (№ 2—3, стр. 76).
2) Статья Ф. Меринга (№ 2—3, стр. 79).
3) Статья Ю. Карского (№ 2—3, стр. 89).
З. Любимов.—Плод недолгой науки (№ 12, стр. 83).
В. Погонкин.—К теории земельной ренты (№ 9, стр. 95).
В. Позняков.—Теория ренты в «новом» освещении (Критические заметки по поводу книги проф. Любимова) (№ 4, стр. 97).
Его же.—О первоначальном накоплении (К вопросу о методологической постановке проблемы первоначального социалистического накопления) (№ 9, стр. 77).
К. Розенталь.—Абсолютная рента и национализация земли (№ 2—3, стр. 119).
И. Рубин.—Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса (№ 6, стр. 88).
А. Сагацкий.—Цена производства как производственное отношение (К критике методологии И. И. Рубина) (№ 12, стр. 58).
А. Сивогринов.—Проблемы с.-х. экономики в связи с теорией земельной ренты (К критике тов. Я. Берзгиса) (№ 5, стр. 92).
О. Танхилевич.—Крестьянство как социально-экономическая категория (По работам Маркса и Энгельса) (№ 10—11, стр. 150).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

- А. Андрузский.—Методологические приемы марксистского искусствознания (№ 12, стр. 138).
 Л. Зивельчинская.—Позитивизм и эклектизм в эстетике (№ 5, стр. 132).
 А. Михайлов.—Марксистское искусствознание за годы революции (1917—1927 г.г.) (№ 10—11, стр. 182).
 Валерьян Полянский.—Литературоведение и марксизм (заметки публициста) (№ 5, стр. 119).
 Его же.—Современное состояние методологии литературоведения (№ 10—11, стр. 173).

ПСИХОЛОГИЯ.

- В. Боровский.—Метафизика в сравнительной психологии (№ 7—8, стр. 159).
 К. Корнилов.—Современное состояние психологии в СССР (№ 10—11, стр. 195).

ДИАЛЕКТИКА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ.

- Вильгельм Вин.—Прошлое, настоящее и будущее физики (Речь на юбилейном торжестве Мюнхенского университета 19 июля 1926 г.) (№ 5, стр. 140).
 Б. Виропаев.—Механический период в химии (Из истории химического сродства) (№ 5, стр. 151).
 Г., Б.—Предисловие к статьям А. Эйнштейна и Дж. Дж. Томсона (№ 4, стр. 152).
 Его же.—Мариан Смолуховский (К десятилетию со дня смерти) (№ 9, стр. 141).
 Б. Гессен и В. Егоршин.—V съезд русских физиков (№ 1, стр. 134).
 Их же.—Об отношении тов. Тимирязева к современной науке (№ 2—3, стр. 188).
 Н. Гредескул.—От обезьяны к человеку (Положение вопроса в естествознании и в марксизме) (№ 2—3, стр. 145).
 Его же.—Понятие эволюции (Эволюция механическая, творческая, диалектическая) (№ 7—8, стр. 192).
 Ф. Дучинский.—Гибридизация как фактор эволюции (№ 6, стр. 174).
 Его же.—Нынешняя критика дарвинизма (№ 7—8, стр. 217).
 В. Егоршин.—Естествознание и буржуазная философия (№ 9, стр. 163).
 И. Каблуков.—Ньютон как химик (№ 4, стр. 203).
 Г. Ламб.—Работы Ньютона в области механики (№ 4, стр. 182).
 А. Максимов.—Ньютон и философия (К двухсотлетию со дня смерти Ньютона) (№ 4, стр. 5).
 Г. Ми.—Проблема материи (№ 1, стр. 118).
 Н. Перлин.—Пограничные объекты биологических и социологических наук (Дискреционный метод) (№ 12, стр. 175).
 Вас. Седков.—Диалектический материализм и биология (Некоторые итоги и перспективы) (№ 10—11, стр. 249).
 М. Смолуховский.—О понятии случайности и о происхождении законов вероятности в физике (№ 9, стр. 149).
 А. Тимирязев.—По поводу дискуссии об опытах Дейтон-Миллера на V съезде русских физиков (№ 2—3, стр. 178).
 Его же.—Прошлые и современные искажения физики Ньютона (№ 4, стр. 186).
 Дж. Дж. Томсон.—Работы Ньютона в области физики (№ 4, стр. 174).
 А. Эйнштейн.—Механика Ньютона и ее влияние на развитие теоретической физики (№ 4, стр. 166).

VARIA.

- А. Молок.—Военный трибунал Парижской Коммуны (№ 6, стр. 160).
 Н. Рубинштейн.—Теория революции австрийской «левой» социал-демократии (№ 7—8, стр. 109).

В НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ.

- Г. Б. и Ф. Шиллер.—Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (№ 10—11, стр. 269).
 Д. М.—VI международный философский конгресс (№ 2—3, стр. 200).
 В. Дяткин.—Научно-исследовательская работа по марксизму в Казани. Кабинет по изучению марксизма при ВПИ (№ 5, стр. 190).
 Заседание Общества Воинствующих Материалистов 10 марта 1927 года (Речи гг. Карева, Ваганяна, Разумовского, Фридлянда и др.) (№ 4, стр. 208).
 Ст. Кривцов.—О работе Комм. Академии (№ 10—11, стр. 263).
 М.—О праздновании 250-летия со дня смерти Спинозы (Комм. Академия) (№ 4, стр. 228).
 Я. Розанов.—Киевская научно-исследовательская кафедра марксизма-ленинизма при Всеукраинской Академии Наук (№ 5, стр. 186).
 Проф. Я. Шатуновский.—Первый математический съезд (№ 5, стр. 180).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

- Аристотель.—Поэтика. Перевод, введение и примечания Н. И. Новосадского. Изд. «Academia», Ленинград, 1927 г., стр. 120 (№ 2—3—Гр. Баммель).
 Archives de Philosophie, т. III, 1925—26 (№ 1—Мих. Дынский).
 Архив мирового хозяйства. Журнал института мирового хозяйства при Кильском университете. Под редакцией проф. Б. Гармса. 1927 г. Первый (январский), второй (апрельский), третий (июльский) и четвертый (октябрьский) выпуски (№ 12—Ф. Канелюш).
 Н. А. Бобринский.—Зоогеография и эволюция. Дарвинская библиотека. Гиз. 1927 г., стр. 150, цена 90 коп. (№ 7—8—И. Бугаев).
 Багданов, Б. Раскин и В. Лаврентьев.—Теория кредита. Под редакцией проф. Трахтенберга. Изд. «Пролетарий». 1927 г., стр. 295 (№ 9—3. Атлас).
 Васильев.—Философия и ее проблемы. Популярный очерк. «Прибой». Ленинград 1927 г., стр. 116 (№ 4—А. Арутюнянц).
 Влад. В. И. Вернадский.—Биосфера. Соч. I и II, стр. 146, цена 2 руб. (№ 4—И. Бугаев).
 G. V. Hamilton.—An introduction to objective psychopathology, St. Louis 1925 г. (№ 9—В. Боровский).
 Джон Гобсон.—Империализм. Перевод с английского, с предисловием к русскому изданию В. Б. Беленко. Изд. «Прибой», 1927 г. (№ 5—И. Д.).
 И. Гранат.—Классы и массы в их отношении к внешней торговле. К постановке вопроса. Издание автора. Москва 1927 г. (№ 12—И. Дашковский).
 «Диалектика в природе». Сборник по марксистской методологии естествознания. Сборник второй. Государственный Тимирязевский Научно-Исследовательский Институт. Изд. «Северный Печатник». Вологда 1927 г., стр. 304—VIII (№ 2—3—Б. Гессен и В. Егоршин).

- Морис Домманже.—Коммунар Варлан (1839—1871). Перевод с французского, под редакцией и с предисловием А. Молока. «Прибой», Ленинград 1927 (№ 4—Г. З.).
- А. С. Ирисов.—Звук и музыка. Под редакцией А. Бачинского. Гиз. 1926 г. (№ 2—3—И. Орлов).
- Kant-Studien, Philosophische Zeitschrift, 1926. Том XXXI; 1, 2—3, 4 (№ 6—Мих. Дынник).
- Классики естествознания, кн. 16. Вильям Гарвей. Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных. Гиз. 1927 г., стр. 113 (№ 6—И. Бугаев).
- В. Н. Кондратьев, Н. Н. Семенов и Ю. Б. Харитон.—Электронная химия. Под редакцией и с предисловием акад. А. Ф. Иоффе. Современные проблемы естествознания. Книга 39. Гиз. Москва—Ленинград 1927 г., стр. 160 (№ 4—В. Е.).
- «Крестьянское движение в 1917 году». В документах и материалах под редакцией М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева. Подготовили к печати К. Г. Котельников и В. Л. Меллер. С предисловием Яковлева. Гиз. 1927 г. Стр. XVI+442. Цена 5 р. 25 коп. Тираж 3.000 экз. (№ 12—С. Томсинский).
- Вальтер Кэннон.—Физиология эмоций. Телесные изменения при боли, голоде, страхе и ярости. Перевод Дорфмана и Кратнюкова. Под редакцией и с предисловием Б. М. Завадовского. «Прибой», 1927, цена 2 рубл. (№ 7—8—Вас. Сленков).
- Поль Лафарг.—Томас Кампанелла. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- А. Леонтьев и Е. Хмельницкая.—Очерки переходного периода. «Прибой», 1927 г. Стр. 376 (№ 9—К. Печак).
- Вильгельм Либкнехт.—Никаких компромиссов. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- Его же.—Социализм и культура. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- Logos.—Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur. 1926. Том XV; 1, 2, 3 (№ 5—Мих. Дынник).
- И. Луппол.—Ленин и философия. (К вопросу об отношении философии к революции). Гиз. 1927 г. Стр. 208 (№ 1—Г. Дмитриев).
- Проф. А. О. Маковельский.—Демокрит. Баку 1926 г. Стр. 67—118—60. Оттиск из 6—7 тома «Известий Азербайджанского Государственного Университета имени В. И. Ленина» (№ 4—Г. Б.).
- К. Маркс.—Восемнадцатое брошюра Луи Бонапарта. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- Его же.—Гражданская война во Франции в 1871 г. Гиз. 1926 г. № 1—Г. Зайдель).
- Его же.—Гражданская война во Франции 1871 г. Редакция и примечания А. И. Молока. «Прибой», Ленинград 1926 г. (№ 4—Г. З.).
- К. Маркс, мыслитель, человек, революционер. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- К. Маркс и Фр. Энгельс.—Коммунистический манифест. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- К. Маркс и Фр. Энгельс в эпоху немецкой революции (1848—1850 гг.). Очерки и статьи, собранные Ф. Мерингом, под редакцией и с предисловием Д. Рязанова. Гиз. Москва—Ленинград 1926 г. Тираж 10.000. Стр. VIII+526 (№ 1—Г. З.).
- Mind.—A quarterly review of Psychology and Philosophy. 1926 г. Том XXXV. №№ 137, 138, 139, 140 (№ 2—3—Мих. Дынник).
- The Monist.—A quarterly magazine devoted to the Philosophy of Science. 1926. Том XXXVII; № 1, 2, 3, 4 (№ 2—3—Мих. Дынник).

- П. Новиков.—Теория эпигенеза в биологии. Изд. Комм. Академии. Стр. 99. Цена 70 коп. 1927 г. (№ 7—8—И. Бугаев).
- «Основания новой квантовой механики». Сборник статей под редакцией и с предисловием академика А. Ф. Иоффе. Гиз. 1927 г. Стр. 125 (№ 4—В. Егоршин).
- Макс Планк.—Введение в общую механику. Перевод с немецкого, под редакцией проф. Н. П. Кастерина. Гиз. Москва—Ленинград 1927 г. Стр. 249+VI (№ 5—В. Егоршин).
- Г. В. Плеханов.—Основные вопросы марксизма. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- The Philosophical Review. 1926 г. Том XXXV; 1, 2, 3, 4, 5, 6 (№ 2—3—Мих. Дынник).
- «Проблемы мирового денежного обращения». Сборник статей под редакцией Г. Я. Сокольников, Финансовое Издательство НКФ СССР. Москва. 1927 г. (№ 12—З. Атлас).
- И. Разумовский.—Курс теории исторического материализма. Изд. 2-е. Гос. Изд. 1927 г. Стр. VIII+535 (№ 7—8—Г. Маренко).
- Леонид Райский.—Социальные воззрения петрашевцев. «Прибой», Ленинград 1927 г. (№ 4—Г. Зайдель).
- Проф. В. Репке.—Конъюнктура. С дополнениями и предисловием автора для русского издания. Под редакцией Альб. Л. Вайнштейна. Изд. НКФ. 1927 г. (№ 6—И. Д.).
- Revue Philosophique de la France et de l'Etranger. 1926 г. №№ 1—2, 3—4, 5—6, 7—8, 9—10, 11—12 (№ 1—Мих. Дынник).
- Revue de Métaphysique et de Morale. 1926. №№ 1, 2, 3, 4 (№ 1—Мих. Дынник).
- Дж. Дж. Томсон.—Электрон в химии. Перевод с английского И. А. Каблукова и Н. А. Железновой. Современные проблемы естествознания. Книга 36. Гиз. Москва—Ленинград 1927 г. Стр. 156+VIII (№ 4—В. Е.).
- Проф. Н. Н. Фирсов.—Крестьянская революция на Руси в XVII в. Гиз. 1927 г. 126 стр. (№ 9—С. Томсинский).
- В. Г. Фридман.—Возможно ли движение? «Прибой» (№ 7—8—Г. Дмитриев).
- Владимир Чучмарев.—Материализм Спинозы. К переоценке идеалистической традиции. «Московский Рабочий». Москва—Ленинград 1927. Стр. 132 (№ 4—А. А.).
- Фр. Энгельс.—Развитие социализма от утопии к науке. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).
- Его же.—Крестьянская война в Германии. Гиз. 1926 г. (№ 1—Г. Зайдель).

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ.

- И. Бороздин.—М. П. Павлович (1871—1927 гг.) (№ 6, стр. 239).
- Ф. Дучинский.—В редакцию журнала «Под Знаменем Марксизма» (№ 7—8, стр. 278).
- Е. В.—Пропаганда марксизма среди естествоиспытателей (№ 9, стр. 267).
- Ник. Карев.—Письмо в редакцию (№ 4, стр. 252).
- Общество Воинствующих Материалистов.—Ответ тов. И. И. Скворцову-Степанову (№ 4, стр. 255).
- Сводный указатель к журналу «Под Знаменем Марксизма» за первое пятилетие (1922—1926 гг.) (№ 1, стр. 1—XLVII).
- И. Скворцов.—Письмо Обществу Воинствующих Материалистов (№ 2—3, стр. 256).

Вас. Слепков.—Замечания к письму тов. И. И. Скворцова (№ 4, стр. 253).
 Содержание журнала «Под Знаменем Марксизма» за 1927 год (№ 12, стр. 254).
 Сообщение из Владивостока (№ 6, стр. 242).
 Условия приема на основное и подготовительное отделения Института Красной Профессуры на 1927/28 учебный год (№ 2—3, стр. 259).
 Условия приема в аспиранты научно-исследовательских институтов (РАНИОН) на 1927/28 г. (№ 5, стр. 230).

ОПЕЧАТКИ:

Напечатано:

должно быть:

№ 4
 стр. 119 строка 19 сверху
 комплиментарными

комплементарными

№ 10—11
 стр. 93 строка 22 снизу
 самых

самых

стр. 97 строка 4 сверху
 Так из старого рождается новое, со
 следами прошлого, частью

Так капитализм необходимо связан
 в своем развитии с появ-

Ответственный редактор А. М. Деборин.

Редакционная коллегия: { А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. Стен,
 А. К. Тимирязев, А. Я. Троицкий.

